КАТОРГА И ССЫЛКА

1

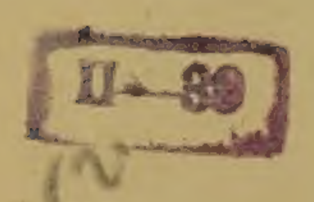
1931



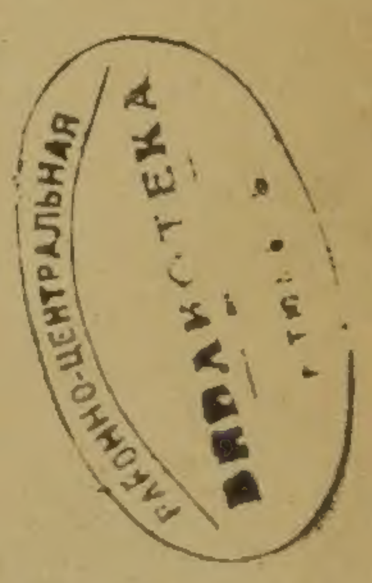
ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

КАТОРГА и ССЫЛКА

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕСТНИК



ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
И. А. ТЕОДОРОВИЧА



КНИГА 1 (75)

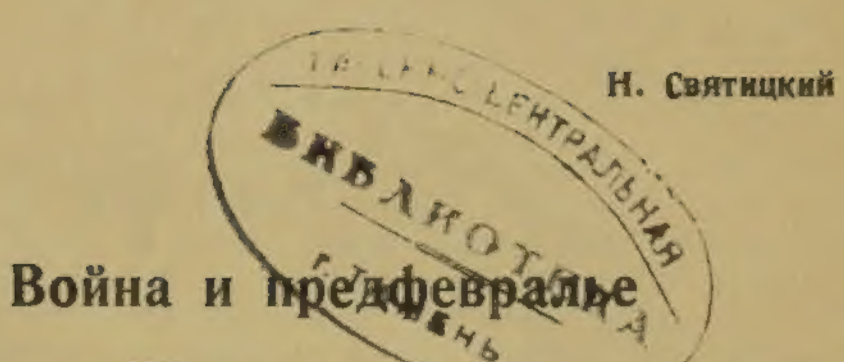
МОСКВА
1931

Москва. Уполномоченный Главлита В 2371. Зак. № 269. 5 000 экз.

16-я типография УПП ОГИЗ, Трехпрудный, 9.

СОДЕРЖАНИЕ.

Н. Святицкий



Война и предфевралье

I. Военный разгром 1915 года и его воздействие на общественную психологию. Петроградский пролетариат. Народничество

Воинственное возбуждение, охватившее в 1914 году почти всю российскую интеллигенцию, начало остывать и блекнуть вместе с военным разгромом русских армий весной пятнадцатого года. Поражения на реке Сан, отдача Львова, отход из Галиции, потеря Лодзи, Варшавы и, наконец, всей Польши, угроза Риге — весь этот страшный калейдоскоп, промелькнувший на протяжении всего каких-нибудь нескольких месяцев, резко взбудоражил общественное мнение страны и с новой силой выдвинул основную политическую проблему внутригосударственного характера, отодвинутую в первый год войны военными злобами дня. Этой проблемой попрежнему стала борьба с самодержавием, низвержение царского правительства.

К осени 1915 года впервые и довольно ощутительно запахло революцией. Но если доведение борьбы до прямого революционного взрыва, несмотря на войну и во время войны, входило в план только некоторой части социалистических партий, то и буржуазия—капиталисты, помещики и крупное чиновничество,—видевшие, что страна идет к революции (или к гибели, для них это было одно и тоже), не могла все же отказаться от борьбы с бездарным

[1] Печатая воспоминания Н. Святицкого, редакция считает необходимым отметить, что воспоминания эти служат чрезвычайно ярким материалом, рисующим разложение партии социалистов-революционеров в предфевральскую эпоху и показывающим, что эта партия уже в то время была не революционной партией, а представительницей радикального мещанства, революционного на словах и контрреволюционного на деле. Воспоминания Святицкого освещают роль социалистов-революционеров в эпоху февральской и Октябрьской революции и объясняют позорный провал этой партии. *Ред.*

и безумным правительством Николая II. Дабы предупредить революционный взрыв и довести войну до успешного конца, буржуазные классы тесно сплотились и под руководством так наз. «прогрессивного блока» Государственной Думы предприняли единодушный, но лойяльный напор на царя и его правительство с целью вырвать власть из рук придворной камарильи и передать ее «правительству общественного доверия». Военные неудачи и недостаток снарядов на фронтах были главными козырями в руках прогрессивного блока. За долгие годы борьбы либерализма с самодержавием на долю первого, пожалуй, не выпадало столь благоприятного момента. Значительная часть территории государства была захвачена неприятелем. Армия отступала, тыл был дезорганизован. Правительство растерялось. Царь, как никогда еще, был скомпрометирован близостью к Распутину и толками об измене царицы. Кадетская партия учла эту ситуацию и, обкарнав и приспособив к потребностям момента свою программу и лозунги, сумела подчинить своему влиянию не только октябристов, но даже значительную часть определенных реакционеров и националистов, словом большинство Государственной Думы. Такова была серьезность момента и так велика была осознанность необходимости крупных политических перемен. Министерство общественного доверия, действующее в полном согласии с Думой (хотя формально и не ответственное перед нею), таков был лозунг, вокруг которого сгруппировалась вся российская буржуазия.

Был кликнут клич о мобилизации промышленности для обслуживания военных нужд. Растерявшееся правительство не было в состоянии помешать почти повсеместному образованию «военнопромышленных комитетов», этих очагов собирания и координации либеральных сил. Но не только фабриканты и заводчики возвысили свой голос. Резолюции с требованием правительства общественного доверия стали выноситься дворянскими собраниями, земством, городскими думами, университетами, адвокатурой, различными съездами и самыми разнообразными организациями. Политическая мобилизация буржуазных классов и интеллигенции происходила в течение всего 1915, а отчасти и 1916 годов. Значение и роль Государственной Думы, руководившей этой мобилизацией, настолько возрасли, что даже сбили с толку часть революционной демократии в ее меньшевистских и эсеровских лагерях.

Пролетариат, как гегемон народного движения, имел свои цели в создавшейся обстановке и свою собственную политическую ориентировку. Во главе российских рабочих стоял, как всегда, петроградский пролетариат. В его среде, как и раньше, боролись различные политические партии и группировки: большевики, эсеры-интернационалисты, эсеры-оборонцы, меньшевики-оборонцы, меньшевики-интернационалисты и др. Но несмотря на кажущуюся

раздробленность пролетарских сил по указанным течениям, все же огромное и сплоченное большинство рабочих уже с начала второго года войны становится решительным ее противником. Правда, июль 1914 года застал рабочих Петербурга врасплох: они только-что пережили разгром довольно высокой революционной волны, взметнувшейся в самые последние дни перед военной катастрофой. Правительство жестоко обрушилось в эти дни на рабочие организации: клубы и профсоюзы были закрыты, рабочая печать была задавлена, использование «легальных возможностей», столь характерных для последних предвоенных лет,—стало невозможным. Тюрьмы и участки были переполнены деятелями этих возможностей и работниками революционного подполья всех партий. В дни объявления войны петербургские рабочие были, таким образом, дезорганизованы и остались без руководства. Нельзя не признать, что некоторые слои рабочих в эти дни не спаслись от общей шовинистической заразы. Голоса протеста тонули в ура-патриотическом болоте. Поведение немецкой социал-демократии, голосовавшей за военные кредиты,—о чем все могли прочесть из газет,—подливало воды на мельницу и нашего социал-патриотизма. С первых дней войны можно было уже видеть, что резолюция Базельского конгресса, под влиянием которой мы все тогда еще находились, потерпела жалкое фиаско. Печать слухи муссировала о патриотической позиции Плеханова и других эмигрантов-социалистов. Все эти факты не могли не способствовать заражению значительных слоев социалистической интеллигенции и рабочих шовинистическим угаром. Немецкие социалисты воюют против нас, что же, неужели мы допустим, чтобы кайзер Вильгельм раздавил свободную Францию, да и самих нас взял голыми руками? Вот и Плеханов стоит за войну, и Авксентьев, и Аргунов, и Вандервельде, и вообще весь Интернационал.

Что касается народнической интеллигенции в Петрограде, то она в начале войны была почти сплошь заражена патриотизмом и шовинизмом. Один только Р. В. Иванов-Разумник резко выступил в эти дни против войны, но его голос звучал в пустыне. Основным тоном, определившим настроение народничества, была речь Керенского, произнесенная им в торжественном заседании Государственной Думы, когда она голосовала военные кредиты. Уже в самом начале войны обнаружилась тенденция всех фракций народничества—эсеров, народных социалистов и трудовиков—к тесному единению перед лицом наступивших грозных событий. Сама позиция Керенского в упомянутом заседании Думы была выработана сообща на совместном совещании интеллигентов-народников всех направлений. Таких совещаний во время войны было несколько. Характерно, что со стороны эсеров на этих совещаниях присутствовали, главным образом,—если не исключительно,—одни только интеллигенты с более или менее крупным партийным именем, поэт-

ставлявшие персонально только себя, а не партию. С самого начала войны можно было наблюдать прямую отчужденность и даже некоторый организационный параллелизм между эсеровскими рабочими организациями (в те моменты, когда они существовали) и петроградской партийной интеллигенцией. Это не значит, что рабочие эсеры были все в пику интеллигенции противниками войны и интернационалистами. Но я едва ли ошибусь, если скажу, что в рабочей эсеровской среде господствовали интернационалистские и даже пораженческие идеи, тогда как интеллигентские круги были почти сплошь и очень долгое время подвержены оборонческим, а иногда—стыдно сказать—и ура-патриотическим взглядам и настроениям. Рабочие эсеры в этом отношении не отстали от всего петроградского пролетариата, уже на второй год очухавшегося от патриотизма и настроившегося против войны.

Справедливость, впрочем, требует признать, что почти полному разобщению между эсеровскими рабочими и интеллигенцией способствовала и застарелая, не прекращавшаяся до революции, провокация, свившая себе место в эсеровском петербургском подпольи. В пятилетие 1912—1917 гг. была отрезана почти всякая возможность к постановке партийной работы—в дальнейшем мы расскажем об этом подробнее. Годы проходили в беспрерывных попытках рабочих-партийцев поставить организацию. Но почти все эти попытки кончились крахом. При таком положении вещей среди интеллигенции находилось мало охотников зря рисковать своим легальным положением. Единственный человек, рисковавший в течение почти всех военных годов поддерживать связи с партийными рабочими низами, был А. Ф. Керенский. До поры, до времени ему позволяла делать это его депутатская неприкосновенность.

Военный разгром царизма весной 1915 года не мог не отразиться и на настроении петроградского народничества. Общая народническая конференция интеллигентов, не связанных с массами, состоявшаяся в июле 1915 года, дает директиву думской фракции трудовиков занять резко враждебную правительству позицию, отказывшую ему в военных кредитах. Решено держать курс на развитие революционного движения. Это нужно, дескать, прежде всего для успеха самой войны, для обороны страны. Отмежевываясь от прогрессивного блока Госуд. Думы и его лозунгов, народники все же не сознают еще ясных политических перспектив. Лозунг Учредительного собрания еще отсутствует. Среди самих участников конференции нет полного единодушия—у трудовиков находятся люди, загипнотизированные ролью, которую начинает играть прогрессивный блок. Именно в это время особенно яркой становится фигура Керенского, как выразителя революционных стремлений широких масс демократии. Именно с этого времени левеющий в проблеме войны Керенский начинает ограничивать свои думские выступления почти исключительно вопросами внут-

реннего конфликта с правительством, чтобы не разойтись публично с большинством народнического блока, до самого конца войны решительно и твердо сидевшего в тине патриотизма.

II. Pro domo sua

Автор этих воспоминаний, получив возможность весной 1912 года вернуться из эмиграции в Россию и выдержав экстерном государственные экзамены в Харьковском университете, осенью следующего года вступил в сословие петербургских помощников присяжного поверенного, в котором и находился вплоть до февральской революции. После многих лет подпольной работы (с 1905 года), тюрем, ссылок я решил сделать в своей политической деятельности временную передышку. Но, привычка—вторая натура. Поселившись в Петербурге и став адвокатом, я потянулся к «легальным возможностям»—к клубам, профсоюзам, к партийной легальной печати, героически выходившей в 1913—14 годах, несмотря на конфискации и репрессии.

В начале 1914 года я утвердился в профсоюзе кожевенников и стал фактическим редактором его органа—«Голос Кожевенника». Профсоюз этот в те дни нам, эсерам, удалось заполучить в свои руки, т. е. мы получили большинство голосов на общих собраниях, усиленно борясь с конкурентами—большевиками, в меньшей степени—с меньшевиками. Впрочем, с последними нам приходилось выступать большей частью в тесном блоке и одним фронтом против большевиков. Уже тогда эсеровско-меньшевистское согласие казалось мне противоестественным. Ликвидаторские и реформистские тенденции меньшевиков не имели ничего общего с теми революционными задачами, которые ставила в тот момент партия с.-р. Наши рабочие были настроены явно против ликвидаторства. Но вот поди ж ты: и на общих собраниях профсоюза, и в правлении, и в редакции органа, когда доходило дело до голосований и выборов, нам, эсерам, приходилось объединяться с меньшевиками против большевиков, считавших весь петербургский пролетариат своей вотчиной. Между тем, в 1913—14 годах влияние эсеров среди петербургских рабочих было довольно сильно и с течением времени все увеличивалось. В значительной степени помогли этому наши рабочие газеты «Мысли» (с бесчисленными эпитетами: «Северная», «Свободная», «Трудовая» и т. д.).

В профсоюзе кожевенников в апреле 1914 года нам удалось получить абсолютное большинство голосов даже без поддержки меньшевиков. Отчасти мы были обязаны этим авторитету председателя правления союза тов. Большакова, рабочего фанатически преданного революции, впоследствии ставшего активным деятелем партии левых эсеров и безвременно погибшего в революционной буре 1918 года.

Наша совместная работа с Большаковым прекратилась с наступлением войны. С самого начала он был непримиримым противником ее, типично выраженным пораженцем. Что же касается меня, то и я в первые дни войны стоял на почве резолюций Базельского конгресса. Было крайне тяжело переживать эти дни крушения всех надежд, связанных с существованием Интернационала. Известие об убийстве Жореса, ложное сообщение о расстреле Либкнехта, злорадные извещения газет об измене немецких с.-д. ложились на душу тяжелым грузом. Помню, как пытался я по собственной инициативе собрать в эти дни небольшое совещание из немногих одиночек, оставшихся на свободе после разгрома июльского движения. По улицам бродили толпы с патриотическими песнями. Я хотел выяснить—можно ли еще что-нибудь сделать, есть ли какие-нибудь силы и связи, возможно ли противопоставить этому хмельному «ура» протестующее, резкое «долой войну»? Увы, четверо или пятеро собравшихся были вполне бессильны предпринять что-либо конкретное и реальное. Все было разгромлено, связи утеряны. Больше того—я увидел растерянность у самих участников совещания.

Вскоре общей заразе оборончества подпал и я сам. В течение нескольких месяцев я был оборонцем без оговорок. Но уже к концу первой зимы войны, к началу 1915 года, я стал освобождаться от патриотического угара. Мне стала противной шовинистическая глупость, овладевшая умами почти всей интеллигенции. Стало невыносимым беспардонное германофобство. Еще более невыносимым и глупым казались цивилизаторские и прогрессивные надежды, возлагавшиеся на буржуазию Антанты. Ко времени весенних неудач 1915 года я уже был интернационалистом. Правда, из плена оборончества целиком и полностью я не смог освободиться до самого конца войны. Но когда до меня дошел манифест Циммервальдской конференции, то я получил от него определенную формулировку своим взглядам. Я примкнул к правому крылу Циммервальда. Считая необходимым до заключения мира сохранение вооруженных сил, незыблемость фронта, я в то же время признавал в качестве самой неотложной и первоочередной задачи социалистов активную и революционную борьбу со своими буржуазными правительствами за немедленное заключение мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения наций. Я был рад, когда узнал, что на такой же позиции стоит человек, которого я в те годы любил и уважал больше всего—В. М. Чернов. Эти взгляды разделял также покойный лидер левых эсеров М. А. Натансон, впоследствии примкнувший даже к Циммервальдской левой. Зато с большим огорчением пришлось услыхать, что большинство партийной эмигрантской верхушки — Авксентьев, Аргунов, Бунаков, Рубанович, Савинков, Слетов, вместе с Плехановым и другими меньше-

виками-оборонцами, исповедуют беспросветное германофобство, антантофильство, социал-патриотизм и т. п.

В Петрограде, как я уже сказал, огромное большинство интеллигентов, бывших или настоящих членов партии, также было социал-патриотами. Приходили еще отрадные вести с юга — Харькова и Воронежа, где действовал Южно-русский комитет партии (М. Л. Коган-Бернштейн, Чайкин, Качинский и др.) и занимал яркую интернационалистскую позицию. В шестнадцатом году пришли добрые вести из Сибири, именно из Иркутска, где проживал отбывший каторгу А. Р. Гоц, придерживавшийся тогда интернационалистских взглядов.

Помню зимой 1915/16 года дошли до меня некоторые статьи Чернова, помещенные в его заграничном органе. Воссоздание нового Интернационала, несмотря на войну и вопреки войне, Интернационала, призванного восстановить и укрепить братские связи между пролетарскими партиями воюющих стран; координация усилий этих партий под руководством Интернационала для революционной борьбы за скорейшее заключение справедливого мира— вот задачи, с энтузиазмом воспринятые мною. Несомненно, все силы, брошенные в эту войну, нужно было обратить сейчас против царского правительства. О социалистической революции тогда еще никто не думал. Ленинские тезисы о войне я читал в самом начале войны, читал, не одобряя.

Хотя, правду сказать, в течение всей войны во мне (думаю, что не только во мне, но и во многих оборонцах) жили две души, два человека: один теоретически и принципиально стоявший на точке зрения обороны страны, другой—непроизвольно радовавшийся каждому новому поражению царского правительства. Ведь каждое такое поражение неизбежно приближало нас к революции. А низвержение самодержавия и Учредительное собрание—как бы ни были тяжелы военные поражения—все же являлись нашими самыми заветными целями. Это невольное раздвоение было очень тяжело. Вопрос, собственно, ставился так: если бы было доказано, что для торжества революции нет другого пути, кроме поражения и разгрома страны, то можно было бы пойти даже и на поражение. Те выгоды, которые получит народ от революции, превысят невыгоды поражения. Но нельзя бына доказать, что победоносный народ откажется от революции, и тогда глупо было бы отдавать, торжествующему кайзеру города и области, платить контрибуцию и т. п.

Другое дело активная борьба за мир. У нас она связана с низвержением самодержавия. Военные неудачи приближают это низвержение. А революционный народ, освободив себя, сумеет защитить свои пределы и заключить скорейший и справедливый мир. Так думалось тогда мне.

III. Среди адвокатуры

С начала войны и до весны 15 года я оставался пассивным зрителем происходивших событий. Но в эту весну события достигли уже таких размеров и такой значимости, что пассивным оставаться было уже трудно. В подпольную работу, поскольку все попытки разоблачить провокацию оставались тщетными, итти пока не хотелось. От нечего делать пришлось заняться политической агитацией среди петербургской адвокатуры. С осени 1914 года я был избран в верховный орган молодого адвокатского сословия—в комиссию помощников присяжного поверенного, членом которой и состоял до первых дней февральской революции.

Подобно тому, как старшее сословие адвокатов имело свой верховный орган—совет присяжных поверенных (при СПБ округе судебной палаты), так и младшие адвокаты (не прошедшие еще пятилетнего стажа) имели свою «комиссию». Оба эти органа помещались в специальном отведенном для них здании окружного суда и ведали всеми вопросами сословной жизни: принимали новых членов, творили дисциплинарный суд над адвокатами, провинившимися против адвокатской этики, налагали наказания, исключали из сословия и т. п. И совет, и комиссия были органами выборными.

Казалось бы, что ремесло адвокатов имеет довольно косвенное отношение к политике, а именно тогда только, когда адвокат выступает в качестве защитника на политическом процессе. Но у нас в старой российской действительности эта сторона адвокатской деятельности сильно выпячивалась и несоизмеримо с другими обязанностями адвоката ценилась. Поэтому издавна повелось так, что и совет и комиссия должны были обладать определенным политическим лицом, причем лицо это по традиции всегда бывало левее кадетской партии. В этой традиции сказался не только радикализм адвокатского сословия, но и тот факт, что наиболее популярные у нас адвокаты были в то же время и наиболее популярными политическими защитниками. Любопытно, что состав старшего органа—совета—обычно бывал правее комиссии. В описываемое время в совете имели влияние умеренно-радикальные и политически бесформенные н-совские и трудовические элементы, как например, Зарудный (н.-с.), Базунов (трудовик), Демьянов (н.-с.), Шнитников, Плансон (оба н.-сы), Переверзев и др. На двенадцать членов Совета приходился всего один с.-д.—Н. Д. Соколов. Даже Керенскому, несмотря на большое его желание, не удавалось быть избранным в совет в виду его слишком яркой политической физиономии и отсутствия больших заслуг на поприще собственно адвокатуры.

Наоборот, комиссия сплошь состояла из крайних левых элементов—в ней определенно господствовало меньшевистское засе-

лие [1]. Ею руководили старые партийные интеллигенты-евреи (последние могли быть помощниками неопределенное количество лет, ибо правительство обычно не пропускало их в присяжные поверенные), обычно уже отказавшиеся от прямой работы в подполье, но сохранившие верность партийному лицу. В вопросах о войне они почти все были более или менее ярко выраженными социал-оборонцами (Щупак, Гохберг, Понтович, Гимпельсон, Дюбуа, Кучин и др.). Социалистов-революционеров в комиссии было меньше: после довольно большого промежутка времени я, кажется, был первым эсером, удостоившимся быть избранным в комиссию. Но легка была беда только начать, в дальнейшем уже без всякого труда удалось протащить в комиссию еще трех-четырех сопартийцев и, таким образом, образовалась целая «эсеровская фракция» в комиссии. По своему адвокатскому стажу, избранные, как и я сам, были совсем молодые помощники («годовалые» или «двухгодовалые»). Избраны мы были только в силу того доверия, какое внушало адвокатской массе наше многолетнее пребывание в революционной партии. К тому же нас дружески рекомендовали избирателям наши более старые товарищи меньшевики, которым как-то даже зазорно было одним владеть комиссией. Большевиков в ней, насколько помню, не было совсем.

Была весна. Общество, народ и армия волновались. Различные общественные организации выносили одну резолюцию резче другой, вопия о гибели родины и требуя правительства, облеченного доверием страны. Петроградская адвокатура,— казалось, также должна была откликнуться на происходившие события, присоединив свой голос к общему протестующему хору и показав пример другим окружным адвокатским организациям.

Но петроградская адвокатура однажды—то было полтора года перед описываемым временем — уже обожглась на одном таком протесте: я говорю о резолюции, принятой петроградскими адвокатами в связи с происходившим в Киеве возмутительным процессом Бейлиса. За этот протест пострадало тогда более десятка видных адвокатов, на которых судебная палата наложила ряд строгих взысканий, вплоть до лишения их практики на известный срок.

Вот теперь пошли разговоры и переговоры на тему о том, что, мол, недурно было бы созвать общее собрание присяжных поверенных и их помощников, дабы вынести резолюцию, соответствующую моменту, и тем исполнить свой долг перед родиной. Дело, однако, подвигалось туго—старшая адвокатская братия не особенно охотно шла на новый риск и возможные репрессии. Керенский старался

[1] Только Керенский, когда он был еще помощником, возглавлял Комиссию в течение 2—3 лет (в должности секретаря комиссии; эта должность совмещалась с обязанностями председателя).

подбить своих коллег, но тщетно. Тогда несколько адвокатов эсеров решили действовать организованно, и так как всякая «мобилизация» и «организация» вообще носились в воздухе, то решено было организовать не только проведение политической демонстрации адвокатуры, но и вообще создать постоянную народническую организацию, ставящую себе целью политическое воздействие на адвокатскую массу, организация судебной защиты в ряде предстоящих политических процессов, содействие всеми возможными способами петроградской организации партии и т. п. цели. Что касается политической резолюции о несчастиях постигших страну, то решено было, что застрельщиком выступит молодая ветвь адвокатуры—помощники, а за ними двинутся их старшие братья—присяжные поверенные.

Инициативная группа для реализации всех этих задач образовалась именно среди помощников. Нашелся среди них десяток эсеров (Марк Мясоедов, Святицкий, Иванченко, Загорский К., Чернобаев, Беклешов и еще несколько,—фамилий их не помню), положивших начало организации.

На одном из первых же заседаний инициативной группы мною был предложен текст резолюции-протеста по поводу текущих событий, которую мы должны были внести на общее собрание. К моему большому удивлению, этот текст вызвал среди собравшихся разногласия. Ожесточенные споры вызвал первый же пункт декларативной части резолюции—пункт о необходимости борьбы за созыв Учредительного собрания[1]. Один из старых партийцев с многолетним стажем возмутился:

— Помилуйте, разве можно сейчас, во время войны, говорить об Учредительном Собрании? Разве это реальное требование? Не правильнее ли будет говорить о министерстве, ответственном перед Думой?

Необходимо отметить, что такая точка зрения вызвала сочувствие чуть ли не половины собравшихся. Пункт об Учредительном Собрании прошел, но, если мне не изменяет память, большинством всего одного-двух голосов. На ближайшем же общем собрании помощников присяжных поверенных новообразовавшаяся эсеровская группа торжественно зачитала свою резолюцию и предложила принять ее. Меньшевики, не ожидавшие этого выступления, были явно смущены переходом инициативы в наши руки. Я, к сожалению, не помню судьбы нашей затеи—была ли резолюция принята или нет. Помнится, что меньшевики, придравшись к формальным моментам, погребли ее—не то сдав в комиссию для предварительного рассмотрения, не то отложив ее до одного из следующих заседаний, когда она уже устарела.

[1] Само собой разумеется, что о протесте против войны и об интернационализме говорить не приходилось. Не говоря уже о всем сословии, даже мы, эсеры, не столковались бы в этих вопросах.

Глубокие разногласия, обнаружившиеся среди нас при первом же подходе к делу, не остановили инициативную группу от дальнейших шагов по организации адвокатов-эсеров. Было решено, что мы должны звать к себе всех эсеров, независимо от того, являются ли они присяжными поверенными или их помощниками. Понятно, что если бы к нам пошли более известные и популярные товарищи из среды старшего сословия, то мы скорее и лучше бы достигли своих целей. В первую очередь решено было переговорить с Керенским—не выразит ли он согласия примкнуть к нам. Отрядили кого-то к нему для переговоров. Против нашего ожидания Керенский охотно согласился, несмотря на свою перегруженность думской работой.

Далее возник и вызвал горячие споры вопрос о том, должна ли организуемая группа быть *партийно*-эсеровской или она может стать вообще народнической, объединяющей в своих рядах и эсеров, и энесов, и трудовиков. Те самые товарищи, которые протестовали против пункта об Учредительном Собрании, теперь защищали идею общенароднической организации. Многим мягкотелым эсерам переживаемое время казалось таким смутным и грозным, что они считали бессмысленным всякое разъединение народнических сил. Я же совместно с несколькими другими товарищами продолжали считать энесов и трудовиков не политическими партиями (какими они сами себя считали), а своего рода политическими фикциями, вызванными к жизни специфическими условиями русского политического строя и сойдущими на-нет, как только эти условия изменятся. Опыт семнадцатого года подтвердил это мнение. В силу этого мы не считали возможным строить совместно с ними длительную и постоянную политическую организацию хотя бы и в такой общественной среде, как адвокатура.

Неизвестно, как разрешился бы весь этот спор, если бы в него не вмешался Керенский. Где-то на Пушкинской улице, в квартире одного адвоката происходило очередное собрание нашей группы. Неожиданно для нас часам к десяти вечера появился Керенский. Усталый и бледножелтый,—кажется, приехал прямо из Думы,—он был однако очень оживлен, все время весело шутил и острил. Узнав о наших спорах он расхохотался:

— Вы соблазнились адвокатами-энесами! Зачем они вам нужны, эти радикальствующие домоседы? Да они и не пойдут к вам, увидите сами. Обойдемся без них. Будем строить чисто эсеровскую группу.

Он говорил властно и энергично. Авторитет его для нас в то время был уже велик. Вскоре мы увидели, насколько Керенский был прав. В целях пополнения нашей организации несколькими очень видными адвокатами, сочувствующими эсерам, мы устроили совместное с ними заседание. Речь шла о людях, в былые времена оказавших партии ряд важных услуг, помогавших ей деньгами

и пр. Они явились на заседание и были очень внимательны и любезны. Заявили о своей готовности в иных случаях помогать нам, но... весьма усомнились в своевременности и целесообразности каких-либо организаций в настоящий момент. Мы вежливо расстались с ними. Ясно, что такое же участие мы встретили бы и у других маститых адвокатов-народников.

Вот, что сейчас рассказано мною,—все это, конечно, мелочи. Из нашей адвокатской группы так ничего и не вышло, через полгода мы сами забыли о ней, события развивались так быстро, что большинство из нас пыталось подойти к ним уже с другой стороны, не адвокатскими путями. Но все описанные мною разногласия и колебания в эсеровской адвокатской среде, ее инертность и пассивность перед лицом грандиозных событий весьма характерны для обрисовки тех настроений и того состояния, в каких находились левонароднические интеллигентские круги в предреволюционное время. Ведь все это происходило за каких нибудь год или полтора до февральских дней.

IV. А. Ф. Керенский

Керенский...

Несомненно, в глазах широких народных масс это имя давно уже пользуется недоброй славой!

Безусловно, этот человек совершил преступную и грубую ошибку, решившись пойти против логического развития революционного процесса... Можно сказать поэтому, что он не оказался на высоте предназначавшейся ему историей роли. Силы его оказались слабее того бремени, какое выпало на его долю. Он отвернулся от революционного народа, когда находился на вершине власти. И революционный народ тоже отвернулся и, отвернувшись, сверг его.

Все же позволено будет мне на этих страницах взглянуть на Керенского без ненависти, рожденной борьбой, без того презрения, которое обычно бывает у победителя в отношении побежденного.

Не следует забывать ту очевидную истину, что не было бы октября если бы не было февраля. А февральские события могли бы развиться значительно иначе, если бы во главе их не стоял все тот же Керенский. Между тем, роль Керенского в февральские дни была подготовлена его деятельностью, борьбой и значением в предреволюционные военные годы. Этого нельзя отрицать: во весь свой рост Керенский стал только в февральские дни и в годы, предшествовавшие этим дням. Потом он пытался встать выше своего роста. И от этого получилась катастрофа.

Кем был Керенский?

Его жизненный путь, как он определился до октябрьской революции, можно было бы разбить на три стадии:

Адвокат—Трибун—Диктатор.

История революций знает не мало вождей, прошедших именно эти три стадии своей деятельности. Touts proportions gardées, можно сказать, что именно их прошел Робеспьер. Но величие Робеспьера было вполне раскрыто им в период последний—его диктаторства. А заслуги Керенского опоясаны тесным периодом, когда он был трибуном, и только.

В течение шести лет своей жизни, примерно 1906—1912 гг., он был только подававшим надежды, способным адвокатом. Впрочем, очень талантливым адвокатом его нельзя было назвать. Из него не выработался бы ни Плевако, ни Карабчевский, ни даже Маклаков. Его характер мало подходил к судейскому крючкотворству и тщательному анализу деталей и фактов. Ему нужен был широкий жест, он умел влиять на чувства людей. Его красноречие было отнюдь не адвокатского типа. Ведь на одном вдохновении и чувствах судебный защитник выехать не может. А Керенский, ораторствуя, плохо умел логически нанизывать слово на слово, понятие на понятие, фразу на фразу. Он мало владел словом, его речь была не литературна. Но зато это был незаменимый агитатор, вдохновенный трибун, бивший слушателей по нервам, умевший в двух-трех умело брошеных словечках, в нарочито сказанной и подчеркнутой фразе бросить в массы легко запечатлеваемые лозунги и идеи.

И на адвокатский стаж Керенского следует смотреть только как на подготовление его к политической карьере. Еще в студенческие годы, в бурные дни 1905 года, он стал эсером, принимая участие в работе петербургского подполья. Близок он был к подполью и в течение последующих адвокатских годов. Но характерный факт несмотря, на то, что он кончил университет в 1905 году, что ему в то время было уже 23—24 года, он не сыграл сколько-нибудь заметной роли в истории партийного подполья. Он не занял в партии никакого видного места, хотя к этому у него были, очевидно, все данные. С партийной жизнью он и в годы студенчества, и в годы адвокатства был связан поверхностно, эпизодически, не пустив корней в революционном подполье и не связав себя с ним кровно, как это делали истинные революционеры, ставшие руководителями партии. Если не ошибаюсь, Керенский ни разу не сидел в тюрьме сколько-нибудь долгое время, это тоже характерный факт.

Словом, Керенский, разделяя со времени студенчества и по сей день идеологию эсерства,—в то же время не был связан с партией тесными узами, был чужд многолетней подпольной культуры, взрастившей настоящих, в боях закаленных, вождей партии. Эта его особенность ярко сказалась в год революции, когда он, принадлежа к партии, все же не обнаружил желания войти в гущу партийной жизни, смотрел на нее с высоты своего положения и оттого не стал близким партийным массам. Натура властная и достаточно самонадеянная, он не научился быть дисциплинированным и не призна-

вал партийной дисциплины даже в те моменты, когда принадлежность к партии обязывала его признать ее. В своей революционной борьбе он фактически был и предпочитал быть руководящей одиночкой. Так было в годы его трибунства, так случилось и впоследствии—в страдные дни его власти и диктаторства.

Войдя в адвокатское сословие, он в 1906—08 годы принимает участие в судебной защите на нескольких политических процессах. Но на этом поприще он не завоевывает себе большой популярности. Наступают годы реакции. Своего рода политическими центрами революционной демократии становятся думские фракции—с.-д. и трудовиков. Партийная интеллигенция, почему-либо бросившая или прервавшая революционную работу, группируется вокруг этих легальных очагов демократии, помогая своим опытом, знаниями, эрудицией работе думских левых групп. Принимает участие в экспертировании работ трудовой группы и адвокат Керенский. На этой почве он сближается с трудовиками, те обращают внимание на его способности, на его ораторский талант и с приближением очередных выборов в IV Госуд. Думу решают приобрести ему необходимый для участия в выборах в Думу избирательный ценз.

Инструктируя трудовиков, участвуя в работах их фракции, давая согласие на прохождение в Думу при помощи и на деньги трудовиков, Керенский идеологически не переставал быть эсером и даже оговорил свое право, в случае избрания в Думу, поступить, как ему заблагорассудится, т. е. вступать или не вступать в трудовую группу Думы.

На первый взгляд вся эта махинация кажется странной. В действительности же все дело объяснилось тем, что мы, эсеры, никогда не смотрели на трудовическую организацию, как на определенную индивидуализированную политическую группировку или партию. Вспомним, каким образом и благодаря чему появились трудовики.

Это было после созыва первой Государственной Думы в апреле 1906 года. Партия с.-р. бойкотировала выборы в Думу; тем не менее среди депутатов было много членов партии с.-р., нарушивших дисциплину и участвовавших в выборах. В результате, в первой Думе образовалась многочисленная крайняя левая фракция, назвавшаяся трудовой группой и состоявшая из эсеров и беспартийных, но революционно-настроенных крестьян. Эта фракция фактически шла под руководством партии с.-р., объединившей трудовиков вокруг своей аграрной программы.

Яркая кличка «трудовик» осталась в политической жизни страны и после разгона первой Думы. В выборах второй Думы партия с.-р. уже принимала участие, но ее подпольные организации не могли повсюду в равной мере активно проводить своих кандидатов. В Думу прошло поэтому большое количество левых крестьян,

которых, по их малой сознательности и по отсутствию политической подготовки, партия с.-р. не могла включить в число членов своей думской группы. Эти крестьяне соединились с несколькими беспартийными, народнически настроенными интеллигентами и воскресили во второй Думе трудовую группу первой Думы. Выборы в третью и четвертую Думу партия с.-р. снова бойкотировала. Однако, несогласные с тактикой бойкота эсеры (главным образом мало дисциплинированные в партийном отношении крестьяне), все же проходили в Думы и образовывали в них свои трудовые группы. К этому времени и на местах, в провинции появились уже левонастроенные одиночки интеллигенты—адвокаты, земцы, доктора и пр.—которым нравилось прикреплять к себе кличку «трудовик»—кличку, ни к чему не обязывавшую и не влекшую за собой никакого риска. И такого сорта трудовикам иногда удавалось проскочить в Думу и даже лидерствовать в думской трудовой группе. Эти последние в первой и второй Думах были очень малочисленны. Но в третьей и четвертой Думах они едва насчитывали по 10—15 депутатов.

Таким образом, трудовики не представляли собой особой партии со своей программой, с целой сетью местных организаций и т. д. Думская фракция в столице и отдельные сочувствующие одиночки в провинции - вот что представляла собой их «организация». Несколько трудовических лидеров первых двух дум, не пройдя на выборах в следующие Думы, поселились в столице и стали негласно руководить работой трудовых групп последних Дум. Так поступили —Л. М. Брамсон, Березин и др. трудовики-перводумцы и втородумцы.

Своего лица, надо признать, трудовичество никогда не имело. Собственно говоря, это были те же эсеры, но более бесцветные, более умеренные, менее темпераментные и к тому же приспособившиеся к легальному житию, т. е. не желавшие рисковать каторгой за принадлежность к партии с.-р. Программные требования партии—демократическая республика, Учредительное собрание, конфискация земель без выкупа—оставлялись трудовиками в стороне, они проходили, так сказать, мимо этих вопросов, как не имевших отношения к легальной думской работе. Но по принципиальным взглядам трудовики (во всяком случае огромное большинство их), конечно, были республиканцами.

Трудовики смущенно краснели, когда им задавали коварный вопрос: чем, собственно, они отличаются от партии народных социалистов? Отвечать было нечего, так как никакого отличия действительно не было. Недаром трудовики и энесы слились в одну партию в первые же месяцы после февральской революции. В предреволюционное время и энесовская «партия», подобно трудовикам, была штабом без армии, представляла собой один лишь организационный комитет в составе 10—12 литераторов и адвокатов. Тру-

довая же группа была чисто думским образованием, помогавшим служить легальным прикрытием для нелегально прошедших в Думу эсеров.

Надо сказать, что бойкот партии с.-р. думских выборов партийными низами не принимался особенно всерьез. Эсеры никогда не были особенно сильны по части партдисциплины, а в отношении думских выборов нарушать ее считалось почти позволительным. К тому же последнее официально обязательное решение партии о бойкоте Думы относилось еще к июлю 1907 года, когда собиралась третья Дума. Что же касается отношения партии к выборам в четвертую Думу—то оно оставалось неизвестным: ни съезд, ни совет партии за последние годы не собирались. Было лишь решение заграничного центра партии, принятое на основании небольшой анкеты, проведенной в России, и рекомендовавшее «воздерживаться» от участия в выборах. Однако, по этому вопросу в партии существовали большие разногласия: имелось сильное и влиятельное течение в пользу участия в выборах.

Таким образом, Керенский, решив избраться в Думу, особенно не грешил против партии. Разумеется, он не мог фигурировать на выборах в качестве эсера и поэтому стал избираться, как трудовик.

Осенью 1912 года Керенский был избран в IV Государственную Думу от Саратовской губернии по второй городской курии города Вольска. Первая же его дебютная речь в Думе обратила на себя внимание. И по своему умственному кругозору, и по политическому развитию, и по силе красноречия он был неизмеримо выше своих сотоварищей по трудовой группе. К концу первой думской сессии он был уже признанным вождем думской левой, да, пожалуй, и всего прогрессивного сектора IV Думы,—достаточно вспомнить инцидент между ним и польским коло, отказ Керенского от дуэли и чествование его, устроенное по этому поводу всем прогрессивным обществом. Добившись популярности и авторитета, Керенский стал подумывать о создании для себя иной политической базы в Думе, нежели довольно бесцветная трудовая группа. Как-никак, а во многих своих выступлениях, которые он хотел сделать еще более яркими, Керенский натыкался на противодействие со стороны большинства своей фракции, напуганного левизной своего вождя. В то же время и среди многих петербургских эсеров уже созрело желание иметь в Думе свою партийную группу, для которой и лидер уже был готов. Бойкотизм изживал себя, польза от наличия в Думе своего легального центра, да еще с таким лидером, как Керенский, была очевидна.

Эсеровская думская группа могла возникнуть путем отделения от трудовиков нескольких депутатов. В группу мог бы войти, во первых, князь Геловани, член партии грузинских социалистов-федералистов, шедших всегда в тесном блоке с эсерами. Затем в

эсеровскую группу могли бы войти два литовских депутата-народника Н. О. Янушкевич и Кейтис. Первый, т. е. Янушкевич, в своем революционном прошлом официально принадлежал к партии с.-р. И, наконец, группу возглавил бы сам Керенский. Вот и все. Итого в думской группе с.-р. насчитывалось бы четыре, может быть, пять человек.

Это было бы еще ничего—какая разница: четыре человека или десять (столько было во всей трудовой группе)? Зато среди этой четверки были два таких оратора, как Керенский и Геловани, с которыми равняться мог разве только один Чхеидзе от всей думской левой. Но как было получить санкцию самой п. с.-р. на образование в Думе фракции? Собственно говоря о партии, как о целом, невозможно было тогда и говорить: она была разгромлена, имелось всего с десяток жалких организаций, не существовало в России и Центрального Комитета партии[1]. Наиболее решительные люди советывали Керенскому, в виду отсутствия официального решения партии, не считаться с мнением заграничного центра, тем более, что в Думе предполагалось образовать не официальную фракцию партии, а всего лишь думскую группу с.-р.

Я уже хорошо не помню, почему не выгорело дело с образованием такой группы. Кажется, в самой четверке возникли разногласия. Или у Керенского не хватило решимости пойти против петербургских бойкотистов-рабочих и против заграничной верхушки. Возможно, что на него влияла если не формальная, то моральная связанность с трудовой группой. Как бы то ни было, вопрос был отложен, а затем наступила война, и к нему уже не возвращались.

Впоследствии многие петербургские эсеры настаивали на том, чтобы Керенский ясно и определенно заявил с думской кафедры о своей принадлежности к эсерству. Кажется, это было уже во время войны. Керенский выполнил это желание в одном из своих думских выступлений—несмотря на протесты и возмущение остальных трудовиков.

В эти предреволюционные годы Керенский хорошо понял ту роль, какая выпала на его долю в истории партии. В те дни эсеровские низы в России оставались почти без всякого руководства. И Керенский пошел им навстречу. Он решил использовать свое положение, свой авторитет, свою депутатскую неприкосновенность, чтобы помочь низам в их тяжелой подпольной работе. Время было кипучее—1913—14 годы. Поднималась новая и крутая волна рабочего движения. Всероссийским эхом отдался Ленский расстрел. Стихийно возникли массовые политические стачки. Керен-

[1] Заграничный Ц. О. партии «Знамя труда» стоял на позиции бойкота. Заграничная руководящая верхушка партии по этому вопросу (как и по ряду других) раскололась. За выборы в Думу высказывалось так наз. «ликвидаторское течение» -Авксентьев, Бунаков, Слетов, Савин, против были: —Чернов, Натансон, Аргунов, Лункевич, Ракитников, Фейт и др.

ский понимал, что его значение в политике и Думе будет тем больше, чем он крепче и непосредственнее свяжется с массовым движением. Поэтому, кроме своей думской деятельности, он не мало сил и времени посвятил внедумской агитационной и партийной работе. Почти все петербургские эсеровские конференции или просто совещания рабочих-активистов происходили с его участием. Он разъезжал по России с целью агитации и завязывания связей с провинцией. Департамент полиции с негодованием смотрел на эту кипучую деятельность популярного левого адвоката, но не решался его арестовать: депутатская неприкосновенность, ничего не поделаешь... За Керенским ставится систематическая слежка, но он был достаточно искусен в надувательстве шпиков.

Несмотря на это, департамент полиции и охранка хорошо были осведомлены о внедумской деятельности Керенского, так как провокация в Петербурге не прекращалась, несмотря на предпринятые и самим Керенским, и другими лицами расследования. Бывали случаи, что негде было собрать какое-либо подпольное заседание или конференцию, и последняя созывалась в квартире самого депутата на Загородном проспекте. При Керенском всегда состояло несколько партийцев, главным образом, из рабочих, осведомлявших его о событиях и настроениях в рабочей среде. Только после февральской революции удалось выяснить, что одним из таких осведомителей, наиболее авторитетных и приближенных к Керенскому, был рабочий с большим партстажем—провокатор, агент охранного отделения. Но об этом будет рассказано ниже.

Наступила война. В первый год ее Дума собиралась редко, в высокоторжественных случаях, во время которых Керенский, собственно, не речи произносил, а декларировал от имени трудовой группы. Подпольных связей он не порывал и одно время находился под сильным влиянием интернационалистски настроенных левых-эсеров.

Обычно принято о Керенском думать, как о наиболее типичном и ярком социал-патриоте. Действительно, после февральского переворота он и стал им. Но очень мало кто знает, что незадолго перед февральской революцией этот социал-патриот далеко не был чужд идеям и лозунгам Циммервальда. Помнится, что на рубеже 15 и 16 годов он выступал с докладом на одной конференции петербургской организации партии по вопросу о войне и провел там ярко циммервальдскую резолюцию, за которую его не мало бранили в патриотически настроенных интеллигентских народнических кругах.

Живо мне вспоминается один из разговоров с Керенским об его отношении к войне.

Это было через месяц или два после созыва конференции в Циммервальде. Из газет я уже слышал о ней и крайне интересовался ее результатами и особенно знаменитым манифестом Циммервальд-

ского объединения. Вечером в квартире адвоката эсера Сомова собралась наша адвокатская организация. Позднее приехал Керенский. С приездом его уже не хотелось говорить о текущих адвокатских делах, разговорились поэтому на политическую злобу дня. Керенский был в этот вечер явно возбужден. С места в карьер он стал превозносить Циммервальдское объединение. Кто-то из нас выразил желание ознакомиться с его манифестом. Керенский тотчас же вынул из кармана сложенную бумажку и в наступившей внимательной тишине торжественно прочел исторический манифест. Кончив читать, он вскочил с дивана и стал нервно бегать по комнате из угла в угол. Приподнято говорил:

— Вот это я понимаю. Теперь у меня будет почва под ногами. Этот манифест сдвинет всех нас с мертвой точки.

Я еще мало знал Керенского, привык возмущаться его трудовическими уклонами и поэтому его радость и возбуждение по поводу манифеста, содержание которого в тот вечер мне самому было как-то трудно переварить, меня очень удивили. Я спросил:

— Так вы, Александр Феодорович, солидаризируетесь с Циммервальдом?

— Безусловно. Я считаю этот манифест политическим событием огромного исторического значения.

— Вы заявите об этом в Думе, когда она соберется?

— Постараюсь.

В тот вечер некоторые углы циммервальдского манифеста мне казались еще слишком острыми. Казался противоречивым призыв манифеста к революционной борьбе за мир с необходимостью держать свой фронт в боевом порядке. Я высказал свои сомнения. Керенский набросился на меня и разнес в пух и прах.

Все-таки он не сдержал своего обещания и ни разу не заявил с Думской трибуны о своем сочувствии лозунгам Циммервальда. К этому времени между двумя главнейшими ораторами думской левой—Чхеидзе и Керенским установилось своеобразное разделение труда. Чхеидзе предпочитал в своих речах брать темы общего характера, говорить о международном положении, протестовать против войны, развивать интернационалистские положения и т. п. Керенский же специализировался на темах и конфликтах внутреннего антиправительственного характера. С каждым новым созывом Думы его речи становились смелее и откровеннее. Но я не могу припомнить ни одной яркой речи антивоенного характера. Незадолго уже до революции, осенью 1916 года, я как-то спросил его:

— Александр Феодорович, вы продолжаете оставаться на циммервальдской позиции? Разделяете вы кинтальскую резолюцию?

Он замялся.

— Кинталь? Это уже хуже... Но вообще я приветствую это движение.

— Почему, однако, в Думе вы говорите почти исключительно о внутреннем положении и не касаетесь антивоенных проблем? Это нехорошо. Делаете вы это сознательно?

Он удивился:

— Как так? Разве это так заметно? Вовсе я не ставлю себе такой цели. Это выходит так...

Разговор происходил в перерыве одного из заседаний трудовой группы—кругом были трудовики. Для большинства из них Циммервальд и Кинталь, их лозунги, были чуть ли не прямой изменой в отношении к своему отечеству. Ясно, что Керенский не сговорился бы с ними по вопросам войны. Кажется, он пытался это сделать, но безуспешно. Добиться свободы высказывания с думской трибуны, хотя бы с той оговоркой, что это его личное мнение, а не фракции— он также не мог.

Так взгляды Керенского на войну и остались невыясненными для широкой публики. Правду сказать, по мере развития внутрироссийских событий, интернационализм Керенского заметно линял и от неупотребления выдыхался. Поэтому, когда разразились февральские события, он сразу же занял непримиримо оборонческую позицию, то это уже не могло особенно удивить нас. Конечно, ситуация в эти дни вообще резко изменилась: речь шла уже о защите *революционного* отечества, об обороне революции. Но в отношении активной борьбы за немедленный мир без аннексий и контрибуций он стал определенно плестись в хвосте буржуазного либерализма. Керенского, можно сказать, съели лозунги Burgfrieden'а и коалиции с буржуазией, коалиции во что бы то ни стало. Подпасть под влияние этих лозунгов ему было тем легче, что он был типичным представителем тех социалистов, которые по своему воспитанию, образованию, понятиям и выучке находятся всецело в плену у буржуазного радикализма. А Керенский к тому же в продолжение пяти лет находился в положении одного из парламентских лидеров, это что-нибудь да значит...

Смелые, полные революционного огня и пафоса речи Керенского с думской кафедры, его многочисленные поездки и выступления по России, создали ему значительную популярность. Мне известны случаи, когда рабочие заводов-гигантов вызывали к себе не Чхеидзе и никого другого,—а именно Керенского. Каждое публичное внедумское выступление его в Петрограде сопровождалось овациями и триумфом. Следует, однако, сказать, что влияние и популярность Керенского были велики не только в массах, но и среди прогрессивной и радикальствующей буржуазии. Всего чаще его выступления в роскошных политических салонах на Сергиевской или Моховой, где собирались сливки буржуазии. Надо правду сказать,— Керенский не пренебрегал выступлениями на таких «массовках», но в то же время и не подлаживался, не кривил душой: и в шикарных особняках он произносил те же речи о неизбежности революцион-

ного взрыва, о том, что только революция способна вывести страну из тупика. Прогрессисты и кадеты не могли не видеть надвигающейся грозы и в то же время смертельно боялись ее. На Керенского поглядывали с опаской и уважением. Но ненависть к царизму была уже столь велика и распространена, что прямые и оскорбительные выпады Керенского против царя и царицы обеспечивали ему взрыв энтузиазма во всех без исключения слоях общества—от буржуазии до пролетариата.

В дни, когда назревал революционный взрыв, Керенский, играя с виду роль вождя демократии, в сущности не был никаким руководителем, а плыл по течению событий, помогая и ускоряя наступление того, что вспыхнуло в феврале.

Но лишь только революция поставила его у власти, как он вообразил себя руководителем ее судеб. Он пожелал управлять событиями, оторвавшись от масс и пойдя наперекор стихийному и логическому развитию революционного процесса. На этом он сломал себе шею.

Теперь принято валить на него все: и то, что явилось результатом недостатков и свойств его, как человека, и то, за что Керенский может нести ответственность только как представитель определенного типа политики, определенной партии, определенной среды. Роль личности в истории имеет довольно узкие пределы. Керенский был не один и ошибки его должны быть приписаны значительной части эсеровской партии. Если бы ему дали способности лучшего из большевиков, но психологически и идеологически оставили бы его тем, чем он был—типичным выразителем эсеровской интеллигенции—результаты были бы все равно плачевные.

Керенский—эсер. А этому исторически сложившемуся типу вообще была свойственна некоторая доля театральности. Театрален был Гершуни, хорошими актерами были Савинков и некоторые террористы, позерство свойственно целому ряду других эсеровских лидеров—во главе с Черновым и Авксентьевым.

Керенский, как и большинство эсеровских интеллигентов, был типично выраженным романтиком. Вот тут-то и лежала его Ахиллесова пята. Романтизм всегда не чужд фантазерству. Романтизм и политический реализм мало совместимы. Романтизма бывает достаточно для того, чтобы итти с бомбами на министров или чтобы говорить горячие речи в Думе, но его не хватает для того, чтобы руководить событиями величайшей революции.

Керенский был фантазером. Он вообразил себя вождем. Он считал, что народ пойдет по его указке. Замкнувшись на высоте власти, он в дальнейшем развитии событий руководился уже не тем, что видел вокруг себя, а тем что находил внутри себя, своей схемой, своей собственной психологией. Прибавьте к этому еще страстный темперамент. Страсть помогает человеку зарываться в своих фан-

тазиях. И Керенский зарвался. С августа месяца 17 года это был уже зарвавшийся фантазер, слепой к тому, что происходило вокруг, верный только себе и своим немногим друзьям...

Но веря в себя, в свои силы, он в то же время был маловерным по отношению к творчеству революционных масс, к их силе, могуществу и возможностям, таящимся в них. И, наоборот, он все время и упорно преувеличивал значение и силу буржуазных классов. Отсюда проистекал его упорный, идущий вопреки всякому здравому смыслу, коалиционизм. И в этом отношении он был типичным эсеровским интеллигентом, пребывающим в психологическом плену у радикальной буржуазии. Самоуверенность его имела границы, за которыми ему абсолютно необходимой представлялась помощь Милюковых, Шингаревых, Кокошкиных и т. д. Фантазия его имела также свои границы—так он никак не мог вообразить, чтобы революционный пролетариат своими силами и без всякого ущерба для кого-либо вышел из петли, именуемой мировой империалистической войной.

Точно также в области государственного права его фантазия не шла дальше Еллинека. Не только Советы, но и Учредительное собрание без согласия земцев—кадетствующей буржуазии ему и ему подобным представлялось абсурдом. Встать на классово-пролетарскую точку зрения, подчиниться ее психологии, ни на шаг не отходить от нее это было не в натуре эсеров типа Керенского.

Но во всем этом нет личной особенности Керенского. Таких как он эсеровских интеллигентов было много, если не большинство. Он только продемонстрировал бессилие и беспочвенность этого типа социалистов, взобравшись на высоту, которая—по его же собственному выражению—стала для него мучительной Голгофой.

V. Народнический блок и подготовка к выборам в Государственную Думу.

В [illegible] утро 1906 года я бродил в кулуарах окружного суда, дожидаясь своей очереди, чтобы выступить по какому-то пустяковому уголовному делу. Вдруг, размахивая фалдами своего фрака, подбегает ко мне всегда [illegible] Марк Мясоедов.

— Наконец-то я поймал вас,—крикнул он мне.—Вы нужны трудовикам.

Я удивился.

— Трудовикам? Зачем я им?

Они серьезно заняты подготовкой к будущей избирательной кампании в первую Думу. А вы в этом деле собаку съели. Кто-то наговорил им про вас вот они и ищут. Пойдемте в Смирновку, там сейчас Леонтий Моисеевич сидит.

И, подхватив под руку, Мясоедов потащил меня. «Смирновка» — это адвокатская столовая, находившаяся где-то на задворках в

верхнем этаже здания окружного суда. Леонтий Моисеевич, к которому меня тащили, был Брамсон, присяжный поверенный и один из внедумских лидеров трудовиков.

Мясоедов представил меня симпатичному адвокату пожилого возраста, с мягкими движениями, добрыми глазами и волосами с проседью. Брамсон был депутатом первой Думы, избранным от еврейского населения Ковенской губернии. Вместе с Аладьиным, Аникиным и Жилкиным он руководил трудовой группой первой Думы. Старался избираться в следующие Думы, но безуспешно— ввиду правительственных репрессий. Это был старый интеллигент идеалист, весьма лево настроенный. Политикой занимался он больше, чем адвокатурой. В описываемое время он был, можно сказать, заботливым опекуном и отцом трудовической организации. Никто, как он, не работал так много для нее, никто, как он, не заботился о ней, не болел ее нуждами, не радовался ее удачам.

Мы разговорились и вскоре я понял, в чем было дело. Уже несколько лет я интересовался вопросами избирательного права вообще и законоположением о выборах в Государственную Думу, в частности. Изучая вопрос теоретически, я в то же время крайне интересовался и ходом выборов во все четыре Госуд. Думы. Не было ни в одном государстве такого сложного избирательного закона, как в России. Эта сложность—куриальность, многостепенность, крайнее разнообразие—приводила к чрезвычайно пестрой картине выборов, полное представление о которой невозможно было составить, пользуясь только окончательными официальными итогами о количестве и партийности избранных депутатов, публикуемыми в столичной прессе. Население выбирало не самих депутатов, а выборщиков по городам, от крестьянства и от помещиков. Точную политическую географию выборов и их статистику можно было получить только путем специального знакомства с ними по провинциальной прессе. Приходилось доставать местные газеты, делать выписки, подводить итоги, производить статистические исчисления и т. п. Это очень кропотливая работа, интересная, однако, в том отношении, что на основании изучения выборов в первые четыре Думы можно было составить довольно выпуклую и характерную политическую географию России, проследить губернии и уезды, которые более упорно и систематически боролись на выборах с правительством и, следовательно, являлись более надежными с точки зрения прохождения в них левых депутатов. Определение избирательных «шансов» по губерниям, областям, уездам и куриям было весьма важно для основательной подготовки к выборам. Насколько мне известно, никто этим делом специально не занимался, тогда как я потратил на него не мало сил и энергии. В результате у меня составилось несколько объемистых тетрадей, испещренных цифрами с полным анализом выборов по губерниям и уездам. Я надеялся использовать их для специальной литературно-стати-

стической работы[1], не ожидая, что она может пригодиться для живого дела. Теперь же как раз к этому являлась возможность. Нечего и говорить, что я был очень рад связаться с трудовиками на этой почве.

Вечером того же дня я уже сидел в кабинете Л. М. Брамсона на 3-й Рождественской и с увлечением рисовал ему избирательную географию. Мой собеседник был восхищен:

— Я уверен, что у самого Крыжановского (тогдашний тов. мин. внутр. дел, спец по выборам) нет таких сводок и такого материала. Убежден, что мы на этот раз подготовимся к выборам лучше, чем прежде.

Выборы в V Государственную Думу по закону должны были произойти осенью 1917 года. Но сейчас, в марте 1916 года, надлежало уже готовиться к ним, ибо приобретение избирательных цензов (недвижимостей) по закону должно было происходить ровно за год до составления избирательных списков. Трудовики, собственно, начинали работу поздновато, времени оставалось маловато, другие партии—кадеты, например,—уже готовились к выборам. Впрочем, в виду происходившей войны можно было думать, что правительство отсрочит проведение выборов в V Думу.

Через несколько дней мною и Брамсоном был уже составлен вчерне общий план подготовки к выборам в его первоначальной стадии, т. е. в отношении выбора мест и политических деятелей, которых надлежало организованно проводить в Госуд. Думу. Надо сказать, что при первом же свидании я осведомился у Брамсона, известна ли ему моя партийная принадлежность. Он ответил утвердительно. Тогда я сказал, что мне будет затруднительно работать на трудовиков, коль скоро моя работа может понадобиться для моей собственной партии.

— Разве ваша партия,—сказал Брамсон,—откажется от тактики бойкота?

Я высказал надежду на это.

— Но тогда пора бы ей принять уже определенные решения на этот счет. Вы видите сами—времени может и не хватить.

Он был прав. Уж если готовиться к выборам, так нужно было готовиться сейчас. Надеяться на то, что партия с.-р. в ближайшем будущем выяснит свое отношение к выборам было нельзя. Заграница была отрезана от нас войной. А в самой России созвать съезд или совет партии в ближайший срок нечего было и думать. Что с того, если через год партия решит участвовать в выборах? Будет поздно, все сроки будут уже пропущены. Мои размышления были прерваны Брамсоном:

— Впрочем, вам нечего беспокоится о своих. У нас решено проводить на выборах не одних только трудовиков, но и энесов, и даже

[1] К сожалению все эти материалы пропали в 1918 году в Петрограде.

эсеров. Опыт был сделан с Керенским и весьма удачно. Поговорите со своими, назовите своих кандидатов, мы их обсудим.

Я хотел переговорить обо всем этом с Керенским, но он лежал в Финляндии в санатории после болезненной операции с почками. Кое с кем я увиделся, кое с кем переговорил, но когда через несколько дней был позван на заседание трудовой группы, то действовал на нем, по правде сказать, самочинно. Я уже принял решение ехать в Москву, где жило больше видной партийной публики, чем в Петрограде, и жило притом легально, т. е. могло участвовать в выборах. Необходимо было составить свою собственную эсеровскую группу, чтобы действовать, так сказать, организованно. Может быть, мы решим при этом выступать самостоятельно. А если уж придется работать вместе с трудовиками, то надлежит войти с ними в определенные договоренные отношения. Но в тот вечер, когда предстояло принимать решение, я был один и ни о каких соглашениях и условиях говорить, ясное дело, не мог.

С тех пор прошло двенадцать лет и из моей памяти стерлись подробности моих тогдашних разговоров с трудовиками, а также детали того предвыборного плана, который был выработан нами. Помню, что кандидатами трудовиков и энесов, которых решено было организованно проводить в Госуд. Думу были следующие лица: Н. В. Чайковский (старый эсер, ставший уже правым трудовиком; он давно и легально жил в Петрограде), Н. Станкевич (трудовик, приват-доцент, впоследствии комиссар Временного правительства), С. Ф. Знаменский (н. с.), Березин (член II Думы, трудовик), Аникин (член I думы), Булат (член III Думы), Я. Душечкин (педагог, трудовик), Чарнолусский (н. с.), П. Б. Шаскольский (пр.-доц., впоследствии с.-р., умерший в 1918 году).

Когда речь зашла о Керенском, я высказал предположение что он будет на этот раз проходить в Думу, как с.-р. На меня набросились:

— Ну нет. Он будет избираться, как трудовик.

Когда дошло до обсуждения эсеровских кандидатур, то разговор стал явно не клеиться. Одного-двух эсеров трудовики уже раньше решили проводить в Думу, это были: А. А. Никитский, финансист, помогавший в финансовых вопросах трудовикам, А. А. Гизетти, литератор-петербуржец. Единодушно предложили меня самого в кандидаты. Довольно вяло согласились на категорически выдвинутую мною кандидатуру В. М. Зензинова. На этом остановились. Я просил дать мне месяц срока для выяснения в нашей эсеровской среде своих кандидатур, трудовики согласились на это.

Мой план организации кампании был принят и уже через несколько дней—в конце марта—я выехал из Петрограда в провинцию для предвыборных переговоров с местными деятелями и для закупки цензов. Центр тяжести наших избирательных усилий

должен был сосредоточиться, главным образом, на востоке России — в среднем и нижнем Поволжьи, на Урале, в Сибири и Киргизии. В остальной России надежными губерниями представлялись мне помимо Кавказа, Крыма, Терской и Кубанской областей еще несколько губерний центрального района: Тверская, Костромская, Нижегородская, отчасти Рязанская. О рабочей курии в шести промышленных губерниях заботиться не приходилось, там был не годовой срок на право участия в выборах, а полугодовой; кроме того, через рабочую курию было почти невозможно провести столичных интеллигентов, тем более трудовиков. Там уже во время самих выборов рабочим-эсерам придется бороться с кандидатами с.-д., особенно с большевиками, во власти которых рабочая курия до сих пор находилась. Своих кандидатов мы, из центра, могли проводить только в городах, да и то по второй городской курии.

Я взялся лично объехать несколько восточных губерний, а именно: Вятскую, где должен был проходить член II Думы Березин, Пермскую, в которой мы решили купить ценз для Чайковского, Самарскую, где предполагалось проводить Аникина и меня, Оренбургскую, в которой должен был избираться Станкевич, и Саратовскую, чтобы переговорить насчет Керенского, у которого ценз оставался еще от прошлых выборов. В Саратове я хотел также свидеться с Н. И. Ракитниковым, одним из руководителей партии с.-р., жившим тогда легально и переговорить с ним насчет всей нашей избирательной затеи. В задачи моей поездки входили также переговоры с местными деятелями насчет организации самой избирательной кампании, выяснение местных кандидатов, возможная поддержка их из Петрограда деньгами и агитацией, выявление местных настроений и т. п.

Моя поездка длилась около месяца. Мне удалось побывать в Перми, Екатеринбурге, Шадринске, Челябинске, Самаре и Оренбурге. Поездкой этой я остался доволен. Все наши кандидатуры на местах были охотно приняты, и я заручился активным содействием местных деятелей по отысканию и оформлению покупки нужных цензов для Чайковского в Шадринске, для меня в Бугульме, для Станкевича в Оренбурге и уже не помню для кого в Уфе.

Во всех посещенных мною городах я не нашел следов эсеровского подполья. Руководители примыкали к легальной народнической интеллигенции трудовического или эсеровского толка. Большей частью это были деятели земства, кооперации, городских дум, [illegible]. Все они очень охотно принимали меня и с увлечением обсуждали избирательные перспективы. Готовы были получить поддержку центра и обещали всяческое содействие ему. Устраивал я несколько совещаний, на которых обсуждались местные кандидатуры. Всюду можно было констатировать крайне оппозиционные настроения и повышенный интерес к политике. Однако,

когда заходила речь о возрождении партийного подполья или, по крайней мере, о содействии этому—люди ежились и мялись. В смысле революционном это была, в сущности, уже отпетая публика.

Вернувшись в Петроград, я сделал доклад трудовикам о поездке, причем все мои действия и предложения были ими одобрены. Тотчас же я принялся за организацию эсеровской публики в Петрограде и Москве. Переговорив сначала с петербуржцами, я в середине апреля выехал в Москву, где в то время легально жили видные члены эсеровской партии, в том числе В. М. Зензинов, М. В. Вишняк, Д. С. Розенблюм и М. Я. Гендельман.

Как оказалось, все они были сторонниками участия эсеров в будущей избирательной кампании и приняли живое участие во всех моих проектах. Мне не удалось устроить общего петроградско-московского совещания, приходилось вести, так сказать, индивидуальные переговоры с каждым товарищем в отдельности. Особо горячий интерес проявил ко всему этому делу Зензинов, согласившийся, в случае необходимости, по моему вызову приехать в Петроград для ведения переговоров с трудовиками. Тогда же в Москве я впервые познакомился с молодым и подававшим большие надежды адвокатом, о котором я слыхал еще в Петрограде,—с И. З. Штейнбергом, бывшим после Октябрьской революции лидером левых с.-р. и одним из первых наркомов юстиции Советской республики, а впоследствии эмигрировавшем за границу. Штейнберг славился большим ораторским талантом, некоторые предрекали ему блестящую адвокатскую карьеру. Он был эсер. Я решил приложить все старания, чтобы провести Штейнберга в Государственную Думу, что было довольно трудно, так как он был еврей. Я надеялся, что в Думе Штейнберг, не смотря на свою молодость—ему было немногим более 25 лет—займет место среди лучших ораторов. Со стороны московских товарищей заметно было некоторое недовольство этой моей кандидатурой. Указывалось на невыдержанность Штейнберга по религиозным и национальным вопросам. Однако, познакомившись с ним, я увидел, что все это недовольство не имеет под собой серьезной почвы. Просто Штейнберг был весма лево настроен в вопросах войны, чему я надо сказать, весьма обрадовался. Наоборот, Зензинов и Вишняк были настроены право. Я даже подумал: как-то мы все вообще споемся, если пройдем в Думу. Но до Думы было еще далеко. Теперь ведь предстояло заняться только черновой работой. А через год-полтора разногласия, может быть, сгладятся.

В общем в Петрограде и в Москве мне удалось договориться с товарищами по всем вопросам, подлежавшим нашему разрешению. Разногласия вызвал вопрос о том, следует ли нам, эсерам, объединяться на выборах с трудовиками и энесами или мы должны действовать с начала до конца самостоятельно. Последнюю точку зре-

ния пытался защищать я. Но большинство товарищей высказывалось за блок с трудовиками, по крайней мере для настоящей стадии избирательной кампании. Указывалось мне, что наша группа отнюдь не составляет еще партии, что это только случайное собрание партийных людей, сторонников участия в выборах; что, следовательно, мы не имеем никакого права брать фирму партии; что при настоящих условиях легче проходить в Думу просто народнику, чем явному эсеру; принималось во внимание, что в подготовительной к выборам работе целесообразно использовать сочувствующие трудовикам интеллигентские силы на местах, ведь эсеровское подполье с его текучим составом явно не годилось для длительного руководства и обслуживания кампании. Наконец, и этот аргумент был весьма важен—у трудовиков были деньги, а у нас их не было. Можно, конечно, было достать их, но на это необходимо было время. С большей частью этих аргументов не мог не согласиться и я. Кроме того, я полагал, что партия с.-р. вскоре все-таки вынесет решение об отмене бойкота и тогда вся наша комбинация вообще разлетится в прах, ибо принятые нами решения не могут быть обязательными для партии. Все вопросы избирательной кампании будут пересмотрены заново, наш блок с трудовиками будет отменен, но избирательные цензы, во всяком случае, останутся за теми лицами, для которых они приобретены, в этом все дело. Лично я считал, что если наша партия решит отменить бойкот, то она должна будет выступать самостоятельно и в крестьянской курии, и в городах, и среди рабочих. Всякие блоки в этих куриях с беспринципными народническими группировками, революционно-социалистическая партия должна решительно отвергнуть. Соглашения могут быть допущены только в конечной стадии выборов, в губернских избирательных собраниях, но там в целях борьбы с черной сотней придется, может быть, блокироваться даже с кадетами и прогрессистами.

Любопытно, что были товарищи, думавшие, что не только наша группа, но и вся партия целиком должна выступать на будущих выборах сплоченным народническим строем...

Формально я договорился с товарищами о следующих условиях, которые мы от нашего имени—избирательной группы с.-р.—предложим трудовикам и энесам:

1. Для подготовки и руководства избирательной кампанией в пятую Госуд. Думу образуется всероссийский народнический избирательный блок в составе групп членов п. с.-р., н. с-ой партии и трудовой группы.

2. Все три названные организации образуют для сей цели избирательный комитет в составе 10 человек.

3. Список кандидатов, подлежащих проведению в Думу из центра, составляется свободно, путем предложения своих кандидатов каждой из договаривающихся организаций.

4. Эсеры, избранные в Думу, оставляют за собой право выхода из блока и вхождения в партийную эсеровскую думскую группу в случае, если партия с.-р. пожелает образовать таковую.

Для переговоров с трудовиками, а также для представительства эсеров в избирательном комитете были уполномочены три лица: Зензинов, я и кн. Сидамон-Эристов. А эсеровскими кандидатами в Государственную Думу (для которых должны были быть приобретены избирательные цензы) были намечены следующие тринадцать товарищей [1]:

М. В. Вишняк, В. К. Вольский, М. Я. Гендельман, А. А. Гизетти, В. М. Зензинов, А. Ф. Керенский, Е. Е. Колосов, А. А. Никитский, Д. С. Розенблюм, Н. И. Ракитников, Н. В. Святицкий, И. З. Штейнберг и кн. Сидамон-Эристов [2].

Итого пять петроградцев, пять москвичей и трое иногородних. Список этот с партийной точки зрения носил довольно случайный характер: приходилось находить партийцев, которые согласно закону могли участвовать в выборах. Для этого они должны были быть прежде всего легализованы, оседлы и не поражены в правах. Ясно, что этим условиям не удовлетворяли ни эмигранты, ни ссыльные, ни профессионалы-подпольщики. В силу этих причин, приведенный список, хотя он и включал ряд видных партийных деятелей, все же страдал интеллигентской однобокостью с явно правым уклоном.

Вернувшись в Петроград, я повел переговоры с Брамсоном и его товарищами. Возникли длительные споры, доходившие до разрыва сношений. Почти каждый пункт наших условий вызывал разногласия. Трудовикам не нравилось, что мы, эсеры, хотим выступать в блоке, как организованная группа, им хотелось бы, чтобы мы превратились в трудовиков. Список наш показался преувеличенным и слишком ярким в партийном отношении. Возмутились они и тем, что мы в свой список включили Керенского. Но к этому времени последний вернулся из Финляндии, и наши споры были сразу же прекращены его решительным заявлением, что он входит в эсеровскую группу, и что если в V Думе образуется эсеровская фракция, то он, конечно, войдет в нее. Вот этот пункт условий — о свободе наших действий в будущей Думе и послужил причиной самого яростного спора. Более месяца тянулись переговоры. Наконец, к лету, кажется, к июню, был составлен Всероссийский народнический избирательный комитет, в числе следующих десяти человек: от трудовиков — Брамсон, Березин и Чайковский, от эсеров — Зензинов, Святицкий, Эристов, от энесов — Мякотин, Знамен-

[1] Еще раз оговариваюсь: возможно, что память мне изменяет и в приведенном списке есть неточности.

[2] Ракитников жил в Саратове, Колосов — в Красноярске, обоих мы включили в список без их ведома, удостоверившись только, что они имеют право участия в выборах.

ский и Чарнолусский. Председателем комитета единогласно и внефракционно был избран Керенский.

Затем пошла торговля из-за губерний и областей. В конце концов нам удалось обеспечить за большинством кандидатов достаточно надежные места[1].

Избирательный комитет собирался в июле и в августе. Против ожидания довольно туго шло получение денег на приобретение цензов. В июле я второй раз выезжал по избирательным делам на Волгу—в Уфу и в Самарскую губернию. К осени 1916 года работа избирательного комитета как-то замерла. С одной стороны, стало несомненным, что в виду нарастания оппозиционных и революционных настроений правительство не допустит проведения избирательной кампании в срок и отложит выборы, возможно, до окончания войны. С другой стороны, то же полевение масс и развитие внутренних конфликтов в стране к осени 1916 года вызвали среди нас, эсеров, совсем другие настроения, поставили совсем другие задачи, как-то незаметно отстранившие гадательные и избирательные перспективы на второй план. На очереди была революция, а не какая-то пятая Дума.

На этом я и кончаю свои воспоминания о народническом походе на V Думу, которой суждено было никогда не существовать. Полагаю, что сообщенное является достаточно характерным для обрисовки предреволюционных настроений эсерства. Когда теперь, после многих лет и еще больших событий просматриваешь список кандидатов народнического блока, то только диву даешься, какие удивительные политические сочетания могли происходить всего за несколько месяцев до 1917 года. Будущий левый эсер Штейнберг, участник в разгоне Учредительного Собрания, идущий в одном блоке с Керенским и проводимый в Думу стараниями и на деньги, раздобытые трудовиком Брамсоном! Будущий меньшевик и уже тогда ярый интернационалист Никитский, идущий рука об руку со ставшими махровыми правыми эсерами Вишняком и Гендельманом! Будущее меньшинство п. с.-р. Ракитников, Вольский, Святицкий, готовящиеся солидарно работать с праревшей изо дня в день старой развалиной Чайковским! Можно себе вообразить, что получилось бы через полтора года, если бы все эти лица очутились бы в Думе на одних и тех же скамьях.

Даже мы, эсеры, объединяясь для прохождения в Думу и не подумали договориться об отношении к основному политическому нерву того момента—к войне. Потом, дескать, разберемся. А, между

[1] Керенского и Ракитникова предполагалось проводить по Саратовской губ., Зензинова по Кубанской обл., Штейнберга по Уфимской губ., Никитского по Ставропольской, Вишняка по Костромской, Гендельмана по Рязанской, Вольского по Тверской, Розенблюма по Ярославской, Эрмолова по Закавказью, Колосова по Енисейской и меня по Самарской.

тем, среди нас были люди, уже тогда стоявшие на диаметрально противоположных точках зрения.

С такими же настроениями и с такой же беспринципностью вышла на широкую политическую арену в 1917 году и вся партия с.-р. в целом. То, что мною рассказано, было одной из прелюдий к истории партии в 1917 году.

VI. Трудовики в 1916 году

На почве предвыборной подготовки к V Думе я сблизился с трудовиками и с весны 16 года довольно тесно подошел к их фракционной работе. Как я уже говорил, вокруг думской группы трудовиков объединился целый ряд интеллигентов без различия народнических оттенков. Все они посильно помогали депутатам вести сложную и трудную для небольшой группки в 10 человек парламентскую работу. Необходимо было инструктировать депутатов по самым различным вопросам государствоведения и экономики. Иногда приходилось даже составлять для них конспекты речей. Ясно, что десяток трудовиков не имел в своей среде таких высоко квалифицированных профессорских сил, какие имели другие буржуазные думские фракции.

Очень часто небольшая квартирка на углу Б. Болотной и 10 Рождественской, в которой жил депутат Н. О. Янушкевич с женой и которая была в тоже время внедумским помещением трудовой группы,—едва вмещала всех желающих и имеющих право присутствовать при обсуждении во фракции тех или других злободневных вопросов.

Из «чистых» трудовиков наиболее часто бывали на фракционных заседаниях упоминавшиеся уже: Брамсон, Березин, Душечкин, Чайковский, Знаменский. Из энесов—Чарнолусский, Демьянов, Пешехонов. Из находившейся тогда в Петрограде эсеровской публики бывали: Никитский (Новоторжский), Гизетти, Шаскольский, Флеккель, Сомов и я.

Помню, в один из весенних вечеров после долгого отсутствия, вызванного тяжелой болезнью и операцией, явился во фракцию Керенский. Народу в этот вечер пришло к трудовикам—тьма. Появление Керенского было встречено долгими и горячими аплодисментами. Все с любовью смотрели на человека, имя которого успело уже стать своего рода знаменем в известной части революционной демократии. Керенский был очень взволнован и явно недоволен устроенной ему овацией. Застенчиво махая рукой, он, опираясь на палку, подошел к креслу и тяжело опустился в него. Лицо сморщилось в болезненную гримасу, он нетерпеливо стал стучать палкой об пол, прося тишины. Кто-то из трудовиков встал, чтобы говорить приветственную речь. Керенский понял это и пуще прежнего замахал рукой:

— Не надо. Не люблю я, терпеть не могу этого. Очень прошу вас, оставьте.

Он раздражился. Оратор умолк, едва начав свою речь. Сразу перешли к очередным делам.

В эту весеннюю сессию Керенский, несмотря на свое явно болезненное состояние, на увеличивающуюся худобу и бледность, говорил в Думе много и страстно. Ему приходилось выступать чуть ли не каждом заседании. Политическая атмосфера сгущалась все более. Распутин был злобою дня. Министры играли в чехарду все быстрее и чаще. На фронте, как всегда, были неудачи. Говорили об измене царицы. Ползли слухи о сепаратном мире.

Летом, вследствие отсутствия Думы, трудовики не собирались, Керенский был на отдыхе. Я с Брамсоном были заняты избирательными хлопотами. С осени 1916 года настроение петроградских жителей становилось еще более напряженным. С одной стороны, назначение министром Протопопова, острая разруха всей хозяйственной жизни, продовольственный кризис, расстройство транспорта еще более углубили внутренний политический конфликт. Петроградский пролетариат волновался, война стала уже ненавистной, голодовка подстрекала рабочих к политическим стачкам, возникавшим чуть ли не каждую неделю.

С другой стороны, с исключительной резкостью встали на очередь проблемы войны и международных отношений. Громче стали говорить о необходимости мира. Вильсон, а потом римский папа выступили с предложениями о посредничестве для мирных переговоров. Буржуазия Антанты становится все более реакционной и агрессивной. Быстро растут возрождающиеся интернационалистские настроения. В одном лагере все громче звучал лозунг: «война до победного конца»,—в другом—«скорейший мир без аннексий и контрибуций».

Поздней осенью собралась Дума. Прозвучали знаменитые речи Милюкова—об измене, Керенского—о царице. Мы выбивались из сил, размножая на ротаторе эти ставшие нелегальными речи. Лично я чувствовал разительное противоречие между тем, что происходило в жизни, и тем, что делали все мы, работавшие с трудовиками. Можно было уже чувствовать, что в массах совершается чреватый огромными последствиями процесс—процесс созревания революционной активности, который вот-вот вырвется наружу. С этой точки зрения то, что происходило в Думе, начинало казаться мизерным, второстепенным. Мне стало больше невмоготу сидеть с трудовиками. Возникло решение тряхнуть стариной и взяться за настоящую революционную работу. Это случилось со мной к ноябрю месяца шестнадцатого года.

VII. Мои попытки создать Петроградский комитет партии с.-р.

Уйти в подполье... В условиях того момента это было сделать не легко. Провокация в петроградских эсеровских организациях в шестнадцатом году достигла невероятных размеров. Не успевала народиться для работы какая-нибудь инициативная группа, как она уже проваливалась. Возникали специальные комиссии для расследования и поисков провокатора, гнездившегося, очевидно, где-то глубоко и прочно. Подозревали одну эсерку, стоявшую, так сказать, возле подполья и всегда осведомленную обо всем, что там происходило. Дошло до того, что этой совсем безвинной и просто болтливой дамы, искренней и честной революционерки, стали сторониться. Сочли было провокатором и другого невинного молодого человека, партийца из рабочих. Под подозрением находилось множество лиц.

В силу этих причин петроградской организации партии как целого не существовало уже давно. Не было и Петроградского комитета—этого обычного руководящего центра, возглавляющего организацию. Даже Керенский в последнее время вынужден был сторониться подполья, поддерживая только индивидуальную связь с двумя-тремя активными партийцами. Им он доверял, а среди них был развитой и начитанный рабочий металлического завода по фамилии Сурин. Это был парень лет тридцати, с виду полуинтеллигент. В подполье он вертелся много лет и всегда пользовался авторитетом и доверием товарищей. Без его участия не проходила, кажется, ни одна попытка возродить партийную организацию.

Тяга к подполью со стороны рабочих низов, надо сказать, была огромная. В районах, на отдельных фабриках и заводах, партийные ячейки почти не переводились, несмотря на аресты. Но вследствие провокации, в них сильны были сепаратистские настроения: дескать, будем существовать сами по себе и ни на какие объединительные попытки не пойдем. Так завод сторонился от другого завода, и район не входил в сношения с другим районом.

Между тем, без создания объединяющего центра невозможно было правильно наладить партийную работу. Руководящий орган был необходим, он мог бы не только создать петроградскую организацию в крупном масштабе, но и имел бы в партии значение— далеко выходящее за пределы Петрограда. Авторитетный и работоспособный ПК мог бы приступить к попыткам созыва если не съезда партии, то хотя бы общепартийной конференции, в которой чувствовалась острейшая и настоятельнейшая нужда. Ведь уже много лет партия с.-р. была рассыпаной храминой. Крепкого подполья не было, руководящих органов тоже. Всяк поступал и действовал по-своему. Эмиграция была совсем отрезана от нас войной, да это, может быть, было и к лучшему. Необходимо было, что бы эсеровское подполье в России сказало свое веское слово хотя бы

о войне и интернационализме и тем положило бы конец интеллигентским безобразиям в этих вопросах.

Так думал я, поставив себе целью попытаться создать в Петрограде такой руководящий партийный центр. Одному было бы трудно действовать в этом направлении. Но тут приехал в Петроград человек, который вполне разделил мои планы, больше того—для их осуществления он и приехал в Петроград из-за границы.

В начале декабря, в один из четвергов, в каковой день обычно заседала комиссия помощников присяжного поверенного, один из членов ее, старый эсер и мой родственник, отвел меня в сторону.

— Из-за границы приехал какой-то тип,—сообщил он.—Ищет ночевки, сегодня ночевал у меня. Нельзя ли переночевать у тебя?

— Что же это за тип,—спросил я.

— Какой-то эсер из эмигрантов. Говорит, что приехал от Чернова. Но никаких рекомендаций и писем предъявить не может, будто бы уничтожил их в дороге. Вообще, тип подозрительный.

— Чем же еще?

— Фантазер и пораженец.

Зная ярко правые и оборонческие уклоны моего собеседника, я рассмеялся и сказал:

— Это еще не беда. Больше ни в чем не проявляется его подозрительность?

— Бог знает что говорит о позиции Чернова! Отъявленный пораженец. Хочет восстанавливать подполье. Уже не провокатор ли?

Я сказал:

— Присылай его ко мне вечером.

На следующий день в мою квартиру на Большой Болотной явился человек лет под тридцать. Крепко сложенная фигура небольшого роста. Продолговатая сплошь лысая голова с торчащей шишкой. Жесткие черные усики, недобрые глаза.

Это был Петр Александрóвич.

Действительно, всего несколько дней, как он приехал из Стокгольма, а раньше был в Женеве. Принадлежит к эсеровской интернационалистской группе Чернова—Натансона—Камкова, издававшей левый печатный орган «Мысль». Отправлял его на работу в Россию Камков. Пришлось выдержать долгий и трудный путь через страны Антанты и нейтральные государства. Было много приключений. Пытался провести небольшой транспорт «Мысли», вез с собой и рекомендательные письма. Но и то и другое пришлось уничтожить во время одного из приключений. Запомнил один из петроградских адресов, куда и явился.

Мы разговорились. С любопытством расспрашивал я об эмигрантских группировках. Две-три сообщенные им подробности из партийной жизни свидетельствовали о том, что мой собеседник находился в гуще партийной сутолоки. Чем больше мы разговаривали, тем больше я убеждался в том, что этот человек не может

быть подосланным шпиком. Разве провокатор? Но у посланного заграничным центром работника могло быть хоть десять рекомендаций и все же он мог оказаться провокатором. Тут уже было дело личного доверия. Проговорив весь вечер с Александровичем, я решил вполне доверять ему и, как показали будущие события, не ошибся.

Имя Александровича войдет в историю революции, как одного из основателей партии левых эсеров, первого зампредседателя ВЧК и соучастника в убийстве германского посла Мирбаха 6 июля 1918 года в Москве и в восстании левых эсеров, за что и поплатился жизнью. Это произошло всего через 19 месяцев после нашего первого знакомства с ним.

Понятно было, почему мой родственник адвокат считал Александровича подозрительным. Незнакомец, явившийся к моему калетствующему эсеру, германофобу и оголтелому оборонцу, оказался не менее оголтелым пораженцем. Впрочем, Александрович не слишком разбирался в вопросах теории и тактики. Правое крыло Циммервальда он путал с левым. Свои явно пораженческие позиции он приписывал Чернову. По его словам между взглядами Чернова и Камкова не существовало никакой разницы, в то время, как уже тогда между ними, несомненно была трещина: Камков и Натансон в вопросах войны стояли ближе к Ленину чем к Чернову.

Петр Александрович не закончил среднего образования; происходя из мелко-буржуазной семьи города Рязани, он со школьной скамьи еще в период первой революции ушел в подполье. Работал по технике в рязанской эсеровской организации и еще до войны попал в ссылку, откуда бежал за границу. Любопытно, что Александрович (это было его отчество, превращенное в фамилию—псевдоним) ни до революции, ни после нее не любил раскрывать своей настоящей фамилии,—Дмитриевский. Он всегда именовал себя только Александровичем, с этим именем он работал в революции, с ним и умер.

Свое место Александрович нашел только с образованием партии левых эсеров. До этого момента он—вместе с несколькими другими будущими левоэсеровскими лидерами—был в партии своего рода пугалом. Его пораженческие взгляды настраивали к нему враждебно всех оборонцев. В первые дни революции, до приезда из-за границы Чернова и Камкова, большинство партийной публики относилось к нему с большим подозрением тем более, что Александрович среди членов исполкома Петросовета сразу стал в прямую оппозицию к политике, которую проводили там Зензинов и Гоц, а отчасти и я. Почти во всех случаях он нарушал партийную дисциплину, голосуя вместе с меньшинством,—т. е. с большевиками против большинства—т. е. эсеров и меньшевиков-оборонцев. Поднимался даже вопрос об исключении его из партии.

Я не мог быть солидарным по всем вопросам с Александровичем, но, право же, беседы и работа с ним доставляли мне большее удо-

влетворение, чем общение с петроградскими партийными интеллигентами, окончательно потерявшими всякую революционную и социалистическую совесть. Пораженец Александро́вич психологически был мне ближе.

Справедливость, однако, требует признать, что Александро́вич был прямолинеен и довольно невежественен. Эта был человек среднего калибра и недалекого ума. Но он был фанатически предан делу социалистической революции, шел до конца в принятых на себя обязательствах. Кроме того, он, несомненно, обладал практицизмом и подпольным опытом. Как горячо порою ни приходилось мне спорить с ним, все же между нами было больше связующих нитей, чем разъединяющих провалов.

В течение почти всего декабря, а отчасти и января Александрович жил у меня на Большой Болотной. Сразу же по приезде в Петроград он реализовал имевшиеся у него связи с рабочими низами в Московском районе (т. е. за Московской заставой). Его интернационализм, да и он сам, весьма пришлись по вкусу рабочим и уже через две-три недели он стал руководителем вновь созданного Московского района.

К петроградской интеллигенции он относился весьма враждебно. Керенского он не ценил и не знал, считая его за парламентского болтуна и не дооценивал его значения в рабочей массе. Я направил Александровича к Керенскому. Оба не понравились друг другу. Керенский потом ругал меня:

— Что за подозрительного типа прислали вы мне? Шпик что ли?

После долгих разговоров с Александро́вичем мне удалось изменить его взгляды на некоторых петроградских эсеров. Тогда же мы выработали план нашей совместной работы. Решено было создавать организацию под флагом яркого интернационализма, оставив пока в тени наши разногласия по вопросу о пораженчестве. Мы собирались работать под лозунгами: «Долой войну», «Скорейшее заключение мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения наций», «Учредительное собрание», и революционное низвержение царского правительства для достижения указанных целей.

Петр Александро́вич соглашался со мной, что неотложной задачей является явочное, самочинное образование Петроградского комитета партии. Создавать комитет выборным путем на общегородской конференции было невозможно—из-за нераскрытой еще провокации. Необходимо было сверху явочным порядком создать достаточно авторитетную группу в 7—10 человек, которая повела бы работу, объединила бы районы на основах строгой конспирации, поставила бы технику, разыскала бы провокацию. Разумеется, что в создаваемую верхушку надо было подобрать людей, в последнее время не связанных с партийной работой, так сказать, новых и непререкаемо надежных.

Все это было легче решить, чем сделать. Ведь мы хотели привлечь товарищей, которые согласились бы положить в основу своей работы резолюции Циммервальда, между тем, как околопартийные сферы Петрограда кишели социал-патриотами, которые предпочли бы не работать для нас, а бороться с нами. Затем, в обстановке нераскрытой провокации вообще трудно было заполучить свежих работников в подполье.

Стали мы перебирать петроградских эсеров, так сказать, по пальцам. Первый кто был нами безоговорочно принят и охотно согласился работать был Борис Осипович Флеккель. О нем надо сказать несколько слов.

Это был молодой студент лет двадцати пяти. Маленького роста, черноволосый и смуглый, с черными же веселыми глазами, живой и юркий Борис сразу же располагал к себе. Несмотря на свою молодость он имел уже некоторый политический стаж. Будучи весьма начитанным, умным и даже образованным юношей,— и сумел приносить пользу даже думской фракции трудовиков, одно время состоя чем-то вроде неофициального секретаря фракции. Тем не менее Флеккель был большим эсеровским патриотом. В вопросах войны он занимал тогда, да и после февральской революции, не слишком левую позицию, однако, не исключавшую возможность работать на почве интернационализма. Впоследствии, под влиянием Зензинова, Керенского и особенно Чернова, Борис поправел. Но среди трудовиков мы держались рука об руку и, когда я жаловался на несоизмеримость того, что делали мы, с тем, что происходило в массах—он вполне сочувствовал мне. Разделял он и мой проект создать в Петрограде руководящий партийный центр. Во всех моих начинаниях он принимал живое участие и когда стал вопрос об его вхождении в ПК он согласился.

В дни февральской революции он был вместе с Керенским, Зензиновым и мною деятельным секретарем нашего первого легального Петроградского комитета партии, избранного после февральской революции. Потом он стал секретарем эсеровской фракции городской думы. Когда началась в июле 1918 года борьба на востоке России за Учредительное собрание и ЦК партии стал стягивать туда все активные партийные силы, Борис Флеккель ринулся через фронт и был пойман в Нижнем Новгороде. Тогда же, если не ошибаюсь, в августе, он был расстрелян.

Перебрав в памяти петроградские эсеровские силы, мы решили обратиться со своими предложениями к следующим товарищам: Н. Н. Суханову-Гиммеру. А. А. Никитскому, А. А. Гизетти, Сомову, Керенскому, Н. С. Русанову, Н. Брюлловой-Шаскольской, М. Брагинскому и С. Мстиславскому. Может быть память мне несколько изменяет, и мы обращались еще к кому-либо, или наоборот—кто-нибудь включен мною в этот список по ошибке. Но это не столь уже важно. Все перечисленные товарищи были на-

строены более или менее интернационалистски, во всяком случае мы надеялись с ними договориться. Впрочем С. Мстиславского решено было потом вычеркнуть, из списка по настоянию товарищей, в том числе, кажется, и самого Александро́вича. Мстиславскому ставилось в вину его сотрудничество в качестве специалиста в «Правительственном вестнике». Он писал там военные обзоры, и это считалось предосудительным, хотя, будучи офицером генерального штаба (что не ставилось ему в вину), он не выходил за узкие рамки своей профессии, составляя военные обозрения. Тем более, что он делал это под своей собственной фамилией, а не под литературным псевдонимом, создавшим ему репутацию публициста-эсера. Не знаю, вошел бы С. Мстиславский в нашу группу или нет, но отказаться от такой выдержанной интернационалистской и вообще крупной силы мне было очень жаль. Пришлось, однако, уступить.

В конце декабря я, Александро́вич и Флеккель решили устроить совещание, пригласив на него всех тех товарищей, кого мы считали нужным привлечь к нашему делу. На этом совещании мы, так сказать, хотели нащупать почву, и, если окажется возможным, договориться друг с другом.

На наше приглашение откликнулись только Н. Н. Суханов-Гиммер, А. А. Никитский, А. А. Гизетти, Б. О. Флеккель, Сомов, Керенский, не считая устроителей —Александро́вича и меня. Кроме того, Александро́вич привел с собой двух-трех рабочих из-за Московской заставы. Словом, собралось 9—10 человек в квартире присяжного поверенного Сомова на Бассейной. Керенский был занят и не смог приехать, но он уверил нас в своем сочувствии, и в том, что он окажет содействие всякой вновь образованной авторитетной партийной организации. Не пришли Брагинский, да Русанов и Брюллова-Шаскольская, которые—я не помню—были ли оповещены. Впрочем, на согласие Н. Брюлловой мы имели полное основание рассчитывать.

По открытии совещания нас, его устроителей, сразу же ожидал конфуз. Слово взял Суханов и объяснил, что он, собственно, пришел по недоразумению, так как уж очень мало считает себя народником и еще меньше партийным эсером. Такое настроение Суханова не могло быть для нас неожиданностью, но все же мы не ожидали, что его отход от партии становится уже совершившимся фактом. Суханов, войдя в партию еще в период первой революции, занял в ней видное положение и снискал себе имя многими статьями и работами по аграрному вопросу. С течением времени его статьи все более и более стали принимать марксистский оттенок. Перед самой войной он пытался подвергнуть пересмотру некоторые народнические взгляды по аграрному вопросу и по вопросу об отношении к крестьянству. Но все же все эти статьи продолжали печататься в эсеровских изданиях (напр., в журнале «Заветы»). Затем

надо сказать, что Суханов был не единственным эсером с марксистским оттенком, и этот оттенок не мешал другим эсерам оставаться в партии. Со второго года войны Суханов редактировал беспартийно-социалистический журнал «Летопись», во главе которого стоял Горький. «Летопись» занимала в отношении войны позицию, граничившую с пораженчеством. Мы с Александро́вичем надеялись на Суханова, как на наиболее нужного и ценного для нас в тот момент работника и узнать об его решении окончательно порвать с партией было нам очень горько. После февральской революции Суханов, действительно, некоторое время был одиночкой-интернационалистом, а впоследствии примкнул к организации меньшевиков-интернационалистов.

Вслед за Сухановым слово взял его друг Никитский. Он, оказывается, тоже оставляет открытым вопрос о дальнейшем своем пребывании в партии с.-р. Кроме того, он, интернационалист, сильно сомневается, чтобы сейчас при данном настроении эсеровских умов можно было создать какую-либо жизнеспособную организацию.

Сомов и Гизетти мрачно молчали.

Было ясно, что наш призыв повис в воздухе. Разговор как-то не клеился. Суханов и Никитский все-таки не ушли с собрания, а остались, как они говорили, для беседы и информации.

В петроградском подполье шла в этот момент подготовка ко дню 9 января. Уже в прошлом году забастовка в этот день была почти всеобщей. Различные партийные организации деятельно готовились к еще более революционному и эффектному проведению девятого января в нынешнем году. Об этом и зашел разговор среди собравшихся. Я высказал мнение, что настал момент перейти к тактике организованных политических демонстраций в центре города. Действительно, в последнее время выступления петроградского пролетариата становились все более активными. Забастовкой дело уже не ограничивалось. Бросив работу, пролетарии расходились с фабрик и заводов с пением революционных песен и с красными знаменами в руках. Но все эти уличные выступления происходили крайне неорганизованно, знамена были без лозунгов, район выступления ограничивался рабочими окраинами, к центру города демонстрации не доходили—либо рабочие и не ставили себе целью проникнуть на Невский, либо их не пропускала туда полиция, хорошо для этого организованная. Я стал говорить, что на этот раз в виду явного активистского настроения рабочих масс—партийные ячейки на заводах должны внести максимальную организованность в предстоящие 9 января выступления рабочих масс. Необходимо в противовес организованности полиции выработать свою тактику и свои маневры и, перебросить демонстрацию в определенный час на Невский, провести ее под яркими политическими лозунгами и пр.

Каково же было мое изумление, когда Александрович в ответ на мои слова мрачно буркнул:

— Не надо всего этого. Мы еще не готовы. Что вы предлагаете? Выйти на улицу и подставить свои спины под нагайки казаков? Благодарим покорно. Когда у нас будут оружие и бомбы—вот тогда мы выступим. Тогда и на Невский пойдем.

Бывшие с ним рабочие одобрительно поддакивали ему. Я был обескуражен.

— Все это старо-эсеровские привередни,—сказал я. Разве бывали когда-нибудь организованные вооруженные демонстрации? Никогда. Раз массы будут вооружены,—будет уже революция, а не демонстрация. Обычно, демонстранты вооружаются чем попало, нападают и защищаются уже в процессе демонстрации. Масса не справляется с тем, есть ли у вашей организации оружие и бомбы, она просто прет на улицу, когда это ей приспичит. И такой момент, по-моему, наступил.

Александрович и рабочие отвечали:

— Ничего подобного. Массы поистрепались за последние месяцы частыми и необдуманными выступлениями. И теперь зря не хотят идти на улицу. Вот если бы были револьверы и бомбы...

— Так по вашему и забастовку не надо устраивать в день 9 января? И прокламаций выпускать не надо?

— Нет, отчего же. Забастовка нужна. И прокламации выпустить можно. Только без безответственных призывов.

Завязался общий и горячий спор. Не только Александрóвич, но и другие товарищи стали упрекать меня в излишнем оптимизме. Сомневались в своевременности открытых революционных выступлений. Хорошо будет, если хоть забастовка будет всеобщей...

И все это говорилось, обо всем этом спорили менее чем за два месяца до революционного взрыва, снесшего до основания царский строй.

Так ничего из этого совещания и не вышло. Вел я и личные переговоры, убеждал, настаивал. Гизетти в конце концов ответил отказом, он не был убежден, что настал момент действовать. Ездил к Марку Брагинскому на Васильевский остров. Но он относился резко отрицательно к эсеровским интеллигентским кругам и полагал, что с ними каши не сваришь.

— Вы понимаете, что это не социалисты, а в лучшем случае радикальные мещане. Все сплошь шовинисты. На первом же живом деле вся ваша группа разлезется по швам.

Снова мы перебирали в памяти петербургских эсеров, ездили и уговаривали—ничего не вышло. Люди явно не хотели итти в подполье. Им невдомек было, что через два месяца разразится великая революция. О, если бы они знали это, то желающих работать в подполье нашлось бы более чем достаточно. Другое дело—какой от этого получился бы толк. Опыт 1917 года показал, что от механического объединения людей, ставших после войны идеологически друг другу чужими, вышло очень мало толку.

VIII. Канун

Довольно мрачно сидели мы—моя жена, Александрович и я - вокруг детской елки, устроенной на рождество. Было ясно, что из попыток создать руководящий партийный коллектив ничего не вышло. Александрович злорадствовал:

— Я сам говорил. Давно пора послать к черту всю эту интеллигентскую шваль. Обойдемся с одними рабочими.

У меня в голове мелькал другой проект, и я тут же поделился им с Александровичем. Если публика не желает итти в подполье, боясь риска, то, может быть, мы найдем желающих помочь нам в постановке партийного печатного подпольного органа? Ведь отсутствие такого ярко-революционного нелегального журнала, выдержанного к тому же в интернационалистском духе, ощущается всеми крайне остро. Ведь с таким органом и общая работа пошла бы во много раз лучше. Законспирировать его можно было бы во-как! И от провокации можно было бы уберечься и наша легализированная публика охотнее приняла бы участие в таком деле, нежели в непосредственном вхождении в подполье. А там, гляди, в случае успеха, вокруг журнала на живом деле и публика подберется, и искомый центр сам собою создастся.

Александрович отнесся к моему проекту сочувственно. Мы стали мечтать вслух. Конечно, для такого предприятия нужны деньги и порядочно денег. Но это пустяки, заставим Керенского раздобывать. Да и трудовиков попытаемся уговорить помочь. Далее, нужны люди и техника. Но несколько надежных человек для такого дела всегда подобрать можно. Что же касается техники—типографского шрифта, станка и прочее, то эту сторону дела возьмет на себя Александрович, у него, оказывается, имеются уже определенные перспективы получить их в свое распоряжение. Вообще, он, Александрович в подпольно-типографской технике опытен, он уже занимался этим делом.

— А вы,—сказал он,—возьмете на себя редакционную часть.

Я возразил, что редакторского опыта у меня нет, что я и не возьмусь за такое дело, не заручившись помощью и поддержкой нескольких опытных в литературном отношении товарищей.

— Ну, вот еще! Пустяки,—возразил Александрович.—Конечно, для виду можно составить редакцию. Будем заставлять публику писать, а собирать статьи и решать вопрос об их помещении будете вы.

Стали опять прикидывать—к кому можно было бы обратиться за ближайшим сотрудничеством. Остановились на следующих лицах: Русанов, Керенский, Суханов, Никитский, Иванов-Разумник. Этих людей решено было звать в редакцию органа, который предположено было назвать «Знамя революции». Возможно, что Суханов и Никитский откажутся войти в состав самой редакции. Но заручиться их тесным литературным сотрудничеством мы решили

во что бы то ни стало. Для участия в интернационалистском подпольном органе вовсе не требуется формальная связь с партией. Мне, казалось, что на такое, с их точки зрения, полезное дело они должны пойти.

В начале января я был у Керенского. Рассказал ему подробности проекта и просил его, во-первых, войти в состав редакции органа, а во-вторых—нажать на богатых прогрессистов-думцев (с которыми он был дружен и от которых уже доставал деньги на подполье) и получить с них побольше финансов. Керенский недовольно поморщился, когда узнал, что к делу причастен Александрович.

— Вы это о том подозрительном типе? Вы хорошо узнали его?

Я поручился за Александровича.

— Вот уже месяц, как он ведет всю партийную работу в Московском районе. Человек безусловно честный.

Керенский подумал.

— Орган будет определенно интернационалистским?

— Безусловно.

— Ну, как понимать сейчас интернационализм. Впрочем, об этом мы еще поговорим. Что же... я взял бы на себя руководство.

И вдруг добавил:

— Слушайте, вот что... бросьте связываться с Сухановым— толку от этого не будет.

Керенский вообще не любил Суханова. Я возразил, что у нас сотрудников и так очень мало, а Суханов—очень талантливый публицист.

Завязался спор, я не хотел уступать Суханова. Наконец, Керенский недовольно сказал:

— Писать я для вашего органа, пожалуй, стану. Считаю это дело очень полезным и нужным. Но протестую против участия в редакции Суханова.

— Думаю, что и сам Суханов на это не пойдет,—сказал я,— он будет только сотрудничать.

— Во всяком случае, приносите мне его статьи для предварительного просмотра. Иначе я не согласен.

— Охотно буду делать это,—сказал я.—Вообще мы будем считать вас членом редакции.

Обещал Керенский и денег раздобыть. По этому поводу я говорил также с Брамсоном. Думал, что придется уламывать и уговаривать старика, но я ошибся. Брамсон был лаконичен:

— Вашему начинанию сочувствую. Деньги попытаюсь раздобыть.

Действительно, недели через две, придя зачем-то к Брамсону, я получаю из его рук пакетик:

— Что это?

Деньги на типографию. Даю однако их с тем условием, что в нужных случаях типографией будем пользоваться и мы.

Я, разумеется, охотно согласился—зачем типография трудовикам? А если придется услужить им изредка, то и услужим.

В пакетике лежали триста рублей.

Переговоры с Сухановым и Никитским, насколько помню, тоже дали благоприятные результаты. От вхождения в редакцию они, конечно, отказались, но тесное сотрудничество обещали. С кем-то из них, помнится, говорили даже о темах и содержании будущих статей. Наконец, к моему удивлению, сотрудничать в журнале согласился даже Н. С. Русанов. Подпольщики давно уже привыкли смотреть на него, как на отрезанный от партии ломоть—старик черезчур легальничал. Я сомневался даже, примет ли он меня. Но, оказывается, принял. И не только принял, но часа полтора ораторствовал передо мной на ярко революционные интернационалистские темы, горячился, вдохновлялся, бегал по комнате. Я не без удовольствия видел, что он даже более лево настроен, чем это можно было видеть по его ежемесячным иностранным обзорам в «Русском богатстве». Войти в редакцию старик тоже отказался, но писать в каждом номере нашего журнала решительно обещал.

— Только вы уж того... как нибудь поконспиративнее устройте. Чтобы никто не знал о моем сотрудничестве.

Прощаясь, он просил сообщить ему, когда надо будет приниматься за писание статьи.

Итак, сотрудники для журнала были налицо. Что же... попробую редактировать журнал, Керенский поможет. Правда, могут возникнуть разногласия с ним. Ну, тогда... обойдемся и без него. Знамени революции и интернационализма во всяком случае не спустим. А там посмотрим... Вот, Александро́вич говорит, что Чернов собирается нелегально пробраться в Россию. Как бы хорошо это было...

Остановка была за деньгами, обещанными Керенским, и техникой, которую взялся раздобыть Александрович. В первых числах февраля я заболел и слег в постель, что также задержало наши хлопоты. А там уже незаметно подкрались величайшие события.

В продолжении всего февраля рабочая масса продолжала волноваться, устраивать стачки и политические демонстрации. Хозяйственная разруха и голодовка обострилась до последних пределов. Конфликт между Думой и правительством также достиг своего кульминационного пункта. Было ясно, что царица и Протопопов сожрут Думу. Меньшевики-оборонцы и часть эсеров решили, что настал момент для пролетариата выступить на защиту Думы. С этой целью рабочим Петрограда был брошен призыв бастовать 14 февраля, в день открытия Думы,—и явиться к Таврическому дворцу с демонстрацией. Лозунгом выступления оборонцы выставили: да здравствует Временное правительство.

И по поводу самого выступления 14 февраля и по поводу его лозунгов в рабочей среде и среди различных партийных группи-

ровок возникли жестокие разногласия. О них мне рассказывал Александр вич, приходивший ко мне во время моей болезни. Еще раньше в Петрограде возникло так называемое «информационное бюро», состоящее из представителей от всех революционн.-социалистических группировок. Оно собиралось несколько раз в целях взаимной информации и согласования действий. Мне не пришлось быть на нем, бывал Александрович. И от его рассказов у меня оставалось гнетущее впечатление. Среди членов бюро, кажется, совсем не было сознания исключительной важности наступавшего момента. Никто из них не помышлял о близости революционного взрыва.

По поводу выступления 14 февраля возникла грызня. Большевики отвергли этот день для выступления и протестовали против лозунгов гвоздевцев (т. е. меньшевиков-оборонцев). Большевики назначили днем своего сепаратного выступления 10 февраля—годовщину суда над с.-д. фракцией [1].

В эсеровских низах, опять таки, господствовала растерянность. Негодовали на большевиков за раскол, внесенный в выступление. Не возражали против того, чтобы отметить стачкой и демонстрациями день 14 февраля. Но почти единодушно отвергли лозунг поддержки Думы. Учредительное собрание—вот о чем, казалось нам, нужно было и можно было говорить.

Выступление 14 февраля не удалось. Я ездил в этот день специально для наблюдений на Выборгскую сторону. Большая часть заводов бастовала, утром были и попытки демонстраций с красными флагами. Но, в общем, рабочая масса была в этот день какой то вялой и инертной. Демонстрация у Таврического дворца во всяком случае провалилась. На неудачу выступления повлияло между прочим возмутительное клеветническое письмо к рабочим вождя думского прогрессивного блока Милюкова. В страшном опасении обострения революционного движения думский лидер заклинал рабочих отказаться от выступления 14 февраля, убеждая, что подбивают их на это выступление германские агенты...

Это писал лидер Думы, в защиту которой собирались двинуться народные массы. Хороша Дума! Хорош лозунг поддержки такой Думы! Милюковское письмо явно скомпрометировало движение, затеянное 14 февраля меньшевиками и оборонцами.

Но ровно через две недели царского самодержавия уже не существовало.

[1] Большевики высказались против демонстрации 14 февраля, считая, что демонстрация, устраиваемая под лозунгом поддержки Государственной Думы, затушевывает классовые противоречия и может быть выгодной только буржуазной оппозиции,—так называемому прогрессивному блоку.—*Ред.*

В. Андреев

Февральские дни 1917 года в Черемхове

Революция 1917 года застала меня в Черемхове—большом селе с 12 тысячами жителей. Это—угольный район Иркутской губ., в котором разными хозяевами разрабатывалось 7—8 копей. Я работал слесарем в механическом заводе Щелкунова. Политссыльных в Черемхове жило приблизительно 50—70 человек, которые вели революционную работу среди шахтеров. Во главе организации стояли Н. Атабеков и Н. Ольховский. В механическом заводе п.-ссыльных работало сравнительно много—5—6%. На шахтах часто стихийно вспыхивали забастовки по разным экономическим причинам. Ни одного месяца не проходило, чтобы шахтеры не бросали работать на день-полтора. В конце 16 года среди рабочих стало назревать недовольство экономическим положением и поведением администрации. До этого времени недовольство рабочих выявлялось в коротких вспышках-забастовках, в результате которых более сознательные товарищи попадали в административную ссылку. Приблизительно в конце ноября или в декабре 16 года вспыхнула такая забастовка на шахтах Щелкунова, которую поддержал и механический завод. Ссылка встала во главе забастовки, которую повели организованно и которая длилась приблизительно неделю. Иркутская жандармерия забила тревогу и приблизительно через месяц мы узнали, что у пристава имеется распоряжение иркутского губернатора о раскассировании ссылки. Для половины, а то и более ссыльных предстояла прогулка в Киренск, а некоторым и в Якутскую область, примеры чего бывали и раньше. Но потом, как-то сразу все слухи о высылке прекратились. Около этого же времени стал ощущаться недостаток продуктов. Дней 5 не было керосина, затем не оказалось пшеничной муки, а потом и сахару. Сведения о жизни в России мы получали только из газет, которые часто запаздывали. Числа 4-го марта, после недельного перерыва в получении газет, в заводе во время работы кто-то из ссыльных сообщил, что на станции ж. д. получено распоряжение, подписанное Бубликовым, и предположил, что в России случилось большое событие—дворцовый переворот или даже революция. Хотя

мы и не верили в возможность революции, но слухи о ней так взволновали нас, что мы собирались группами, строили предположения и не могли уже работать. В этот же день вечером в 9 часов было назначено собрание коллектива ссыльных, хотя для обсуждения других материалов, кроме циркуляра, подписанного Бубликовым и полученного на станции ж.-д., у нас не было. Никто не знал Бубликова как администратора или вообще как человека, бывшего у власти, и потому остановились на предположении, что если один из министров совсем новый человек у власти, то власть в целом отнята от военной аристократии, значит произошла революция.

Коллектив выбрал информационную комиссию из 3-х человек, поручил ей собрать все сведения по этому вопросу, поехать в Иркутск и там, как в административном центре, выяснить вопросы, чтобы иметь возможность ориентироваться. В течение второго дня ничего не узнали, нервничали и нервное состояние ссыльных стало передаваться и всем рабочим завода. Хотя на третий день мы также ничего не выяснили, но возбуждение в районе стало увеличиваться: по дорогам патрулировали усиленные конные разъезды стражников, что еще больше возбуждало рабочих и по адресу стражников сыпались остроты и выкрики. На четвертый день рано утром получили сведения, что в России произошла революция и власть перешла к комитету Государственной Думы. Коллектив ссыльных решил действовать и выработал план захвата власти. Но время шло и рабочие ушли уже на работы. В первую очередь решили провести собрание рабочих механического завода, на содействие которых можно было рассчитывать; потом провести общее собрание района и избрать временную власть. Но чтобы произвести общее собрание района, надо было его официально оповестить, для чего решили отпечатать объявление в местной типографии и чтобы уверить население, что оно, идя на собрание, не рискует быть расстрелянным стражниками, решили принять все меры к тому, чтобы заставить станового пристава подписать объявление. К приставу сейчас же отправили трех товарищей и человек 8 пошли на завод. Время было уже около обеда, станки остановили и все рабочие механического завода и верхние рабочие шахты собрались на собрание. Коллектив информировал рабочих о событиях в России и просил всеми мерами содействовать революции. Со стороны посыпались предложения сейчас же идти к приставу, отобрать оружие у стражников и таким путем захватить власть в свои руки. Коллектив предложил на некоторое время отложить это предложение и собрать общее собрание района, избрать на нем власть, которая вела бы управление районом, отдать себя в распоряжение этой власти, действуя организованно, и тогда, если потребуется, силой отобрать оружие и арестовать полицию. Общее собрание района было назначено в этот же день на 6 часов вечера в заводской школе. На этом собрание закончили и рабочие направились на шахты

и в поселок. На улице стражников не было. Пристав на предложение товарищей подписать объявление ответил криком, что сейчас же их арестует, на что товарищи ответили, что не он их арестует, а они его арестуют, так как стражники настолько терроризованы массой, что не придут его, пристава, защищать. Далее пристав заявил, что он не имеет от иркутского губернатора никаких распоряжений и что объявление не подпишет. Тогда товарищи объявили ему, что они с настоящего момента будут держать его под стражей и за последствия он будет отвечать перед народом. В результате все-таки пристав подписал объявление о созыве общего собрания всего района в 6 часов вечера в заводской школе. Все население знало и без объявления, что будет собрание, что в России революция, и к объявлению подходили только посмотреть на подпись пристава, которая расценивалась, как капитуляция старой власти. В пять часов вечера население,—и в одиночку и группами,—шло к школе, стражников на улице не было. Собрание началось информацией коллектива о том, что в России революция, потом были произнесены короткие речи о праве народа избирать власть, о необходимости взять власть в свои руки. Затем было обсуждено и принято предложение коллектива ссыльных избрать власть для своего района—комитет общественных организаций, который должен выделить из своего состава все органы управления. Тут же собранием было послано несколько человек к приставу с предложением сдать оружие, которое он без всякого сопротивления и сдал. После окончания собрания была произведена запись в народную милицию. На другой день почта, улица, базарная площадь, тюрьма, охранялись народной милицией, а в школу с утра собрались рабочие с шахт всего района, выходили на эстраду и говорили о своей жизни, как тяжело им жилось, от кого больше они видели притеснений и высказывали свои пожелания. Часов в 11 дня принесли красные флаги и пошли по улицам поселка с марсельезой. На следующий день пришло известие из Иркутска, что там народ взял власть в свои руки и что во главе управления стоит Церетелли. Работа на заводе шла плохо и почти все время уходило на разговоры о событиях в России, о войне, о тех новых условиях жизни, которые возникли с уходом царской власти. Потянуло в Россию—принять самому участие в налаживании новой жизни. Это понятное желание вернуться в свои края, к своим семьям захватило всю ссылку, все ссыльные только и думали о возвращении. Ежедневно получались известия о том, как проходит захват власти в разных городах России. Дней через 5—6 были произведены выборы в совет рабочих депутатов и среди ссыльных уже определенно выявляется нежелание попасть в местные организации, потому что работа в этих организациях могла задержать возвращение домой. По получении сведений из Иркутска о том, что там создан комитет помощи политическим ссыльным, почти вся ссылка выехала в Иркутск.

А. Аклинов.

Из воспоминаний о феврале 1917 года

В начале 1917 г. я, с товарищем Бутаковым (административно-ссыльным из Петрограда), работали у мирового судьи в селе Манзурка, В рхоленского уезда.

2-го марта 1917 г. (ст. ст.) в час дня, товарищ получил телеграмму из Петрограда: «приезжай, предстоит работа». Текст телеграммы нас озадачил и мы решили обратиться к мировому судье Иванову за разъяснением.

Иванов был очень хорошим человеком и, хорошо относясь к ссыльным, иногда даже передавал сведения о приезде жандармов. Однажды после ареста некоторых товарищей, как напр. д-ра Петрова, т. Султаняна, Назарова и др. ,ему было предписано обследовать нашу нелегальную общественную столовую и дать свое заключение с планом этой столовой, приспособлена ли столовая для конференций и съездов партии. Он предложил мне итти с ним и, даже не входя в помещение, он написал в заключении, что это помещение нельзя использовать для вышеуказанной цели.

Иванов нам разъяснил, что, по газетным сведениям, в России что-то происходит. В тот же день в 4 часа дня мы получили другую телеграмму, содержание коей было: «Сокол на свободе, предстоит амнистия».

Тут-то мы пришли совсем в недоумение, каким образом почтамт пропускает такого рода телеграммы, и вновь обратились к Иванову, сказавшему нам: «бросайте работу и собирайтесь с товарищами».

Взволнованные всеми этими известиями, ссыльные решили собраться у тов. Бутакова, под видом ужина, и обсудить создавшееся положение.

Не успели мы еще обменяться мнениями, как нагрянули становой и урядник со стражниками. Войдя в комнату становой спросил, почему мы собрались. Тов. Бутаков ответил, что у него именины. Становой на это заявил, что надо было предупредить его заранее, а теперь он разрешить этого собрания не может, так как ему о нем

сообщили его подчиненные, и просит разойтись, иначе он будет принужден всех арестовать.

После того, как никакие уговоры не помогли и становой настаивал на своем, тов. Горячковский вынул из кармана третью телеграмму с сообщением что старое правительство свергнуто и власть перешла к Временному правительству; телеграмма была за подписью члена Гос. Думы Чхеидзе.

Становой, выслушав телеграмму, сказал: «сегодня я могу вас арестовать, а завтра, быть может, вы меня; так как я от своего начальства никаких распоряжений по этому поводу не имею, то прошу расходиться». Обратясь лично ко мне, он сказал: «если вы не оденетесь и не уйдете, я принужден буду вас арестовать». Я оделся и заявил ему, что я готов к аресту. Когда он в ответ смолчал, я опять повторил свое заявление. Не получив снова ответа, я сказал приставу, что у него не хватает гражданского мужества для моего ареста.

После маленького совещания, мы все же решили разойтись, чтобы не вызывать ненужного конфликта. Выйдя на улицу, становой подошел к тов. Войтиху, убитому позднее во время Октябрьской революции, со словами: «когда я уйду со своими подчиненными, вы можете собраться снова».

Собравшись вновь, каждый из нас спрашивал, что нам завтра делать и какие шаги предпринимать. Каждый понимал, что завтра, может быть, придется бороться, рискуя не только свободой, но даже жизнью. И все же настроение у всех было бодрое, и все по первому зову готовы были итти в бой. С этим бодрым и веселым настроением мы разошлись по домам в ожидании утра и новых сообщений. Все, как и я, ночью, вероятно, не спали в ожидании новых событий, думая о совершившемся.

Утром мы все побежали на почту узнать, есть ли новые телеграммы. Там была телеграмма, извещавшая о составе Временного правительства и об амнистии, также за подписью Чхеидзе.

Вернувшись с почты первым делом порешили устроить собрание и предварительно сняться на фотографии, пока все товарищи были в сборе. Затем двинулись к волости, где решили устроить митинг, во время которого один из товарищей вошел в правление, снял со стены потрет Николая II и уничтожил его. После этого опять разошлись по домам.

Вскоре после того, кто-то передал становому, что какой-то еврей во время митинга вошел в волостное правление и уничтожил портрет Николая II.

Станов й, узнав об этом, побежал в волость и, застав там сотского, ударил его по лицу со словами: «ты должен был умереть, а этого не позволить»,—и повесил на том же месте снова потрет Николая II, принесенный им из дому.

Узнав об этом, т. Михайлов Василий прибежал ко мне и, сообщив о всем случившемся, просил пойти к Иванову, чтобы тот убедил

станового не вмешиваться (мы не хотели лично вести переговоры со становым, так как он был пьян).

Уговоры Иванова не подействовали на станового, и мы решили его арестовать. Отобрав у него все оружие, мы содержали его под домашним арестом.

Вечером устроили в местной школе митинг совместно с крестьянами и выступавшие товарищи разъяснили происходящие события и их значение.

Хорошо помню, что многие старики даже плакали от радости.

Вечером же избрали временный комитет и несколько товарищей, которые должны были отправиться в сел. Качуга и совместно с качугскими товарищами следовать в гор. Верхоленск для ареста исправника, помощника и жандармов и захвата всех жандармских дел. Просмотрев все дела жандармского управления, наши товарищи разоблачили некоторых провокаторов и сейчас же их арестовали.

На другой день всех арестованных привезли в Манзурку для препровождения в гор. Иркутск. Хорошо помнится мне, что арестованные власти просили дать им в сопровождающие политических ссыльных, так как крестьяне очень издевались над ними по дороге. О дальнейшей судьбе их, мне ничего неизвестно.

В Манзурке мы организовали милицию для поддержания порядка.

Через наше село началось движение ссыльных по дороге к Иркутску. Все спешили как можно скорее попасть домой и взяться за работу для подкрепления революции. Они двигались на санях, разукрашенных красными знаменами, и весело беседовали друг с другом. Некоторые из них заходили к нам и обменивались своими впечатлениями, рассказывая нам, как дошли до них слухи, как они расправились с местными властями и провокаторами.

Позднее проходили ссыльные из Киренского уезда и Якутской области.

Из нашего села выехали почти все, кроме трех-четырех товарищей и тов. Горячковского, который руководил отправкой товарищей и временным местным комитетом.

Я выехал 2-го апреля, получив от тов. Горячковского поручение исхлопотать от Комитета помощи полит-ссыльным в Иркутске перевод тов. Горячковскому 1000 руб., которые им были взяты из волостного управления заимообразно для отправки отъезжающих товарищей. До уплаты этих денег он не считал для себя возможным выезд в Иркутск.

Помню хорошо, что местные крестьяне просили нас, чтобы мы не сразу покидали села, так как они не знают, что делать дальше.

В. Бархатов

Февральская революция в Томске

I.

Общественная и революционная жизнь в Томске перед февральской революцией была задавлена и проявлялась очень слабо. Либералы и ликвидаторски настроенная часть революционеров довольствовались скромной работой в различных научных обществах и в местной легальной прессе. Изредка ими устраивались легальные публичные лекции по общественным вопросам с бледно-розовой политической окраской. Более активные революционеры строили кооперативы, собирали средства для политзаключенных и ссыльных и от времени до времени вели в тесном кругу бесплодные дискуссии по программным и тактическим вопросам. Только одиночки пытались наладить подпольную работу. За свой страх и риск эти одиночки вели несколько подпольных кружков среди рабочих и учащихся и поддерживали связь с революционной военной организацией Томского гарнизона, которая называлась «военно-социалистический союз».

Февральская революция совершенно изменила политическую физиономию города. К половине марта в Томске уже существовали организации: социал-демократическая, социалистов-революционеров, народно-социалистическая, бунда, польская социалистическая, еврейско-сионистская, украинская национально-социалистическая, литовская национально-социалистическая, конституционно-демократическая, лига равноправия женщин, союз фронтовиков, анархическая всех толков, советы рабочих, солдатских и офицерских депутатов, союзы домовладельцев, союзы промышленников и торговцев, профессиональные союзы и проч.

В первые дни всеобщего энтузиазма и ликования партийные и фракционные разногласия между организациями социал-демократов и социалистов-революционеров совершенно отсутствовали. Но не прошло и недели, как сразу же выявились принципиальные расхождения, и эти разногласия с каждым днем все больше и больше

обострялись. Внутри эсеровской организации фракционная борьба между левыми и правыми с.-р. резко начала выявляться только в конце мая и начале июня. Социал-демократическая организация до июня также вела единую тактику, но уже в марте фракционные разногласия были настолько обостренными, что видимое единство удавалось сохранить лишь благодаря взаимным уступкам, причем эти уступки делались главным образом меньшевистской фракцией. Большевистская фракция на уступки и компромиссы шла лишь в редких случаях.

Борьба между с.-д. и с.-р. особенно обострилась перед выборами в местные народные собрания и во время деятельности этих собраний. В этот период велась ожесточенная борьба главным образом за преобладающее руководство беспартийными крестьянскими делегатами.

Конституционно-демократическая народно-социалистическая организации и другие родственные им группировки во всех вопросах в борьбе с революционными организациями обычно выступали объединенным фронтом. Но удельный вес всех этих организаций и группировок (не советов) был весьма незначителен. Во всех политических и общественных вопросах томской жизни в период февральской революции руководящую и решающую роль играли только организации с.-д. и с.-р. и советы солдатских и рабочих депутатов, состоявшие также из членов этих парторганизаций.

В февральские дни 1917 года студенчество и учащиеся вообще в массе никакой самостоятельной политической физиономии не имели и активной силы не представляли.

II.

В первое время либералы и другие умеренные группы попытались обосноваться во временном комитете общественного порядка и безопасности. Но революционные организации и революционные советы вскоре их и оттуда вытеснили. Временный комитет всю свою работу проводил в полной согласованности с советами и с организациями с.-д. и с.-р. Во главе отдельных комиссариатов временного комитета были поставлены преимущественно члены этих организаций.

Учащаяся молодежь была использована главным образом для формирования народной милиции.

С милицией на первых порах вышел довольно неприятный конфуз. В помощь начальнику милиции А. Ф. Иванову (соц.-дем.) по предложению с.-р. был назначен с.-р. А. Цветков. При разборе архива охранки было установлено, что Цветков был провокатором и одним из видных агентов местной охранки.

Цветкова арестовали, и вместо него был назначен с.-д. Березницкий, но через 3—4 дня было установлено, что Березницкий также состоял в числе секретных сотрудников охранки.

При временном комитете, помимо распорядительного бюро, существовало бесконечное количество различных комиссариатов. В числе этих комиссариатов были: военный, почты и телеграфа, труда, топлива, продовольствия, торговли и промышленности, финансов, тюрем, зрелищ и собраний, организации в уездах революционной власти и укрепления революционной законности, милиции и т. п. В каждом из этих комиссариатов было такое количество бесплатных добровольцев-сотрудников, что для размещения их не хватало места. Каждый из этих добровольцев брался за исполнение таких поручений, о цели и характере которых он не имел никакого представления. В результате часто трудно было разобраться по всем этом творчестве.

В городе ежедневно во всех клубах, театрах и учреждениях шли перманентные митинги и собрания. В адрес временного правительства и Петербургского совета ежедневно отправлялись десятки длиннейших телеграмм-резолюций.

Революционная волна постепенно докатывалась до самых глухих углов губернии и перевертывала на изнанку все устои местной жизни. Политически малосознательная крестьянская масса совершенно не знала, что надо делать. Комиссариат по укреплению революционной законности при временном комитете ежедневно засыпался сотнями и тысячами аршинных телеграмм и писем, в которых, наряду с просьбами помочь разобраться в событиях и наладить новую власть на местах, часто прорывались истерические вопли перепуганных деревенских кулаков, лавочников и служителей культа.

Несмотря на общую кажущуюся неразбериху, комиссариаты все же умудрялись проводить большую и серьезную работу. В деревни и уезды были брошены сотни наиболее политически подготовленных инструкторов с заранее составленными для них программами действий и инструкциями по организации органов власти и управления на местах. Успешно шла работа на транспорте, продовольственного и топливного комиссариатов. Выяснялись запасы товаров, производилось их нормирование и разработка правила их продажи и распределения, изыскивались материальные средства. Отделом труда был установлен и проведен 8-часовой рабочий день; почти круглые сутки работали комиссии по разрешению конфликтов между нанимателями и служащими и рабочими. Принимались меры к ослаблению остроты все усиливающейся безработицы. С нанимателями было достигнуто соглашение о выдаче ими выходного пособия увольняемым рабочим и служащим.

Для правильного функционирования угольных копей временным комитетом и партийными организациями с.-д. и с.-р. на копи систематически командировались особые эмиссары. В первые дни революции рабочие копей сняли всю администрацию и часть ее арестовали. Производительность копей начала катастрофически па-

дать. По соглашению с рабочими копей, часть администрации была восстановлена, часть была назначена вновь. Дальнейшее падение производительности копей было приостановлено.

Советом солдатских депутатов семьям призванных в армию оказывалась по производству полевых работ помощь рабочей силой и сельскохозяйственными машинами и орудиями.

Томск с самого начала февральской революции признавал власть временного правительства только номинально и в особенности болезненно реагировал на всякие распоряжения временного правительства по вопросам местной жизни и назначенства сверху.

В конце марта распорядительное бюро временного комитета, по соглашению с советами и парторганизациями с.-д. и с.-р. постановило провести в начале апреля по всей губернии выборы в местные органы управления и самоуправления, именуемые в положении народными собраниями. По этому положению принимать участие в выборах и быть избранными имели право все граждане, достигшие 18 лет. Выборы производились по спискам по 4 членной формуле, на основах пропорционального представительства. Предвыборная кампания и выборы в сельских местностях происходили почти без всякого руководства партий. В Томске вокруг выборов партийная борьба велась между двумя группировками: революционно-демократической и буржуазной. На выборах в народное собрание по Томску победил левый блок, остальные партии получили незначительное число мест. Губернские, уездные и городские народные собрания в Томске были открыты 20 апреля.

Поскольку в основном и главном работы всех этих народных собраний совпадали, мы считаем возможным остановиться здесь только на работе губернского народного собрания.

Большинство делегатов губернского народного собрания состояло из беспартийных крестьян. Фракции с.-д. и с.-р. при открытии сессии состояли всего из нескольких десятков каждая.

Благодаря усиленной агитации и обработке беспартийных крестьян, эс-эрам удалось вскоре же перетянуть в свою фракцию около 200 чел.

Сессия губернского народного собрания продолжалась с 20 апреля по 18 мая включительно. Всех заседаний пленума было 24.

Почетным председателем губернского народного собрания был избран известный сибиряк, этнограф Г. Н. Потанин. Председателем был избран Вологодский, товарищами председателя—А. А. Наумов, [illegible] и Шишарин, секретарем Шебалин, товарищами секретаря—Свиридов и Денисов.

Существовали, между прочим, следующие комиссии: 1) продовольственная, 2) по вопросам политической жизни, 3) земельная и лесная, 4) финансовая и сметная, 5) торгово-промышленная и кооперативная, 6) народного образования, 7) по разделению губернии, 8) судебная, 9) инородческая, 10) церковная, 11) путей сообщения,

12) средств сношения, (почта и телеграф), 13) страховая, 14) переселенческая и по устройству беженцев, 15) лесная, 16) по призрению, 17) по областному самоуправлению, 18) по рабочему вопросу, 19) военная, 20) врачебно-санитарная, 21) топливная, 22) мандатная и целый ряд других по специальным вопросам, возникавшим в процессе работы народного собрания.

В состав исполнительного комитета губернского народного собрания были избраны представители фракций: с.-р —6, с.-д. 5 и беспартийных—2. Председателем был избран беспартийный.

Из постановлений губернского народного собрания наиболее характерными были следующие: 1) положение о народных собраниях и их исполнительных органов, 2) о продовольствии, 3) о торговле, промышленности и кооперации, 4) по земельно-лесному вопросу, 5) о народном образовании, 6) о врачебно-санитарной части, 7) о призрении сирот и инвалидов, 8) об инородцах и их самоуправлении, 9) о разделении губернии, 10) об областном управлении Сибири и Областной Думе, 11) о реквизициях и нормировке цен, 12) о финансах и 13) резолюции: 1) об отношении к Временному правительству, 2) об отношении к войне и 3) о губернском и уездном комиссарах.

В «Положении о народных собраниях» говорится, что «оно имеет силу в пределах Томской губ. впредь до введения в ней земских учреждений по закону Временного правительства».

Согласно положения вся полнота власти в губернии принадлежит губернскому народному собранию и его исполнительному комитету.

По типу губернского народного собрания и его исполнительного комитета создаются уездные, городские, волостные и сельские народные собрания и их исполнительные комитеты.

Компетенции народных собраний и их исполнительных комитетов подлежали: 1) охрана основных прав народа, 2) охрана основных прав каждого гражданина, 3) охрана спокойствия и безопасности граждан и неприкосновенности их имущества, 4) обеспечение населения главными продуктами питания, топлива и фуража, 5) обеспечение населения необходимыми товарами, 6) охрана здоровья и обеспечения медицинской помощью населения, 7) заведывание и забота о народном образовании, 8) заведывание и управление земельным и лесным хозяйством, животноводством, молочным хозяйством, рыболовством и прочими промыслами, 9) финансы, 10) по содействию и развитию торговли и промышленности, 11) обеспечение интересов трудящихся (охрана труда, помощь безработным и проч.), 12) обеспечение населения юридической помощью, 13) благоустройство населенных и не населенных местностей, 14) обеспечение населения средствами сношения, 15) предупреждение и борьба с преступностью, 16) охрана сирот и нетрудоспособных, 17) заведывание вооруженными силами, 18) горное хозяйство и

19) административное управление и сношение с центральной властью.

В постановлении о продовольствии регламентировались правила и порядок реквизиции хлеба и распределения его, правила о продовольственных и семенных ссудах нуждающемуся населению неурожайных уездов и волостей, о мерах к наилучшему обсеменению и уборке полей и к расширению посевной площади, о пользовании трудом военнопленных, о снабжении и обеспечении населения сельскохозяйственными орудиями, об установлении категорий и разрядов пайка семьям призванных на военную службу, о мерах борьбы с винокурением и с самогонкой.

Постановление о торговле, промышленности и кооперации имело в виду учет и контроль производства и торговли, выявление производительных сил губернии, нормировку цен на товары, учет потребностей населения, всемерное поощрение и содействие развитию промышленности, организацию массовых закупок, крупных общественных магазинов, складов и промышленных общественных предприятий, всемерное содействие по кооперированию населения, открытие порто-франко на Дальнем Востоке и упразднение Челябинского и Иркутского тарифных переломов с целью удешевления грузов.

Постановлением по земельному вопросу «все казенные, удельные, кабинетские, монастырские, церковные и частновладельческие пахотные, сенокосные и выгонные свободные и не засеянные земли предоставлялись в пользование нуждающемуся в земле населению». Земли, арендуемые со спекулятивной целью, а также все излишки пахотных и сенокосных участков, находящихся у арендаторов, передаются нуждающимся постановлением местных земельных комитетов. Было внесено пожелание просить Временное правительство издать закон, чтобы «все сделки по продаже земель и лесов, состоявшиеся после 1 марта 1917 г., считать не действительными».

Все бывшие казенные, кабинетские и удельные леса и рыболовные угодья поступают под контроль соответствующих исполкомов. Порядок эксплоатации и право пользования лесом и угодьями подробно предусматривается самим постановлением.

Постановлением об инородцах им предоставлялось право иметь у себя самостоятельные выборные органы с ограждением прав национальных меньшинств. Алтайцы, шорцы и телеуты, живущие в пределах Бийского и Кузнецкого уездов, имели право иметь свое районное народное собрание с исполнительным органом с объемом прав уездного исполкома и уездного народного собрания.

Томская губ. была разделена на две: Томскую и Алтайскую.

Народное собрание поручило «губернскому исполнительному комитету созвать в Томске Общесибирский Областной Съезд для детальной разработки основных положений областного самоуправления Сибири, которые должны быть внесены в Учредительное Собрание Российской Республики».

Об организации Областной Думы народным собранием было вынесено следующее постановление:

«Сибирь, ввиду своей географической обособленности от Европейской России, ввиду своей обширности и совершенно особенных этнографических, климатических и некоторых других местных условий должна получить право самого широкого самоуправления.

Не нарушая своей органической связи с Российской Республикой Сибирь должна иметь свою Всесибирскую Областную Думу, которая будет издавать законы, касающиеся внутренней жизни Сибири; в общегосударственных же вопросах Сибирь будет подчиняться общероссийским законам».

Характерной для томских организаций является резолюция губернского народного собрания об отношении к войне, принятая единогласно:

«В виду того, что настоящая война, начатая в интересах крупновладельческих классов, всем своим тяжелым гнетом обрушилась, главным образом, на плечи трудящихся; в виду того, что война, как массовое насилие, во всех отношениях противоречит идеалам и интересам трудящегося народа,—Томское губернское народное собрание находит, что необходимо принять все меры к тому, чтобы достигнуть соглашения между народами для скорейшего заключения мира, без захватов, контрибуций и на началах самоопределения народов. Но до тех пор, пока мир на указанных началах еще не заключен и пока все остальные воюющие народы не обнаруживают стремления к такому миру, Томское губернское народное собрание находит, что русская армия должна сплоченно и организованно защищать целость и свободу России».

III.

В начале революции по приказу Керенского из тюрем были выпущены уголовные, пожелавшие вступить в ряды войск. Эти уголовные, зачисленные в состав частей томского гарнизона, одев солдатскую шинель и получив винтовку, использовали свое положение для профессионально-уголовных целей. Этому немало содействовала пропаганда среди них анархистов, руководимых Клюевым. В городе начались грабежи, убийства и пожары, ходить по городу, особенно вечером, стало небезопасно. Солдаты-уголовные руководимые Клюевым собирались разгромить магазины и стали угрожать всем революционным завоеваниям. Благодаря их присутствию в казармах, среди других солдат также начала исчезать всякая дисциплина. Даже исполкомы народных собраний и советов были ими терроризированы.

Такое положение дольше не могло быть терпимо. Было решено принять решительные меры, но никто не хотел взять на себя исполнение этого.

31 мая исполнительный комитет городского, уездного и губернского народного собрания, советов рабочих, солдатских и офицерских депутатов, члены гарнизонного совета и комитеты партийных организаций с.-д. и с.-р. на совместном заседании решили избрать специальный орган по принятию и проведению решительных мер

против деятельности уголовных. Из опасения, чтобы уголовные заранее не узнали состав этого исполнительного органа и не убили членов его по одиночке, выборы были произведены тайным голосованием путем записок. Эти записки подавались одному товарищу, который подсчитал их, не оглашая. После этого голосования все участники собрания выходили из помещения по одному, а товарищ, подсчитавший записки, стоя в дверях, каждому говорил на ухо, избран или не избран он и избранным назначал час и место сбора. Таким образом, участники совещания сами не знали, кого именно они избрали в состав чрезвычайного исполнительного органа.

В ночь с 2-го на 3-е июня этим никому не известным исполнительным комитетом, от имени всех избравших его организаций было объявлено в городе военное положение.

Весь город и солдатские казармы, в которых находились солдаты из уголовных, были оцеплены войсками. При аресте солдат из уголовных было убито 22 чел. Всего в ночь на 3-е июня было арестовано в войсковых частях 1.500 чел. и в 114 усадьбах города и на улицах около 1.000 чел.

Военное положение в городе было снято 7 июня. Для разбора дел арестованных была образована специальная комиссия. Все непричастные к уголовным преступлениям лица были немедленно освобождены.

Начало июня для Томска можно считать концом февральской революции. Во второй половине июня уже наметились резкие грани расхождения между левой и правой частью революционных организаций. Хотя в дальнейшем в ответственные моменты, эти организации и выступали совместно, но у них уже не было того единства действий, которое характерно для февральской революции в Томске.

Окончательный раскол томской с.-д. организации на две самостоятельные организации—большевистскую и меньшевистскую—произошел 18 сентября 1917 г. Но уже в июне совместная работа в одной организации обеих фракций была почти невозможна.

В. А. Соболев

Воспоминания бунтаря о 1905 г.

(Окончание).

VI. Арест

Перед рождеством стало известно, что реакция побеждает и что всему забастовочному движению грозит провал и жестокая расправа буржуазии и правительства с сознательным рабочим элементом. Черная сотня начала, осторожно озираясь по сторонам, выползать их своих нор и щелей и алчно щелкала кровожадными челюстями, чуя богатую поживу.

Разгромленная японцами, никуда негодная, гнилая офицерщина теперь начала проявлять свою храбрость над мирным и беззащитным населением.

Начался страшный кровавый пир реакции.

Дошла очередь и до нас...

Как-то вечером дня за два или за три до рождества, спешу я на собрание Совета Рабочих Депутатов. У передних ворот фабрики догоняет меня конторщик Розанов и, несмотря на то, что я уже давно совершенно откололся от служащих и примкнул к рабочим, за что они также смотрели на меня косо, все же сообщил мне, что он только-что был у своего отца,—который тогда был дьяконом,— и последний сообщил ему, что не сегодня-завтра на фабрику прибудет отряд семеновцев, тот самый который был в Перово, на Казанской железной дороге.

Меня удивило это, и я спросил:

— А откуда отец твой узнал об этом?

Розанов замялся и ответил не сразу.

Несколько шагов мы прошли молча.

— Знаешь что,—наконец ответил он тихо, оглядываясь назад, боясь видимо, как бы кто не подслушал,—тут есть такие... следят и все знают. Ты не говори никому, что это я тебе сказал... Знаешь, у меня отец старик, а за это ведь не похвалят... не говори...

И, произнеся это, он пошел от меня в сторону, а потом повернул назад.

Придя в барак на собрание, я передал слышанное от Розанова руководителю Сергееву.

Тот с улыбкой ответил, что он это уже знает и что после собрания мы в своей среде обсудим это всесторонне для принятия надлежащих мер.

И, как ни в чем не бывало, продолжал начатый доклад по назревшим вопросам дня.

Народу в бараке было полно. Окончив доклад и разобрав несколько жалоб о всевозможных недовольствах соседа с соседом, которые всегда разбирались в присутствии обеих сторон и при участии особого судьи из рабочих, Сергеев вдруг встал и обратился к присутствующим:

— Ну, товарищи, прошу вашего особого внимания!

Проговорив это, он на несколько минут умолк и впился глазами в толпу. Последняя разом смолкла и даже перестала шевелиться. Все почувствовали, что что-то должно произойти важное, так как голос Сергеева прозвучал как-то особенно строго и повелительно.

И когда толпа успокоилась, он продолжал:

— Буржуазия, товарищи, побеждает! Ваше правление в лице паразитов Н. Никитинского, А. Дубровина, В. Устинова и С. Лямина преподносит вам к рождеству такой подарок, на который способны только самые подлые души. Сегодня на фабрику прислано объявление, которое будет расклеено по казармам. Вот оно. Я прочту его полностью. Слушайте: «Объявление. Рабочим, мастеровым и служащим фабрики товарищества Покровской мануфактуры. Выписка из протокола чрезвычайного общего собрания пайщиков товарищества Покровской бумаго-прядильной и ткацкой мануфактуры. 17 декабря 1905 года. Председателем собрания избран единогласно Николай Яковлевич Никитинский. Правлением доложено общему собранию о забастовке рабочих на фабрике товарищества, начатой 11 ноября с. г., о тех мерах, которые были приняты, и переговорах, которые правление одно и совместно с членами ревизионной комиссии вело с депутатами рабочих. Чрезвычайное общее собрание одобрило эти меры и, осведомившись, что после соглашения с 20 депутатами, последовавшего 10 декабря с. г., о начале работ на фабрике на прежних условиях с 12 по 24 декабря рабочие предъявили новые требования, отказались подчиняться оставшимся лицам администрации, учредили свою собственную администрацию, которая под названием «Совета Рабочих Депутатов фабрики товарищества Покровской мануфактуры», произвольно распоряжается на фабрике и даже предъявила настоящему общему собранию письменное требование о признании своего управления, постановило: уполномочить членов ревизионной комиссии совместно с правлением: 1) Закрыть фабрику на неопределенное время, с учине-

нием полного расчета как служащих, так и рабочих фабрики, с удалением оных из занимаемых ими на фабрике помещений. 2) С закрытием фабрики сократить персонал больницы, а с уходом последнего больного, закрыть больницу; хроников же перевести в богадельню. 3) В виду закрытия фабрики, прекратить с первого января 1906 года выдачу на содержание школы. 4) Если правление и ревизионная комиссия по общему ходу дел признает нужным ликвидировать дело, то руководствуясь параграфом 66 устава товарищества, собрать общее собрание пайщиков для решения вопроса о ликвидации. На подлинном подписи пайщиков. С подлинным верно. Н. Никитинский, А. Дубровин, С. Лямин и В. Устинов».

Чтение объявления правления было окончено и, как бы ожидая ответа толпы, Сергеев снова умолк. И впился глазами в лица рабочих.

Гробовое молчание царило вокруг.

Стало жутко...

И вдруг, где-то далеко, в самых задних рядах неожиданно словно рокот весеннего разлива донеслось:

«Вставай проклятьем заклейменный»...

Все ближе и ближе подкатывается этот рокот рабочего гимна к передним рядам... Вот он вспыхнул по бокам, могуче вырвался из середины и, наконец, слился в один общий грозно предостерегающий гром Интернационала!..

Пение смолкло, но рабочие не расходились.

Снова заговорил Сергеев. Эта была его последняя речь, и он уже не стеснялся в выражениях против царя, правительства и буржуазия. Он звал к дальнейшей борьбе со всеми паразитами, пьющими кровь и пот рабочего класса. Он страстно уверял в том, что настоящая победа правительства, фабрикантов и помещиков — победа временная, а предшествовавшая ей борьба—не что иное, как пробная мобилизация рабочих сил, которая в скором времени вспыхнет в России пожаром Великой Революции...

А после собрания в бараке, как всегда, были оставлены боевая дружина, в полном составе Совет Рабочих Депутатов с Исполнительным Комитетом и те депутаты, которые бывали на политических собраниях.

И перед всеми была открыто сообщена правда о приближении семеновцев и о возможной расправе.

Молча и сосредоточенно слушали присутствующие роковую весть сжимая в карманах рукоятки револьверов. И каждому ясно представлялось, что с этим оружием можно лишь выступить против жандармов и полицейских, но никак не против дисциплинированного отряда войск.

Холодом повеяло в душу и чего-то было невыносимо жаль.

А в ушах раздавалось:

— Рабочим ничего не сообщать. Не сообщать даже домашним. Виновников в распространении этих слухов немедленно доставлять в Исполнительный Комитет, которому даны права в отношении провокаторов и злостных организаторов паники применять расстрел. Ни в каком случае не делать попыток скрыться, так как это может привести к ужасным репрессиям над ни в чем неповинными рабочими со стороны озверевших солдат. Оружие и патроны лучше всего побросать в реку Яхрому, так как каждый револьвер и патрон может быть сочтен семеновцами приготовленным для них и послужит поводом к расстрелу многих из рабочих. Литературу сжечь..Все списки уничтожить, в особенности членов боевой дружины. Имена членов Исполнительного Комитета не выяснять, а всех именовать на допросах просто депутатами рабочих; печать сжечь...

Смолкло это последнее слово и оборвалось что-то в груди.

Решили разузнать о семеновцах подробнее и постараться сделать еще одно совещание...

— Ну, а теперь товарищи, запомним, что здесь говорено и... по домам!—грустно, упавшим голосом произнес Сергеев, и на скулах его судорожно завились мускулы...

Наступило рождество...

А за ним настала вьюжная и непроглядная зимняя ночь. Помню вечером, часов в восемь, ко мне пришел мой покойный брат и сообщил, что меня ждет руководитель Сергеев. Я отправился в дом Заркова. Там было несколько человек наших из Исполнительного Комитета. Здесь мне сообщили, что в эту ночь решено собраться в первой Починковской казарме под видом вечеринки и там ожидать прибытия семеновцев, которые придут в два часа ночи. Этим имелось ввиду дать возможность произвести обыск,—который был неизбежен,—в нижних этажах казармы, там, конечно, ничего не найдут, и таким образом озлобление прибывших ослабнет.—Кроме того, нам из верных источников было сообщено, что жандармерия намеревается посредством семеновцев расстрелять нас при аресте первыми до обысков, чтобы мы не успели дать сигнал к активному выступлению вооруженных рабочих.

И мы, никому ничего не говоря, ушли в казарму к рабочим.

Время тянулось медленно. Организованная нами скромная вечеринка с чаем и закуской как-то не клеилась. Хотя многие из нас были, как говорится, и не из трусливого десятка, но откровенно говоря, предстоящая встреча с семеновцами как-то невольно пугала и в воображении рисовалось Перово, о котором мы хорошо знали.

Наконец пробило два, и, посмотрев в окно, мы увидили у нижнего этажа штыки прибывших семеновцев.

Раздавалось хлопанье дверей...

Шел обыск...

Мы из каморки все разошлись в разные стороны, а руководителя Сергеева рабочие спрятали на чердак, что конечно было бесполезно так как началась работа провокаторов-черносотенц в.

Весть о прибытии семеновцев с быстротой молнии разнеслась по всей казарме, и нам рабочие сообщали о каждом их действии.

Говорили, что их не мало удивило то обстоятельство, что чуть ли не в каждой каморке перед иконами горели лампадки.

— Вот так революционеры-забастовщики,—смеясь, говорили они рабочим.—Мы думали вы бомбами начнете в нас кидать, а вы вон как,—богомолы оказывается!..

Конечно, это делалось в отсутствии офицеров.

Про последних сообщали, что они очень злы, «ругательски ругаются», грозя расстрелять.

Наконец, царские опричники добрались и до нашего коридора. Смотрю, ведут уж одного из наших, грубо с ругательством толкая в шею... Слышу упоминают и мою фамилию. Я в это время стоял у дверей одной из каморок, без пиджака, приняв вид только-что проснувшегося рабочего. По коридору идет офицер с нахальной зверской рожей, с браунингом в руке, и держа за руку, тащит за собой какую-то молодую женщину.

— Ну, указывай, где он этот, как его ... Соболев...—кричит он на женщину. У той в глазах выражение ужаса. Срываясь с места, иду на встречу.

— Вам Соболева. Вот я...

— А-а-а...—точно зверь, почуявший добычу, протяжно как то не то взвыл, не то прохрипел офицер и, грубо схватив меня за руку повыше локтя, буквально втащил в первую попавшуюся каморку.

Там он тяжело опустился на табуретку не отпуская моей руки, и сразу же, пронизывая насквозь звериным, налитым кровью взглядом, спросил;

— Ну, говори, сволочь этакая, что у вас тут делается.

— Идет экономическая забастовка,—отвечаю я, выдерживая его взгляд.

— Экономическая,—ехидно передразнивает он, поднявшись с табуретки, несколько секунд кусает молча себе губы, не сводя с меня своего пронизывающего взгляда. От него сильно пахнет водкой.

— Врешь,—наконец хрипло прошипел он и ударил меня браунингом по левой скуле. Удар был короткий, но довольно сильный; от него у меня из глаз брызнули искры и я едва устоял на ногах.

— Идем,—глухо произнес он сейчас же после удара и потащил меня вон из каморки, а затем вдоль коридора.

— У меня здесь пальто и пиджак, позвольте одеться,—обратился я было к нему, но он грубо ответил:

— Там и так тепло будет...

— Расстреляет на крыльце,—мелькнуло в моих мыслях, и я, не знаю почему, но в этот момент все забыл, и все мои мысли были

сосредоточены лишь на том, в какое место он пустит мне пулю. Я боялся, что он обезобразит мне лицо. Теперь это может показаться смешным, но тогда разрешение этого вопроса мне было дороже самой жизни.

Когда мы шли по лестнице к выходу, то в одном месте, на повороте, где было полутемно, офицер вдруг сильно толкнул меня вперед, а сам задержался на ступеньке лестницы. Я быстро повернулся к нему лицом и увидел, как он было навел на меня браунинг, но сейчас же его опустил, и попрежнему крепко сжал мне предплечье.

На крыльце он снова остановился и несколько секунд что-то обдумывал. У крыльца стояла лошадь, запряженная в легкие директорские саночки. Полость была откинута.

— В главную контору,—приказал офицер кучеру и толкнул меня в направлении санок. Я поспешно сел в них. Офицер поместился рядом со мною держа наготове браунинг.

Это был сам Риман...

В главной конторе меня быстро провели коридором и втолкнули за стеклянные двери в переднюю, которая служила для впуска рабочих во время получки.

Там уже были почти все наши.

Когда меня вели по коридору, то я не мало был удивлен обилием находящихся здесь вооруженных солдат и офицеров. Здесь же бегал, суетясь, известный черносотенец и бывший урядник В. В. Чесалов, которого, как я говорил ранее, рабочие хотели было вывезти на свалку. Теперь он ожил и носился с какими-то списками. Его сопровождал переодетый в форму кучера дмитровский жандарм и помощник бухгалтера цербер-охранник А. Н. Шаронов.

Из главной конторы нас скоро перевели в школу и заперли в так называемой учительской комнате к дверям которой приставили часовых.

Здесь начались допросы, порка и издевательства длившиеся весь день.

Теснившихся возле школы рабочих разгоняли прикладами. Близко подходить не давали никому.

Картина была жуткая.

Слышался расстрел и расстрел.

Допрашивал сам Риман совместно с каким-то зверского вида кавказцем-офицером и жандармским ротмистром. Допрос был короткий:

— Имя, отчество, фамилия?—спрашивал Риман. Кавказец-офицер записывал, а жандарм вынимал из обложки синего цвета, на которой четко было напечатано «Дело», какой-то список и, видимо, проверял показания допрашиваемого.

— Комитетчик?—продолжал спрашивать Риман.

— Депутат,—неизменно раздавался ответ.

Риман как-то дьявольски-ехидно кривил губы, а жандарм сейчас же подносил к его лицу «Список» и что-то указывал в нем

пальцем. Риман кивал головой и, окинув презрительным взглядом с головы до ног стоявшего перед ним «депутата», глухо ронял:

— Можно вести!

— Марш!—приказывал конвоир «депутату», и последний изрядным тумаком в спину водворялся в «учительскую комнату».

Так прошел весь день и часть ночи.

Усталые, изнервничавшиеся и избитые мы кое как разместились на столе и на полу «учительской».

Но заснуть нам не пришлось.

Допрос закончился...

Часа в два ночи в коридор, где находилась учительская, вдруг ворвались человек пять вдребезги пьяных солдат с винтовками, намереваясь учинить над нами кровавую расправу. На наше счастье, охранявший нас часовой не растерялся и крикнул спавшего рядом в классной комнате офицера, который немедленно вызвал бывший здесь караул и арестовал ворвавшихся пьяных буянов. До утра никто уже не спал.

А утром снова начались допросы, и к обеду один из часовых по секрету сообщил нам, что некоторых из нас решили расстрелять на лугу за мостом, где бывает рынок. К вечеру другой часовой, также по секрету, сообщил что расстреляют толькодвоих,«оратора»—это руководителя Сергеева и «секретаря»,—т. е. меня, и то не здесь на фабрике, а где-то еще.

Так прошли еще сутки.

Нервы были взвинчены до крайности. Бессонница давала себя чувствовать, и я начинал галлюцинировать. Хотелось какого бы то ни было, но конца.

Наконец, сутки натретьи или четвертые нас под усиленным конвоем вывели из школы и повели на железнодорожную станцию Яхрома.

Провожать «главарей» вышла вся фабрика. Я хорошо заметил тут всю администрацию и ее клевретов: провокаторов: Чухню, Чесалова и Пятака, этого тайного директорского охранника и осведомителя, а также и весь церковный причт, собиравшийся служить благодарственный молебен об избавлении фабрики от «чертовой дюжины», т. е. нас, тринадцати человек.

Дьякон Розанов,—тот самый, сын которого сообщил мне «по секрету» о семеновцах,—откашливаясь заранее, прочищал свою здоровенную глотку, приготовляя ее для провозглашения хозяевам «многие лета».

— Прощайте, товарищи,—раздавалось из провожавшей нас толпы за передними воротами,—помните, что мы вас не забудем...

И эти голоса, сначала одинокие, а затем подхваченные многими, как-то невольно заставили забыть все унижения и издевательства, причиненные нам царскими опричниками, и казались пламенным пролетарским поцелуем в последнюю минуту нашего пребывания среди родной рабочей среды.

V. В качестве пленных.

На станции нас посадили в товарный вагон; туда же поместились четверо рослых семеновцев. Двое из них расположились на устроенных в виде скамеек досках среди нас, а двое встали у полуоткрытой двери вагона.

В эту последнюю нам хорошо было видно провожавшую нас огромную толпу рабочих, которые то тут, то там пытались проникнуть через цепь часовых и подойти к вагону, но были грубо избиваемы прикладами зверей-солдат.

Я видел, как одного подростка, выделившегося из толпы и сделавшего несколько шагов по направлению вагона, какой-то мерзавец ефрейтор со всего размаха ударил прикладом в спину, и тот с глухим стоном отлетел на несколько аршин, распластавшись затем на белом снегу.

— Вот хорошо!—Злорадно, как-то не сказал, а крикнул стоявший в нашем вагоне у двери вооруженный верзила-семеновец, и все лицо его расплылось в самодовольную улыбку.

В это время поезд тронулся.

Через несколько минут фабрика скрылась из наших глаз и на смену замелькали убогие деревни.

Поезд мчался к Москве.

Опустив головы, грустные, не глядя друг на друга, сидели бывшие члены Совета Рабочих Депутатов, думая свои невеселые думы.

Что ждет нас там в Москве? Доберемся ли до нее благополучно? Как поступит администрация с оставшимися на фабрике семьями? Приведется ли нам снова увидеться с ними?... Вот что волновало тогда каждого из нас.

А поезд мчался, нигде не останавливаясь, и в передних вагонах его громко раздавались пьяные песни и крики «ура» торжествующих победу солдат.

Тяжело и невыносимо больно было слышать эти крики опричников самодержавия и в то же время ясно сознавать, что борьба проиграна надолго.

И к горлу подступали рыдания.

На станции Икша поезд остановился.

— Сейчас кого то из вас расстреляют,—флегматично попыхивая «сигаркой», проговорил один их охранявших нас часовых.

И, как бы в подтверждение этих слов, дверь нашего вагона с шумом отодвинулась, и снаружи громко выкликнули фамилию.

— Ну, выходи, живо,— раздалось затем грубо, и я видел, как из нашего вагона промелькнула тень чьей-то сгорбившейся фигуры.

Дверь снова закрылась.

Здесь я должен сказать, что на Яхроме в «учительскую комнату» к нам был посажен какой-то неизвестный молодой человек в кепи и куртке, похожий на рабочего, но с довольно «изящными» руками.

Он нам отрекомендовался рабочим,—не помню теперь с какой-то резиновой фабрики и все время пребывания нашего в школе провел в углу под скамейкой. Вместе с нами он был посажен и в вагон. Его-то, оказывается, и взяли от нас на Икше.

Поезд продолжал стоять. Мы с замиранием сердца прислушивались к каждому звуку, ожидая выстрела, но минута проходила за минутой, а выстрела не раздавалось. Стоянка поезда казалась вечностью. Все взоры были устремлены на роковую дверь. Нервы были до того напряжены, что когда куривший «цыгарку» часовой бросил окурок на пол, то причиненный ею при этом звук показался настолько громким, что все мы невольно вздрогнули и вопросительно виновато переглянулись друг с другом.

Наконец, поезд тронулся и там, впереди нас, снова зазвучали пьяные песни солдат.

Так, без остановки от Икши, мы «благополучно» приехали в Москву на Савеловский вокзал.

Когда поезд остановился у перона, то один из находившихся с нами солдат, встав и окинув нас презрительным взглядом, неожиданно сказал, обращаясь к своему товарищу:

— Жаль, братуха, не удалось посмотреть расстрела этой сволочи... ужасно жаль...

И в голосе его слышалась неподдельная, искренняя досада.

На вокзале нас встретил сам Мин и, сделав какие-то распоряжения, тут же уехал вместе с Риманом на поджидавшем их великолепном рысаке. Мы остались окруженные со всех сторон усиленным конвоем под начальством какого-то молодого офицера. Я взглянул на лица окружающих нас солдат и был поражен их зверским выражением. Люди эти не знали пощады. Это были прекрасно вымуштрованные палачи-опричники, жаждущие только одного,—крови.

Офицер отдал какую-то команду, и мы быстро двинулись по направлению к центру Москвы.

Конвоировавшие нас солдаты были все очень высокого роста, и мы никак не могли за ними поспеть, принужденные все время бежать почти бегом. Пот с нас лил градом. Пройдя Бутырскую тюрьму я совершенно выбился из сил и начал отставать.

— Ну, ты что?—раздался сзади меня зычный оклик одного из солдат,—штыка захотел, что-ли, я сейчас подгоню в поясницу.

— Передние, уменьши шаг,—скомандовал шедший сбоку молодой офицер и сейчас же добавил, обводя всех нас своим насмешливым взглядом:

— Запарились... ну, передохните... Небось вся забастовка потом вышла....

Солдаты пошли тише.

Так мы миновали Страстной, Тверскую, прошли мимо Иверской и повернули в Кремль. Здесь нас остановили у Кремлевских казарм,

где квартировал первый гренадерский Екатеринославский полк, и через полчаса ввели по узкому коридору в какую-то комнату, где сдали двум часовым—екатеринославцам. Сами же семеновцы куда-то ушли не то ужинать, не то отдыхать от трудов праведных.

Часовые сейчас же по уходе семеновцев начали распрашивать нас, откуда мы и за что забраны и, наконец, предложили сходить в лавку и принести все, что нам нужно, обещая достать у себя на кухне кипятку.

Такое отношение екатеринославцев, не в пример семеновцам, нас не мало удивило. На сердце стало как-то легче и радостнее. А те продолжали нас подбадривать и успокаивать.

— Теперь ничего,—говорили они,—теперь живы будете. Вот там, в провинции, они могли вас того, на небеса отправить, а теперь, шалишь, здесь не позволят озорничать... Мы знаем что и как...

Скоро мы уже пили чай и закусывали принесенную из лавки одним из часовых снедью. Часовые продолжали распрашивать нас о забастовке, а больше интересовались тем, как отнеслись к этой забастовке крестьяне и не было ли с их стороны попытки к восстанию. Услыхав, что последние жертвовали нам продукты своего производства, один из часовых радостно произнес:

— Вот это хорошо! Надо всем быть вместе, сообща делать дело... Правду говоря, и нашему брату, в деревне не особенно сладко живется, со всех сторон разное воронье клюет: не Россия, а тюрьма каторжная!..

И вдруг, сжав кулак и погрозив им куда-то в пространство, он так скрипнул зубами, что даже раздалось в коридоре.

— Подожди, еще не то будет, – сказал он тихо и любовно погладил свою винтовку.

В это время возле комнаты, в которой мы находились, собралось несколько екатеринославцев, преимущественно унтер-офицеров и также вступили в разговор с нами. Но разговор этот был совершенно другой. Эти интересовались не столько забастовкой, сколько тем, не пороли ли нас семеновцы, не расстреляли ли кого-нибудь из нас и не издевались ли над нашими домашними.

Скоро они ушли, и мы напившись чаю, стали было укладываться спать, как вдруг до слуха нашего донесся какой-то неопределенный шум и громкие возгласы.

Часовые насторожились и встали по обе стороны двери. Лица их стали деловито-серьезны и как-то особенно застывшими.

Нас охватила тревога, и мы обратились к ним с вопросом, что это такое.

– Ничего, не беспокойтесь,—коротко ответил один из них. Они оба также прислушались к шуму и, казалось, также, как и мы, затаили дыхание.

— А ну-ка, Волков, лети узнай, в чем дело—произнес, обращаясь к своему товарищу успокоивавший нас часовой.

Тот быстро направился, стараясь идти на носках, чтобы шаги его не были слышны. Через минут десять он также крадущейся походкой вернулся и что-то тихо шепнул на ухо ожидавшему его товарищу. После этого они оба осмотрели затворы винтовок и опять встали по сторонам двери.

Шум и возгласы продолжались.

Это очень сильно действовало на нервы и кто-то из наших, кажется, товарищ Ясенев снова обратился к часовым с вопросом:

— Что это там делается?

— Наши из-за вас с семеновцами спорят,—последовал ответ.— Наши за вас... говорят, неправильно взяты... Ведь, вы против царя не шли, а против хозяина, а мы присягали только за царя... Там есть у нас ловкачи... докажут. За что, вправду, взяли, да еще пороли... Значит теперь что же, слова хозяину сказать нельзя... Нет уж это того... не ладно так...

В это время коридор наполнился пришедшими откуда-то с улицы семеновцами. Большинство из них были заметно выпивши. Их офицер сейчас же сменил часовых-екатеринославцев и поставил своих.

— Одевайся,—одновременно скомандовал он нам,—собирай каждый свои манатки, свертывайся, черт вас возьми!..

Мы все испуганно засуетились.

Пришедшие семеновцы разместились вдоль коридора в две шеренги до самого выхода.

Все они были с винтовками.

Офицер куда-то ушел.

Шум внутри казарм продолжался. Откуда-то из боковой арки хлынуло облако пара и затем в сторону доносившегося шума, звеня шпорами, пробежало несколько офицеров, поддерживая правой рукой ножны шашек.

Где-то что-то упало и не то разбилось, не то рассыпалось.

Так прошло с полчаса. Нас трясло, как в лихорадке. Это было вполне понятно, так как каждый из нас отлично понимал, что если екатеринославцы вздумают вмешаться, настаивая на нашем освобождении, то полупьяные звери-семеновцы сейчас же нас приколят.

Наконец, офицер возвратился и, поспешно вбежав к нам в комнату, скомандовал:

— Ну... марш за мной...—И повел нас вдоль шпалер-солдат к выходу. Там, на лестнице я увидел, как один из солдат ударил кого-то впереди меня из наших,—кажется, Зоркова,—по шее. Тот как-то сразу присел и нырнул в темноту. Я поднял воротник пальто. Сзади меня раздался еще звук глухого удара и чей-то болезненно придушенный короткий вскрик. Спускаясь с лестницы в темноте, уже на последней ступеньке, я вдруг почувствовал, как между лопаток меня сильно ударили прикладом и в тоже время я получил удар кулаком по голове. У меня захватило дыхание, и я упал.

— Ну... сволочь!—рявкнул кто-то над моим ухом и больно толкнул меня в бедро сапогом.

Как я поднялся,—не помню; пришел я в себя лишь тогда, когда нас стали рассаживать в какие-то странные кареты и через несколько минут куда-то быстро повезли.

Была глухая ночь.

Путешествию нашему, казалось, не будет конца. Куда и зачем нас везли, мы совершенно ничего не знали. Нервы были взвинчены до последней степени и страшно хотелось спать.

А колеса наших арестантских карет все громыхали и громыхали.

Наконец, они остановились и нам приказано было выходить. Дверцы раскрылись как бы сами собою, без всякого шума, и мы быстро один за другим начали выпрыгивать на волю.

Перед нами высилось огромное, незнакомое здание с высокой каменной оградой и широкими прочными железными воротами, за которыми четко вырисовывалась полосатая будка часового и блестела узкая, зловещая полоска штыка.

«Таганская тюрьма»,—прочитал я над воротами.

Они распахнулись, и громада каменных зданий поглотила нас своими извивами и коридорами.

С волей было порвано.

VI. В тюрьме

Окруженные со всех сторон семеновцами, мы миновали будку часового, вошли в какую-то не то арку, не то подземелье, тускло освещенное висевшим под сводчатым потолком огромных размеров фонарем, в котором как-то странно ютилась крохотная лампочка коптилка и, повернув вправо, по узкой лестнице втиснулись в полутемный коридор, а из него попали в большую и светлую комнату, в которой за длинным столом играли в шашки какие-то тюремщики. Вдоль стены стояли широкие скамьи, окрашенные в черный цвет. В одном углу висела икона в почерневшей металлической ризе, а неподалеку от нее на стене портрет царя. Пахло кислыми щами и махоркой.

При нашем входе сидевшие за столом тюремщики оставили игру, подошли к нашему конвою, и один из них с огромными казацкими усами какого-то огненного цвета, взял из рук старшего конвоира разносную книгу и куда-то с нею исчез.

Вошел офицер-семеновец и, приказав садиться на скамейки, также куда-то скрылся, долго позванивая шпорами.

— Ну, закуривай, шпана!—кинул нам старший конвоир по уходе офицера и стал вертеть «собачью ножку».

— Откуда это сокровище?—спросил его один из тюремщиков, садясь на угол стола и также закуривая.

— Из социал-демократического государства, с Яхромы,—ответил тот сплевывая на средину комнаты.—Хозяина не надо, царя не надо... в бога не верю... чертом хочу быть!..

А-а-а,—притворно-удивленно протянул тюремщик,—значит земля наша, фабрики наши и все что твое—мое... ловко... а курдюки им за это не пощекотали малость?.. Березовой кашкой не покормили?..

— Было дело... ремешками с пряжками чуть погладили. Небось и сейчас сидеть приятно...

— Мало... Надо бы как след, чтобы под ложечкой защемило... Ишь обетованную землю ищут, гадюки... Смотри, рожи-то какие: самые разбойничьи!...

— Ну, мы им тут спесь то сшибем!—зевая, прогов рил другой, пожилой тюремщик,—у нас живо прадедушки сниться будут... а то и на задний двор! онучи сушить...

В это время вернулся тюремщик с разносной книгой, и нас по одному начали выкликать в канцелярию. Я оказался самым последним.

— Ну, иди и ты,—сказал мне тюремщик с огненными усами и ввел меня в контору. Это была довольно обширная комната, уставленная письменными столами и конторками, за которыми сидело около двадцати писарей, исключительно мужчин довольно пожилого возраста с типичными физиономиями канцелярских чинуш времен Гоголя.

— Вон, к секретарю!—указал мне вошедший вместе со мною тюремщик на сидевшего за одним из столов посредине комнаты седого старика с голым черепом.

Тот вскинул на меня глазами и тут же начал обычный полицейский опрос, начиная, по обыкновению, с фамилии и кончая «особыми приметами».

Окончив опрос, он снова вскинул на меня свои посоловевшие, вероятно, от бессонницы, глаза и, переводя их на стоявшего рядом тюремщика, коротко буркнул:

— Веди.

Мы вышли из канцелярии и через узкую железную дверь очутились в коридоре тюрьмы. Точнее, в самой тюрьме. Прямо передо мною шла вверх во все этажи прямая железная лестница. Этажи разделялись друг от друга железными балконами-террасами. От лестницы на эти террасы шли особые площадки. Все это было устроено так, что стоявший внизу часовой мог видеть беспрепятственно каждую камеру всех этажей. Никаких полов ни в одном этаже не было.

Я с сопровождавшим меня тюремщиком долго поднимались вверх по лестнице и, наконец, повернув по одной из площадок, остановились перед массивной железной дверью, над которой отчетливо виднелся № 365.

— Здесь... коротко сказал сопровождавший.

Щелкнул ключ, и дверь безшумно открылась.

— Входи—услыхал я сзади и, шагнув вперед, очутился внутри камеры. Это была небольшая комната, аршин пяти в длину и аршина четыре в ширину. С высокого потолка ее освещала электрическая лампочка. Влево к стене была привинчена железная койка. В углу возле ее изголовья стоял небольшой больничный столик, а под него была подсунута табуретка. В правом углу была прибита полочка, на которой стояли медный кувшин с водой и такая же кружка. Повыше полки был прибит крохотный образок, а у двери с правой стороны ютилась параша. Подоконник у окна был скошен так, чтобы за него нельзя было ухватиться руками и окно находилось от пола на высоте четырех аршин. На койке—матрац, одеяло арестантского сукна и подушка.

— Ну, вот и помещение бесплатное,—криво усмехаясь произнес тюремщик.—Можно раздеваться и спать. Вот кнопка звонка... нужно—позвонить можно... В семь утра чаю дадим... ну, пока...

Дверь как-то странно дохнув, безшумно закрылась и громко хрустнул ключ в замке.

Я остался один. Вокруг сразу наступила гробовая тишина. Измученный всякими треволнениями дня, я не раздеваясь, бросился на койку и, должно быть, сразу же заснул, как убитый, и не просыпался до самого утра.

А утром меня разбудил в семь часов какой-то другой тюремщик, который отрекомендовался надзирателем Ивановым.

— Одевайся на прогулку,—мягко сказал он, входя в камеру,—идемте свежим воздухом подышать. Фамилия моя Иванов. Я—надзиратель этого крыла... ваш, так сказать, непосредственный начальник: все что нужно,—ко мне обращайтесь... идемте.

Я быстро оделся и вышел вслед за Ивановым. Он повел меня вниз по вчерашней лестнице и через какую-то совершенно другую дверь вывел на довольно широкий тюремный двор, на котором то тут, то там работали уголовные арестанты. Один из них колол дрова, другие носили куда-то ушатами воду, а третьи расчищали снег от тюремных дверей.

Выйдя из корпуса тюрьмы, мы с Ивановым обогнули какое-то большое, мрачное, каменное здание и, подойдя к деревянному забору, в котором имелась калитка, остановились. Иванов отпер калитку, и мы вошли с ним в небольшой дворик, видимо недавно сооруженный, так как доски, из которых был сделан забор, были еще совершенно новые. Длиной этот дворик был шагов двадцать, а шириной шагов десять при высоте аршина в четыре. Зданий тюрьмы из него видно не было.

— Ну, вот здесь и погуляйте,—сказал Иванов, запирая за собой калитку и прислонясь к ней спиною.—Пятнадцать минут полагается гулять....

Я зашагал от него к противоположной стене по расчищенной от снега дорожке, а от стены снова повернул к Иванову. Так я сделал конца три, с наслаждением вдыхая в себя свежий утренний воздух.

— Ну, довольно... будет,—неожиданно проговорил Иванов,— идемте обратно в свою келью. Сейчас чай готов будет.

И мы снова пошли с ним через весь двор к зданию тюрьмы.

Придя в камеру, я заметил, что постель и все бывшие у меня вещи кем-то в мое отсутствие перерыты. Я сразу догадался, что тут производился обыск. Стоявший на столе привезенный мною небольшой жестяной чайник исчез. Я сел на кровать и решил терпеливо ожидать, что будет дальше.

Через полчаса окошко в двери камеры бесшумно отворилось и в нем появился исчезнувший в мое отсутствие чайник. В нем принесли кипяток. Я заварил щепотку имевшегося у меня чаю и с наслаждением принялся за чаепитие, махнув, как говорится, на все рукою.

В камере было тихо, как в гробу, но со стороны коридора отчетливо доносился каждый звук. Так, например, я очень хорошо различал шаги часового, который подходил к моей камере. Подойдя, он громко стукнул о железные плиты площадки прикладом ружья и на секунду открыл глазок «волчка». При этом получился звук очень схожий с щелканием фотографического аппарата при съемке. Затем шаги застучали дальше и вскоре смолкли где-то, должно быть, в конце коридора или же при повороте в коридор другого крыла.

Где-то громко звенели ключами.

Из-под потолка бельмом глядело мерзлое с решеткою окно, едва пропуская в камеру какой-то серый подвальный свет.

Напившись чаю, я лег, не раздеваясь, на койку и в воображении сейчас же замелькали одна за другой картины только что пережитых событий. Все они были ярки и красочны. Первый акт великой русской революции, хорошо ли, но был разыгран. Пробная мобилизация пролетарских сил—произведена. Нужно готовиться к новому выступлению!...

Невольно стал думать об остальных товарищах. Где они коротают это время, я совершенно не знал: в одном ли этаже со мною или же разбросаны по всем корпусам тюрьмы. Что-то думает каждый из них?..

В коридоре снова послышались шаги часового с характерным пристукиванием приклада, а вместе с этими шагами слышались и другие торопливые, легкие. Щелкнуло окошко двери, и в его квадрате вырисовывалось красивое интеллигентное лицо незнакомого мне молодого мужчины.

— Товарищ, на одну минутку,—громко проговорил он, обращаясь ко мне, и когда я, вскочив с койки, недоуменно остановился перед ним, продолжал:

— Я—Левицкий,—староста заключенных этого крыла... Мы здесь харчимся все на свои средства... Думаю, и вы от арестантского пайка откажетесь, не так ли?...

— Да... но...—замялся было я, но он перебил меня.

— Никаких но!... Скажите, пожалуйста, вашу фамилию и есть ли у вас деньги. Размер суммы не играет роли... И так, ваша фамилия?...

Я сказал.

Он записал в какую-то тетрадь и, когда услыхал, что денег у меня только пятнадцать рублей, то спросил, могу ли я ожидать еще. Я ответил, что таковые могут быть высланы из редакции журналов «Путеводный огонек» и «Светлячек», а также из редакции журнала «Искры», где я помещал свои рассказы и стихотворения.

— Отлично!—воскликнул Александр Павлович и на прощанье сообщил, что в этом крыле находятся Тесленко, Блеклов, Стааль и Ильин, которому предъявлена 101 статья, грозящая смертной казнью. Кроме того, сообщил также о порядке получения книг из библиотеки.

— Библиотека богатая,—предупредил он, и мы расстались.

В двенадцать часов принесли обед.

Какой-то цыганского типа уголовный в открытое Ивановым окошко двери просунул миску щей и тарелку гречневой каши, на которой лежал довольно толстый ломоть черного хлеба.

— Сегодня общий, арестантский,—сообщил, наклоняясь к окну Иванов,—а с завтрашнего дня будет артельный...

И он захлопнул дверку.

В четыре часа снова принесли чай, в семь часов ужин, состоявший из какой-то баланды, в девять поверка камер начальником тюрьмы, сопровождавшаяся громом замков и звоном совершенно никому не нужных шпор...

Потом наступило время перестукиваний.

Этот «язык тюрьмы» не смолкал до утра...

Так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем потянулось время заключения и, казалось, что ему никогда не будет конца.

Грустно и однообразно завывала за бельмом окна вьюга, словно плача о нас, о живых человеческих существах, запертых в тесных тюремных казематах. И слушая ее, хотелось самому горько плакать, но только не о себе, а о той желанной и дорогой воле, на борьбу за которую мы вышли и, не победив своих угнетателей в неравном бою, стали их пленниками.

И крик, мучительный крик ненависти и злобы просился наружу из молодой груди.

Но крепки были стены тюрьмы.

Плотны двери казематов.

Никто не услыхал бы этого крика.

Крика мертвеца!..

VII. На воле

Из Москвы на Яхрому я ехал по железной дороге, и как-то не верилось, что—это явь, а не сон. Еще сегодня ночью я был политический заключенный, а сегодня утром я «свободный гражданин» и могу ехать куда вздумаю и без конвоя! Сказка да и только!..

И случилось это мое превращение как-то чудно.

Часа в два ночи, когда я, потеряв всякую надежду на скорое освобождение, окончив перестукивание с номером сто восемдесять вторым, погрузился в сон праведника и во сне начал было с Н. В. Тесленко, по его наущению, изготовлять бомбы не то для Римана, не то для Мина, как в коридоре зазвенели ключи и кто-то начал отпирать мою камеру. Я вскочил и сел на койке. Смотрю, входит Иванов. Лицо, как перед пасхальной заутреней, торжественно-загадочное и глаза куда-то спрятаны.

— Одевайтесь и пойдемте,—сказал он, остановясь у двери.

— Куда?—удивился я.

— Не знаю, но с вещами,—ответил он.

Я молча торопливо начал собираться и через пять минут уже спускался с ним по лестнице вниз коридора. В голове роились самые разнообразные предположения вплоть до ссылки.

Миновав ряд каких-то закоулков, подъемов и спусков, мы наконец вошли в ту самую контору, в которой я был при водворении в тюрьму. К моему немалому удивлению, несмотря на такое позднее время, контора работала в полном составе.

Я, как давнишний знакомый, направился прямо к тому столу, над которым сиял, как садовый шар, голый череп секретаря.

— Присядьте,—встретил он меня, указывая на табурет возле стола.

Я сел.

Он продолжал что-то писать в книге. Так прошли с добрых полчаса. Никто на меня не обращал ни малейшего внимания, должно быть наш брат приелся, намозолил, так сказать, глаза. От нечего делать я было стал рассматривать присутствующую братию, но в это время секретарь неожиданно ожил и спросил:

— Жалоб никаких у вас нет?...

Я не то не понял, не то опешил....

— Я спрашиваю,—повторил, возвышая голос секретарь—жалоб у вас ни на кого нет?...

— На кого?—в свою очередь спросил я, не понимая вопроса.

— Ну, на надзирателя... еще на кого-нибудь...

— О, нет, нет,—перебил я его.

— Тогда распишитесь.—И он пододвинул мне книгу, указывая концом ручки, где я должен был расписаться.

Я расписался, не посмотрев даже под чем.

— Ну, теперь вы свободны. Можете идти домой—сказал он и указал мне рукой на дверь, противоположную той, в которую я вошел.

Тут уж я действительно опешил, а затем запросил было пощады:

— Позвольте, сейчас два часа ночи... В Москве у меня никого нет знакомых, чтобы ночевать... Разрешите до утра остаться...—сам собою забормотал мой язык, но секретарь перебил меня и безапелляционно заявил:

— Не могу и не просите... Сказано: немедленно освободить, а я привык быть точным...

— Проводите за ворота,—обратился он к стоявшему неподалеку Иванову.

Тот кивком головы пригласил меня следовать за собою.

За воротами он подал мне на прощанье руку и как-то загадочно сказал:

— Ну... пока... Не забывайте нас...

И вот я еду по железной дороге.

Народу в вагоне набито как сельдей в бочке. Тут и молочницы Икшанского района, и красноносые, с пудовыми зашеинами хозяйчики-сапожники из Кимр, и неповоротливые, как гиппопотамы дмитровские лягушатники-купцы с одинаковыми у всех носами луковицей и с полуфунтом деревянного масла в волосах. Были тут и рабочие с землянистыми лицами и с бородами, расчесываемыми только в драке, горе-крестьяне.

Все шумело, спорило и горячилось.

Прислушиваясь к разговорам, мне хотелось услыхать что-нибудь отрадное о том, от чего я был отрезан высокой стеной Таганской тюрьмы. Я жадно ловил каждое слово, но кроме обыденщины, торговых интересов и мелочных дрязг, я не уловил ничего.

И сердцу было невыносимо больно.

— Неужели,—думал я,—за такой короткий срок все уже успело забыться! Неужели груды рабочих тел, зверски расстрелянных и изрубленных, ничего не значат, для этой битком набитой в вагоне публики? Хотя бы одно воспоминание, хотя бы одно слово о только что минувшей борьбе пролетариата.

Мелькала станция за станцией, полустанок за полустанком. Одни пассажиры исчезали, оставляя до отказа накуренный вагон, другие появлялись, сменяя их, с той суетливой бестолочью, оханьем и звериной грызней за лучшее место.

И ничто не напоминало о минувшей буре.

Впрочем при остановке на Влахернской платформе, этом уголке монастырских святош, любопытство мое было отчасти удовлетворено:

— Чего толкаешься, чертов забастовщик!—Благим матом заорал кто-то, возясь на площадке вагона...

Так я доехал до самой Яхромы.

Смотрю, у самой станции ожидает меня лошадь моего шурина, возле которой стоял он сам и приехавшая с ним моя жена. Это меня не мало удивило. Я никак не ожидал, чтобы приезд мой кому нибудь из них был известен. Но это все вскоре очень просто объяснилось. Оказалось, что накануне жена моя была в Москве у губернатора, и тот ей сообщил, что сегодня меня выпустят.

Я было посоветовал ехать им одним, а сам хотел пройти двором фабрики и посмотреть, что там нового.

— Тебя двором не пустят,—неожиданно предупредила меня жена.

— Почему?—удивился я.

— Директором сделано распоряжение, чтобы некоторых из вас, сидевших в тюрьме, во двор фабрики не пускать.

— Вот в чем торжество победителей...—с горечью подумал я и медленно поплелся на тощей лошаденке мимо фабрики.

Весна была в полном разгаре, и после сырого каземата тюрьмы я с наслаждением вдыхал в себя свежий и ароматичный воздух поля. Навстречу попадались знакомые и после обычного приветственного поклона, останавливались и долго смотрели в след каким то недоуменно-соболезнующим взглядом. От этого взгляда делалось как-то неловко: словно, какая-то вина висела надо мною, про которую все знали, или же за это время я успел превратиться в какую-то диковину и теперь все глядели на меня с удивлением...

А в стороне, недалеко, слышался знакомый и родной сердцу шум фабрики.

На следующий день я решил все же проникнуть за ворота фабрики и попытать счастье встречи с Бордманом. Я уже знал, что сам старик Бордман отстранен от директорства, а на его месте теперь подвизается его сын Александр Бордман.

Встав пораньше, я отправился.

Подходя к так называемым «красным воротам», я прибавил шагу, как бы торопясь по делу, надеясь, что сторож или не посмеет остановить меня или же хватится слишком поздно, когда я буду уж далеко.

Ни то, ни другое не удалось.

Лишь только я сравнялся с будкой сторожа, как он с неподдельно испуганным выражением лица, с широко вытаращенными глазами, бросился ко мне навстречу и каким-то глухим, полным ужаса, голосом завопил:

— Куда?... Нельзя. Свисток подам. Не велено!..

Я посмотрел на него. Лицо знакомое. Помню, бывал на собраниях, хотя редко, и все прятал свою физиономию в воротник.

— Товарищ...

Я те дам товарищ... Затюремщик. Пшел!..

Было стыдно, больно и обидно...

Отойдя от ворот шагов пятьдесят, я остановился и решил попытать удачу в других воротах фабрики.

Для этого я обошел фабрику вдоль ее забора по дороге на деревню Суровцово и в открытую калитку ворот вошел во двор. Сторожа почему-то не было в будке, и я поспешно зашагал мимо директорского сада, усыпанного цветами, к прядильному корпусу, надеясь проникнуть туда и повидать нового директора, выдвинутого на этот пост торжествовавшей победу буржуазией.

Всем было ясно, что это выдвижение молодого Бордмана есть не что иное, как месть владельцев фабрики рабочим за проигранную забастовку. Сорок лет властвовал старик Бордман на фабрике и теперь, как будто на такой же срок они закабалили рабочих и молодому Бордману.

По дороге я увидел порядочную кучку рабочих. Они заметили меня и, сняв фуражки, поклонились. От этого поклона я чуть не расплакался, как ребенок. Все во мне сразу вспыхнуло какой-то неведомой радостью, и ясный безоблачный день как будто стал еще яснее...

— Вот они, свои-то... Вот кто не забыл. Значит не все еще отвернулись... Не все еще проиграно...

В эту минуту я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире и готов был и побить физиономию Бордману, и, если нужно, то снова идти в одиночку Таганской тюрьмы.

Словно к родным братьям подошел я к кучке рабочих, пожимая каждую дорогую для меня руку, и мне казалось, что в доносившемся до меня шуме фабричных машин я слышу вновь возрождающиеся революционные песни, зовущие нас всех на новую, беспощадную борьбу с буржуазной падалью.

Через пять минут я уже бодро и смело подходил к дверям прядильного корпуса, где в конторе второго этажа виднелась сытая и холеная рожа царя фабрики Александра Бордмана.

Я смело отворил дверь в корпус.

Сидевший направо от двери, под лестницей сторож, видимо, не был предупрежден о моем недопущении и не сделал никакой попытки к моему задержанию. Я быстро взбежал по лестнице на второй этаж и смело вошел в контору.

При моем появлении все конторщики сначала повернули было в мою сторону головы, но затем как-то сразу притихли и ниже наклонились над своими счетами и книгами.

Я было прямо направился в кабинет директора, но тут неожиданно откуда-то появился его ревнивый и верный телохранитель Черняев или «Пятак», как его звали рабочие и, грубо схватив меня за рукав куртки, потащил вон из конторы.

— Тебе здесь не место... Приказано не пускать. Какая это дрянь просмотрела... и ты... шляется тоже... Ядовито шипел он, победоносно окидывая взглядом конторщиков.

И столько было в этом шипеньи ненависти и черносотенной злобы, столько торжества и дьявольской радости от того, что он

теперь может причинить мне нравственную боль, что я невольно улыбнулся и, чтобы охладить эту его радость, нарочно громко бросил:

— А ты рад?.. Смотри надолго ли эта радость тебе...

Он сразу притих и, как мне показалось, опешил.

Я подчинился силе и, не сопротивляясь, вышел вон.

А на следующий день за мной прислал сам Бордман.

— Вас требуют на дом директор,—сообщил мне бордманский холуй, присланный в Водянную казарму, где я ютился у жены.

— Когда?—спросил я.

— Сию минуту,—ответил он и, нагнувшись ко мне, добавил:

— Сердит,—страсть, как чорт... Все холодную воду пьет, да из угла в угол ходит по кабинету.

Я отправился...

На этот раз сторож у ворот не задержал.

Вхожу в переднюю властелина. Долго ждать не заставил: вышел почти тут же, чисто выбритый и надушенный.

— Здравствуй, Соболев,—коротко произнес он и не то от волнения, не то от злобы, сделался красным, как рак.

— Здравствуйте,—ответил я умышленно не называя его по имени и отчеству.

— Слушай, брат,—продолжал он скороговоркой,—ты о фабрике забудь. Места тебе здесь не будет, и от жены из каморки изволь убраться. Вообще, повторяю, потрудись отсюда по добру, по здорову исчезнуть и советую со мной больше не встречаться.

— Но ведь я здесь родился,—смело возразил я, нарочно быстро опуская руку в карман пиджака, хотя там, кроме портсигара, ничего не было.

Это подействовало. Он как-то сразу заметно попятился, не спуская глаз с моей руки и уже более мягко ответил:

— Ну, что ж, что родился... Не фабрику же арендовал этим... Ну, да, это потом, а пока изволь сделать так, как я тебе сказал. Это мое тебе последнее слово.

— Мне итти некуда,—возвышая голос произнес я.—Дальше фабрики не уйду,—запомните это. А помещение, что ж могу освободить, если оно вам уж очень в данный момент понадобилось, но только когда найду квартиру.

Несколько секунд мы оба молчали.

— Ну, так вот,—наконец, первым произнес он, рассеянно проводя правой рукой по совершенно голой голове, и как-то странно—боком не переставая коситься на мой карман, в котором я продолжал держать руку, направился в комнаты.

Я тоже пошел вон.

За дверью подслушивал холуй.

Так произошла первая встреча после тюрьмы с новым директором фабрики Александром Бордманом, этим вторым кровососом рабочих.

Такая встреча ничего хорошего не предвещала.

VIII. За бортом

Дня два спустя после свидания с Бордманом я случайно встретился с фабричным полицейским надзирателем Ландышевым. Встретились мы с ним в хозяйской лавке, куда я зашел купить папирос. Народу почти не было и он, отведя меня в сторону от прилавка, тихо спросил:

— У Бордмана были?

— Был, а что?—в свою очередь спросил я его.

— Да видите ли, сегодня утром он вызывал меня и просил принять меры к вашему выселению... Я думаю, что вы против рожна не пойдете и не позволите дожидаться насилия...

В голосе его мне послышалась просьба.

— Завтра еду. Даю вам слово,—сказал я, —пусть не беспокоится его холуйское благородие.

— Ну, вот и отлично!—Обрадовался Ландышев,—значит карта его бита.

И мы оба засмеялись...

Перебравшись на квартиру к своим родственникам, в деревню Починки, я занялся литературным трудом, будучи ранее сотрудником многих периодических изданий. Такой работы было очень много и я начал помещать свои рассказы и стихотворения у Сытина в журналах «Друг Детей», «Искры» и у А. А. Федорова-Давыдова в «Путеводном огоньке» и «Светлячке».

Вскоре в журнале «Искры» я стал постоянным сотрудником и очень близко сошелся с ее редактором Ф. И. Благовым и секретарем М. М. Бойовичем. Это были простые, хорошие люди. Сколько перебрал я у них авансов, одному лишь аллаху известно.

И все-таки я их однажды подвел.

Дело в том, что как Федор Иванович, так и Милан Михайлович настолько мне доверяли, что все, что я им приносил для печати, они никогда не проверяли, а прямо отсылали в набор. И вот, однажды я принес два революционных стихотворения, не прошедших у В. А. Поссе в «Журнале для всех», где я также печатался, и сдал, надеясь, что цензор как нибудь проморгает. Это были «Я в братство верую» и «Расстрел детей».

Но цензор не проморгал, и журнал был на некоторое время закрыт, а меня оба друга «пилили» за это недели две и не давали ни гроша аванса.

Как я уже говорил, этот литературный труд вполне меня обеспечивал, и я мог не особенно торопиться гнуть спину перед всесильным Бордманом.

Занимаясь обыкновенно по ночам, я целые дни был свободен и хотя не часто, но все же имел возможность бывать в рабочих казармах и отводить, как говорится душу в долгих беседах с рабочими. Но это было не безопасно, конечно, по отношению не

ко мне, так как мне Бордман сделать ничего не мог, а к рабочим, которых он мог согнуть в дугу; поэтому приходилось принимать все меры предосторожности.

К этому времени весь черносотенный элемент с каждым днем наглел, смелел, усиленно развивал свою организацию, а вместе с этим страшно распространились повсюду шпионаж и подлый сыщический донос и предательство.

Как-то раз ко мне в Починки ночью пришел совершенно незнакомый мне студент Технического училища. Ко мне его направил бежавший из ссылки и скрывавшийся в Москве учитель В. В. Смирнов. За подкладкой пиджака этого студента было около ста прокламаций, которые он нес для распространения на соседнюю, так называемую, Луговую фабрику. Он просил устроить его у меня на ночлег, уверяя, что он проник ко мне совершенно незамеченным. Рано утром я проводил его на деревню Елизаветино, так как он старался избежать города Дмитрова, где боялся засыпаться.

Прощаясь со мной за деревней задолго до рассвета, он сообщил, что он член РСДРП, и на записке написал свою конспиративную кличку на предмет, что если ко мне явится кто либо с запиской, подписанной этим именем, то таковому лицу надо будет всемерно способствовать.

Расставшись с ним, я со всеми предосторожностями вернулся домой, будучи вполне уверен в том, что меня и студента не видал никто. Через два дня после этого ко мне приехали Л. Н. Ясенев, сидевший со мной в Таганской тюрьме и бежавший из ссылки В. В. Смирнов. Вместе с ними приехал и И. В. Тугаринов. Этот последний, пользовался на фабрике довольно большой популярностью. До забастовки, он совместно с В. И. Рыкуновым, М. Л. Рябцевым и Л. Н. Ясеневым организовал небольшой кружок самообразования. Главной целью этого кружка было «поднятие умственного уровня как служащих, так и рабочих», а на самом деле изучалась литература шестидесятых годов. Кружок имел небольшие средства и свою собственную библиотеку, которую хранил тайно от властей и администрации. Во время забастовки кружок этот распался, и приезд Ивана Васильевича был, так сказать, предвестником его возрождения, но уже с новой программой.

Мы ушли в лес и вдоволь наговорившись там без свидетелей, разошлись уже перед рассветом.

А на следующий день Бордман прислал за мной своего верного сторожа, безрукого Илью.

Встреча снова была не из приятных.

— Ты опять, Соболев, группируешь вокруг себя кружок,— гневно встретил он меня в коридоре своего дома.

— Какой кружок?—удивился я.

— Как какой? Я все знаю,—разгорячился он: третьего дня у тебя студент ночевал какой-то, а вчера целая тройка во главе с «Господи-помилуй» была.

— С каким «Господи-помилуй», недоумевал я.

— Ну, с Ясеневым,—презрительно пояснил он и, немного помолчав, добавил:

— Он регент и его дело на клиросе командовать, а не политикой заниматься... Опять в Таганку захотелось.

Вся кровь бросилась мне в голову.

— Теперь она нам не страшна, Александр Филиппович, и ею нас пугать нечего,—отрезал я ему и, быстро повернувшись, вышел вон.

— Допрыгаетесь,—услыхал я уже за дверью.

Вот как образцово было поставлено черной сотней и клевретами Бордмана дело слежки и сыска на фабрике. Из всех уголков и щелей выглядывали, прислушивались и следили разные паразиты-наушники и прихвостни и, словно по радио, немедленно каждый пустяк сообщали своему любимому господину.

Но это не помогало, и как ни бдительно следила администрация за «чертовой дюжиной», как она окрестила таганцев, но маевки и летучие собрания, то в Семешенском овраге, то за Ковшином на речке Каменке, а то и среди кочек и кустов так называемых Ляминских лугов происходили чуть не каждую неделю при довольно многочисленных участниках-рабочих и работниц.

Не дремали со своей стороны и разные Чухни, Пятаки, Полепешевы и другие паразиты рабочего класса. Обнаглевшие до чрезмерности, они старались всеми силами и средствами вытравить из рабочего сознания всякую мысль о свободе и лучшей доле. Союз создавался за союзом и дошло до того, что в эти союзы черносотенного мракобесия начали вербовать насильственно, угрожая в противном случае всевозможными репрессиями.

Шпионами и доносчиками, а также и ярыми пропагандистами черносотенных идей кишмя-кишели все рабочие казармы, бараки и поселки.

Помню у нас, на Ляминских лугах, состоялась небольшая сходка, человек из десяти. В виду важных организационных вопросов были приняты все меры предосторожности: к месту сходки шли разными дорогами, а у Немковских сараев, до небольшой котловины, между кочками ползли ползком, и вся сходка велась в полулежачем положении.

На следующий день у Бирюкова в чайной черносотенец-провокатор Чухня, сидя вместе с истинно-русским кулаком-крестьянином Егором Шишановым и святошей директорским садовником Геннадием, будучи хорошо осведомлен о сходке, с пеной у рта, при мне исступленно кричал, потрясая над головой «Русским Знаменем»:

— Всю эту сволочь надо сажать в тюрьмы, вырезывать как баранов. Вон с фабрики гнать жидовских агентов-предателей. Поддержим, братцы, веру православную, постоим за батюшку-царя...

Противно было слушать, но невольно становилось от таких призывов и жутко...

Реакция с ее темными силами гуляла во всю, наводя на всех ужас и разгромляя одну организацию за другой. И, казалось, что этому бесшабашному разгулу никогда не будет конца.

Страшное это было время...

Раздававшиеся вначале в Государственной Думе громкие и гневные голоса истинных друзей рабочего класса, заглушались злобным ревом прихвостней буржуазии. День ото дня они становились все слабее и вместе с ними начала в народе пропадать вера как в Думу, так и в лучшую долю.

Постепенно снова все стало уходить в подполье и там, в мраке и плесени, кто-то неведомый, но близкий и родной, с великой осторожностью, рискуя каждую минуту попасть в застенок царских палачей, начал по-иному творить свое великое, свое святое дело освобождения рабочего класса от владычества пропоиц царей и от гнета утопавшего в роскоши и бездельи всесильного капитала.

Но это было где-то там, в центре, в столице. А здесь в провинции, не имея буквально ни какой связи с революционными партиями, начинался распад, отсталость и покорное подчинение власти кровососа-капиталиста.

Смолкли так быстро разученные революционные песни и их снова сменила «Дубинушка», да безалаберные частушки.

Правда, изредка рабочие будоражили спокойствие администрации и жандармерии, но это были скорее чудачества, а не серьезные и организованные выступления какого-либо протеста.

Так, например, на фабрике в отделении приемки сурового товара, где находился портрет царя, кто-то искусно выколол ему глаза. Администрация и жандармы всполошились. Началось расследование, допросы, угрозы чуть ли не расчетом всего приемочного отделения, но дело кончилось ничем.

Виновный обнаружен не был.

Эта игра длилась месяца три.

Другой случай произошел с самим директором Бордманом. Ему однажды в корпусе, в его специальной раздевальной, где дежурила постоянная «раздевалка», кто-то в карман пальто ухитрился незаметно положить первомайскую прокламацию с припиской печатными буквами: «просим, как сочувствующего, распространить».

Этой прокламацией он чуть не в кровь растыкал физиономию сторожихи-раздевалки, грозя немедленно уволить, но ограничился лишь тем, что прозвал ее «лиценеркой», что означало революционерка.

Здесь до расследования не дошло.

IX. Среди своих

Как-то раз осенью, в 1906 году, директор Бордман приехал на охоту в ту местность фабрично-хозяйственных угодий, где находился лесным сторожем мой отец. После охоты, в сторожке, по обыкновению, началась попойка. Во время попойки старушка мать моя, прислуживая у стола, обратилась к Бордману с просьбой дать мне какую нибудь должность на фабрике.

Полупьяный Бордман ответил:

— Нет, бабушка Авдотья, я твоего сына боюсь, он заразился скверными мыслями и взглядами.

Мать не поняла ученого технолога и, когда я пришел навестить ее с отцом, то она за чаем сначала долго всматривалась мне в лицо, а потом наконец сокрушенно спросила:

— Ты, что, Васенька, в тюрьме-то заразился чем, что ли?

— Как заразился? удивленно спросил я.

— Да, директор тут, сынок, был, ну я его стала просить за тебя, чтобы на фабрику взял, а он и говорит: у него, бабушка, зараза во взгляде и в мыслях.

Я от души расхохотался на слова старушки-матери и постарался разъяснить ей эту заразу.

Не знаю, поняла она меня или нет, но через две или три недели я был потребован через свою жену, продолжавшую работать вагерщицей, в аппартаменты Бордмана.

По дороге думал:

«Опять какая-нибудь каверза».

В коридоре между кухней и комнатами «самого» ждал очень долго. Откуда-то сверху, из второго этажа, доносился громкий и жизнерадостный женский смех и звуки рояля. Где-то с визгом лаяла комнатная собака.

От нечего делать в полуоткрытую дверь в кухню смотрю на приготовление кухаркой-поварихой обеда «господам». Более чем в десяти кастрюлях парилось, варилось и жарилось всевозможное кушанье. Все кипело, пенилось и капризно бурлило. И невольно возникал вопрос: неужели все это сожрут? А вместе с этим представлялись сытые рожи «господ» и рядом с ними откуда-то мерещились бледные, испитые и больные лица рабочих.

Наконец, дверь аппартаментов бесшумно открылась и на пороге ее появился весь сияющий довольством сам Бордман.

— Здравствуй, Соболев,—произнес он ласково и, к моему удивлению, протянул мне руку.

Это меня так озадачило, что я первое время ничего не мог сообразить. Как вложил свою руку в руку громовержца и сейчас не помню.

Пришел в себя только тогда, когда очутился на стуле в какой-то роскошно обставленной комнате, обращенной окнами в огромный с симметрично расположенными дорожками и клумбами сад.

Бордман сел напротив меня за письменный стол и, по привычке проводя рукой по лысине, спросил:

— Что это твое стихотворение в детском журнале «Звездочка»?

— Мое,—ответил я недоумевая к чему это он меня спрашивает.

— Хорошее стихотворение,—продолжал он серьезно.—Я случайно узнал от сына Васи, что ты пишешь... Я и рассказы твои читал в отдельных брошюрках: «Отсталые» и другие... Тоже понравились.,.

Он потупился и умолк, как бы что-то обдумывая.

Я ждал, ничего не понимая, к чему он клонит.

Так прошло несколько секунд.

Наконец, снова проводя рукой по лысине, он, обращаясь ко мне, сказал:

— Вот что... тут старики за тебя просили. Я их очень люблю и поэтому решил принять тебя на фабрику. Есть место заведующего клубом и библиотекой. Справишься?

— Конечно,—ответил я.

— Ну, так вот: прими завтра клуб и, главное, приведи в порядок библиотеку. Там духовно-нравственный отдел весь растащили и не сдают, а он был замечательно хорош. Его пожертвовал Лямин.

Я чуть было не улыбнулся, но сдержал себя и обещал принять все меры к розыску разбросанных, умных книг, тут же мысленно твердо решив привести этот отдел в полную негодность, так как, повидимому, не было известно, что сохранилось и что растащено во время забастовки.

Предполагая, что моя миссия окончена, я было поднялся со стула, собираясь уходить, но Бордман сделал рукой знак, означавший остаться.

Я снова сел на стул, а Бордман, откинулся на спинку кресла и, заложив обе руки за голову, вдруг спросил:

— Скажи, Соболев, откровенно, как говорится, положа руку на сердце: правда, что меня во время забастовки рабочие решили изрубить и в бочке вывести на свалку? За этим они искали меня в моем доме, когда пришли всей оравой?..

— Правда,—хотели, Александр Филиппович,—откровенно ответил я.—И если бы не Совет Рабочих Депутатов и не боевая дружина, то это, пожалуй, и было бы.

— Фу-у!.. Черт знает, что такое,—полушопотом ужаса произнес он, и я был от души доволен тем, что за все страдания и унижения я отомстил ему, хотя он этого и не понял. Я радовался заранее, что этот ученый технолог к бессонным ночам забастовки прибавит еще одну, подаренную ему моим сообщением.

Он пристально посмотрел мне в глаза, словно стараясь прочесть в них неправду сказанного, но я твердо выдержал его взгляд и так же твердо повторил:

— Правда, Александр Филиппович...

— А кто же это больше?—хрипло вырвалось у него.

— Тут не поймешь кто,—уклончиво ответил я,—может быть и провокация с целью усиления репрессий при неизбежной реакции.

— Да, да, да,—закивал он головой и сейчас же добавил:

— А так вот, из разговора с рабочими, видно, что они очень довольны окончанием забастовки, очень...

— Черносотенцы!—хотелось крикнуть ему в лицо,—холуи твои и соглядатаи!..

Но пришлось умолчать, чтобы навсегда не потерять фабрику.

Я поклонился и поспешно вышел.

На следующий день я уже был заведующим клубом.

Поступлением на это место я был очень доволен. Во-первых, это давало мне возможность свободно разгуливать по всей фабрике, а следовательно, видеть своих и быть в курсе настроений рабочих. Во-вторых, в значительной степени должна была ослабнуть подозрительность и слежка смилостивившейся ко мне администрации. И, в третьих, представлялось возможность если и не превратить клуб служащих в клуб рабочих, то дать, по крайней мере, максимум полезных развлечений в виде спектаклей и семейных вечеров.

А пока шла жизнь обычным порядком. Так же, как и раньше гудели фабричные гудки, призывая рабочих зарабатывать владельцам их огромные барыши для балов и прогулок по заграницам. Попрежнему низко кланялись администрации, начиная с самого Бордмана и кончая его краснорожим кучером. По старой привычке примасливали свои головы полфунтом деревянного или «богова» маслица и, послушные колокольному звону, шли в «кобедню» старички со старушками и также, как и прежде, по старой традиции, верные дедовским заветам, справляли разные «николы», «успенья», «веденья» и обжорную «широкую масляницу», где село напивалось.

Вообще жизнь шла своим порядком.

И нарушился этот порядок только двумя случаями, которые глубоко врезались в мою память и дали яркую картину того, как буржуазия и полицейская тварь ни одной минуты не знали покоя, боясь новых вспышек рабочего недовольства, так еще недавно потрясшего начавшие приходить в негодность устои самодержавного строя и причинивших неисчислимые убытки ненавистному капиталу.

Первый случай был в клубе.

Как-то в средине лета, ко мне приехал знакомый мне артист Арутюнов для постановки на фабрике спектакля. Придя вместе со мной в клуб и увидев хороший рояль, он сел к нему и, зная меня, как революционера, но зная, что на верху во втором этаже клуба живет полицейский надзиратель, смеясь, тихо сыграл Марсельезу и что то еще из Шопена. Смотрим, через минут десять или пятнадцать под окнами замелькали шинели бегущих полицейских, а в библиотечной зазвонил с треском телефон. Подхожу и спрашиваю, что нужно.

— Что у вас за собрание такое в клубе?—раздается в трубку телефона и слышится тяжелое прерывистое дыхание говорившего, словно он только что с кем-нибудь боролся.

— Никакого собрания нет,—отвечаю я,—что вам приснилось что-ли или померещилось!..

— С вами говорит полицейский надзиратель,—продолжает раздаваться в трубке:—из клуба прошу никуда не уходить, так как у входа раставлена полиция с большими полномочиями. Сейчас приду и узнаю, в чем дело.

Слышу, трубку поспешно повесили.

Подбегаю к Арутюнову и быстро спрашиваю:

— Револьвер есть?

— Есть,—отвечает.

— Давай.

Он быстро опускает руку в заднюю часть брюк и через секунду передает мне браунинг.

Я его мометально прячу под библиотечный шкаф с книгами, и оба садимся в зале на диван.

Вкратце передаю, в чем дело.

Арутюнов поспешно вынимает из грудного кармана пиджака записную книжку и, отыскав какую-то страницу, вырывает ее и рвет.

— На, брось в печку—говорит он спокойно.

Я сейчас же исполняю его просьбу.

Слышим, в парадном ходе хлопнула дверь и раздался звон шпор надзирателя, а затем настеж распахивается дверь в залу, и он появляется в сопровождении человек пяти полицейских.

Мы с Арутюновым держим себя спокойно. Последний нарочно рассказывает мне какой-то смешной случай из жизни артистов, начав его почти с конца.

Я слушаю и громко хохочу, но не от рассказа Арутюнова, а от той напускной важности надзирателя, с которой он появился в дверях танцовального зала. Он прямо направился к нам.

— Ну, что у вас тут такое? Где остальные?

Лицо серьезное, деловое.

Мы с Арутюновым в недоумении смотрим то друг на друга, то на надзирателя.

— У вас что, собрание?—продолжает он.

— Ничего подобного,—отвечаю я, вставая,—нас здесь только двое: я и вот артист Арутюнов.

Надзиратель как-то особенно шмыгнул носом, точно ловя враждебные запахи, и затем важно, со всей свитой начинает шествовать по комнатам. Заглянул в уборную, под покрытый полотном биллиард и даже кинул глазами на верх библиотечных шкафов. Я иду следом за ним, а Арутюнов остался в зале.

Видя, что в клубе больше никого подозрительного нет, надзиратель обратился ко мне с вопросом, кто играл Марсельезу.

Ответить мне не пришлось, так как тут неожиданно появился Арутюнов.

— Позвольте,—проговорил он,—играл я, но только не Марсельезу, а вот что.

И, быстро сев к роялю, начал играть что-то такое, что немного было похоже на Марсельезу.

Окончив, он затем объяснил надзирателю, что эта какая-то не то итальянская, не то шотландская, теперь не помню, увертюра, и рассказал ее историю.

Надзиратель сконфузился и ушел.

— Одурачили,—сказал мне Арутюнов, и мы долго с ним от души смеялись.

Другой случай был, когда на фабрику приехал известный черносотенец Торопов.

Утром ко мне в клуб вбежал член союза истинно-русских людей Минеев вместе с Чухней и грубо заявил, чтобы я сейчас же дал им из клуба потреты царя и царицы.

— Мы с этими портретами шествие сделаем,—ядовито бросил мне Чухня.

Я ответил, что портреты эти в золоченых рамах и стоят больших денег, поэтому выдать их без записки директора я не могу. Они побежали к директору, а я тут же нарочно запер клуб и хотел куда-нибудь уйти, чтобы Минеев и Чухня меня не могли разыскать, но по дороге к Водяной казарме встретил рабочего Ф. В. Жегалова, который предложил мне сходить с ним вместе на собрание черносотенцев, которое будет происходить над школой, наверху, так называемого, Старого-ткацкого корпуса.

— Там какой-то чертогон их приехал,—добавил он со смехом,—говорят, будущий святой какой-то.

И мы отправились туда.

Я отчасти знаком был с целью приезда Торопова. Этот приезд был рассчитан на вербовку новых членов в союз истинно-русских людей и на поднятие боевого духа среди старых членов союза. Знал я также и то, что сознательной частью рабочих подготовлен срыв этого предполагаемого собрания.

Приходим в старо-ткацкий корпус на верх. Народу битком набито. Торопов произносит речь. Слушаем—говорит о величии и могуществе царя.

— Царь это земной бог,—с пафосом восклицает он.—Власть его неограничена и сила его несокрушима. Мы черви перед ним...

Вдруг слышим, неожиданно где-то в задних рядах громко и отчетливо раздается:

— Ловушка!..

— Ловушка,—подхватывает несколько голосов.

— Ловушка,—ревом прокатывается по массе и все присутствую-

щие словно по команде поворачиваются и устремляются к двери, не прекращая крика.

Чины полиции хотели было воспрепятствовать этому, но были бессильны.

На улице главный чин пустил было в ход насилие и вынул револьвер, с ним вступил в спор один из наших товарищей-таганцев Воронин.

А когда чин пригрозил, что будет стрелять, то Воронин твердо ответил, распахивая грудь:

— Стреляй! Но знай, что как только я упаду, то ни от тебя, ни от твоей семьи не останется и праха.

Чин опешил.

Черносотенный митинг был сорван.

Царские портреты не понадобились...

X. Заключение

Со дня забастовки пятого года прошло много времени. Четверть века миновало с тех пор. Много утекло за это время воды, как говорит о минувшем наш простой русский мужик и рабочий. Много успело сгладиться и даже совершенно забыться. Но вспоминая об этом времени, как-то невольно молодеешь, сильнее начинает биться сердце каждого участника этой великой мобилизации рабочего класса против своих вековых угнетателей.

Великим половодьем рабочей и крестьянской крови разлилась эта могучая вспышка по всей необъятной русской равнине. Не одну тысячу жертв принесла она на исторический алтарь забастовочного движения и много осиротело семей, лишившись навсегда своих дорогих кормильцев.

Но не дешево стоило это и капиталистам.

Не один десяток миллионов рублей убытков причинило их капиталам эта, по их выражению, «заворошка». Ярким заревом пылали барские поместья, наводя ужас на их владельцев. Надолго прекратился приток доходов с умолкнувших, остановившихся гигантов-фабрик. И как с широких неоглядных полей помещичьих угодий, так и из недр огромных закоптелых корпусов, неслось одно и тоже могучее и громово-угрожающее:

— Да здравствует Революция!..

Десятками тысяч штыков ощетинился царизм с обезумевшей от страха буржуазией против рабочих отрядов, защищая свои капиталы и привольно разгульную жизнь.

Схватка была страшная, смертельная.

И победителем оказался капитализм во главе с святошей-пьяницей царем.

Плотно сжали своими крепкими щупальцами-дверями многочисленные тюрьмы тысячи передовых борцов-рабочих. Такие же

тысячи приняла в свои холодные объятия далекая неприветливая Сибирь.

Победа была полная.

И, казалось, что ураган победившей реакции уничтожил все, что могло не только посягнуть на незыблемость капиталистического производства и гнета, но даже мыслить об улучшении доли рабочего класса.

Но это только казалось.

На самом же деле волна рабочего движения, могучим разливом прокатившись по бескрайнему простору русской земли, оставила после себя сотни крохотных озерков. Этими озерками были остатки рабочих отрядов, потерпевших поражение в неравном бою с еще сильной буржуазией и не в конец еще уничтоженным самодержавием. Слившись с общей рабочей массой эти остатки-организации чувствовались всюду, но были неуловимы, недосягаемы для капиталистических ищеек.

И весь отживающий строй царизма, с его разлагающимся чиновничеством чувствовал это каждую минуту, не зная покоя ни днем ни ночью.

Словно разъяренный зверь, метался он из стороны в сторону, отыскивая предполагаемого виновника мнящейся ему опасности и не находя его, часто вымещал свою злобу на ни в чем неповинном рядовом рабочем. А потом снова мучился предсмертными муками, страшась даже слова—революция.

И тем страшнее, тем мучительнее были эти муки, когда перед мысленным взором этого издыхающего и уже издающего трупный запах паразита, вставал окровавленный им рабочий класс, указывающий ему на свои зияющие раны и грозивший новым восстанием...

Вот почему дорог нам пятый год...

Он дал понять всем угнетателям, что власть их над рабочим классом не долговечна. Что там, в недосягаемых для него тайниках подполья, творится великая работа освободительного движения, которая, как по радио, неведомыми путями передаст результаты своей работы всему рабочему классу, готовя его к великой и последней борьбе со своими вековыми угнетателями, со своими исконными врагами, с разжиревшими от рабочего пота паразитами, с упившимися рабочею кровью вампирами...

И целых двенадцать лет длилась эта работа!

Целых двенадцать лет продолжалась предсмертная агония монархизма с его родным детищем—капитализмом.

Наконец, пришло время прекращения этой агонии. И то, что казалось лишь неясным, туманным предположением, вдруг облеклось в реальную форму страшного возмездия.

Это уже была не пробная мобилизация разрозненных и разбросанных по всей великой стране небольших разнородных про-

летарских отрядов, а боевое выступление огромной, хорошо организованной армии труда, спаянной одной идеей и непоколебимой верой в победу.

Вел эту армию Великий Красный Октябрь.

И не экономические требования предъявил этот всепобеждающий полководец. Не грошовую надбавку к заработной плате предъявлял он к своему вековому врагу—капиталу. Нет, на его алом знамени могучей, мозолистой рукой пролетариата ясно и отчетливо было начертано: смерть капитализму, да здравствует всемирный коммунизм!..

И для нас, старых борцов пятого года, этот приход Октября, этот лозунг его, является той желанной и родной весной, которая сильней заставила биться наши сердца, влила бодрость в одряхлевший уж было организм и пробудила еще большую ненависть к рухнувшему навсегда проклятому строю деспотии и гнета.

Е. Валк

Распорядительная комиссия и „Молодая партия народной воли“

1884 год в истории Народной Воли был ознаменован попыткою образования новой народовольческой группы, которая приняла название Молодой партии Народной Воли. Обнаружившийся в такой резкой форме факт кризиса был результатом новых условий деятельности Народной Воли, основным из которых было более глубокое проникновение в рабочую среду народовольцев, которые деятельность среди рабочих начали возводить в основную отрасль своей работы. Рост численности рабочего класса за 1879—1884 гг., в некоторых местах удвоивший его состав, рост активности рабочих, отразившийся в их самостоятельных выступлениях не только в области непосредственной борьбы, но и в литературной сфере—все это должно было воздействовать на революционеров, действовавших в их среде. Но не могло не воздействовать на народовольцев и другое: в эти годы в Петербурге, где образовался центр народовольческой оппозиции, возникла и уже действовала социал-демократическая группа, с которою ядро будущей оппозиционной партии, Молодой партии Народной Воли, находилось в довольно близких отношениях на почве той же деятельности среди рабочих. Помимо этих общих условий были специфические условия момента, которые должны были обострить внутри-народовольческие отношения, а основным из них была дегаевщина, факт двойственной роли Дегаева, одновременно революционера и судейкинского агента, факт известный эмигрантскому народовольческому центру (Тихомирову и Ошаниной), но скрытый им от действовавших в России революционеров. На почве всех этих условий создалась оппозиция, которая поставила требование пересмотра программно-тактических и организационных установок Народной Воли и выдвигала введение в программу аграрного и фабричного террора, а также децентрализации партии.

В настоящем очерке мы ставим себе задачею проследить только внешнюю историю этого конфликта, отсылая читателя для ознаком-

ления с идеологической стороной этого кризиса к другой нашей работе о «Молодой партии Народной Воли» («Проблемы марксизма», 1930, № 1).

1. Временный центр партии

На октябрьском съезде 1883 г., происходившем в Петербурге, был избран центр, который по существу дела должен был стать общепартийным. Но из четырех человек, вошедших в его состав, в самом близком времени выбыли трое: Дегаев уехал за границу 16 декабря в день убийства Судейкина, в декабре же был арестован на похоронах Судейкина Росси, в начале января 1884 г. был арестован Н. А. Караулов. Оставался один К. А. Степурин. Правда, был в это время в Петербурге и Герман Лопатин, который оказал не малое влияние на судейкинский факт, но он все же официально тогда в организацию не входил. Таким образом, вся тяжесть официальных дел ложилась на Степурина, которому Лопатин, уезжая в январе за границу, также передал имевшиеся у него связи. Но Степурин был человеком новым в петербургской революционной среде, да и практический революционный опыт у него отсутствовал, хотя он и примкнул еще в 1880 г. к военной организации Народной Воли (мы знаем, что у него бывал несколько раз Н. Н. Колоткевич, который в то время являлся членом центра военной организации). Вскоре, однако, перевод Степурина в далекую Новогеоргиевскую крепость (теперешний Демблин в Польше) оторвал его от народовольческих дел; однако, его влияние в Новогеоргиевске сказалось на других офицерах, впоследствии привлеченных к делу Пролетариата. Весною 1883 г., выйдя в отставку в чине штабс-капитана, Степурин вернулся в Петербург, и вновь, при посредстве Вас. Папина вошел в народовольческую организацию. Затем, именно Дегаев, знавший Степурина еще с 1880 г., ввел его в петербургский центр, сделал его участником октябрьского съезда и секретарем нового центра. Нет сомнения, что дегаевская протекция, если так можно выразиться, немало повлияла на отношения к Степурину его идейных противников, с чем мы далее еще столкнемся. Правда, Лопатин писал несколько позже Тихомирову о том, что «бестактичность кавалера, долго служившего единственным (подчеркнуто Лопатиным) представителем центра, не мало уронила этот последний». Однако оценка Лопатина здесь повидимому относилась только к отсутствию у Степурина тех дипломатических способностей, которые, быть может, чрезвычайно нужны были тогда в обстановке непрерывных переговоров. Тот же Лопатин, в письме В. Я. Богучарскому 27 апреля 1911 г. писал, что он знал Степурина «достаточно, чтобы утверждать, что это был верный слуга и безусловно преданный делу человек».

Степурин был участником октябрьского съезда, при его участии обсуждались те вопросы, которые намечали новое в революцион-

ной теории и практике. Как же он понимал совершающиеся перемены в характере движения? Очень скупой в своих показаниях, Степурин все же нашел возможным осветить именно этот момент. Он не [illegible] ни в малейшей степени того, что произошло, к личному [illegible] со своими противниками: «Не было единства, пишет Степурин в показании 21 июля 1884 г., во взглядах людей революционного направления на современность тех или других приемов революционных действий. Сказывалась непостоянная потребность пересмотреть и программные задачи партии». Пр[illegible]граммы [illegible]

Степурин [illegible] как мечтание о необ[illegible] объединения [illegible] фракций партии: Народной Воли и Народоправства (Черного Передела). Таким образом, Степурин [illegible] себе [illegible] характер [illegible] (ср. выше указанную статью) [illegible] [illegible] русских [illegible] [illegible] Н. А. Сериалевский и с [illegible] мы [illegible] еще встретимся.

[illegible] характеристики взглядов Степурина в это время у нас есть еще документ, и документ тем более важный, что он должен был войти в виде передовой в том номере, который в феврале 1884 г. печатался Степуриным, уже почти перевитым со Степуриным. Хотя отобранный после ареста документ писан рукой Якубовича, однако принадлежность передовой Степурину несомненна, так как сам Якубович в своих показаниях говорит, что она писана членом «организационного центра партии» (а единственным членом и был Степурин); Н. П. Стародворский же на суде прямо называл автором передовой Степурина и прокуратура согласилась с этим (к сожалению, известный в печати рассказ о процессе очень краток и излагает лишь этого эпизода). Передовая эта, в значительной мере воспроизводила наметившиеся в октябре новые тенденции. Любопытнее всего, что она прямо провозглашала «новый фазис» движения, что она делила задачи борьбы на два периода: на период до 1 марта, когда основною задачею была борьба с императорством Александра II, и на после-первомартовский период, когда выдвигается работа среди «народных масс, которым всегда и везде принадлежит решающий голос в критические минуты». Не лишне, думается, привести хотя бы несколько цитат из этой передовой, впрочем известной тоже лишь в виде отрывка. Не малое место было отведено в ней объяснению того революционного бездействия, которое характеризовало для общества этот период: «После победы, которую партия «Народной Воли» одержала над самодержавием 1 марта, во внешней деятельности настало сравнительное затишье, которое многих ввело в заблуждение». Однако «социально революционная партия не умерла и не могла умереть», и, объясняя это обстоятельство вполне в духе новых течений, Степурин писал, что «пока в России существуют люди способные в своем сознании формули-

ровать цели стихийных народных стремлений и отыскивать пути и средства для их осуществления, социально-революционная партия не может умереть, и все живые русские силы будут непрерывно притекать к ней». «Вступая теперь в новый фазис борьбы», передовая «кажущееся бездействие» в течение последних трех лет объясняла именно ни чем иным, как новыми задачами партии, передвигающими центр тяжести на работу среди масс. Кроме самодержавия, которое должно рухнуть, «для нас существует Россия, которая должна жить в будущем, когда от самодержавия ничего не останется, поэтому нам предстоит еще созидательная работа и приходится позаботиться, чтобы грядущая катастрофа оставила и после себя не хаос разрозненных элементов, недоумевающих перед совершившимся фактом и незнающих, как воспользоваться одержанной победой». Передовая далее подробно мотивирует именно этот важнейший поворот в деятельности социально-революционной партии: «Поэтому-то для нас выдвигалась на первый план необходимость воздействия на народные массы, которым всегда и везде принадлежит решающий голос в критические минуты. Борьба с императорством Александра II до 1 марта оставляла народную массу вне сферы нашего воздействия, хотя эта борьба и указала народу, кем и во имя чего она ведется, так что теперь народ смутно чувствует, что она имеет какое-то отношение к ближайшим, насущнейшим его нуждам. В народной массе произошла перемена, недовольство его обострилось и он из пассивного стремится перейти к активному состоянию. Мы глубоко убеждены, что дело политического и социального возрождения России будет тогда прочно, когда масса явится сознательной участницей нашего дела, поэтому деятельность наша после 1 марта должна была перейти на помощь проснувшейся народной мысли, дать ей ответ на поставленный ею вопрос и выяснить ей ту связь, которая существует между делом политического освобождения и собственным ее освобождением от угнетающих ее социальных зол». Этим именно передовая объясняет внешнюю бездеятельность партии: «Осложнившаяся и расширившаяся таким образом задача наша потребовала перемен и приспособлений в нашей организации, и этой-то внутренней работе и были посвящены последние три года. В настоящее время эта организация окончена, и мы снова выступаем на поприще активной борьбы с тою же программой, но с силами лучше приспособленными для осуществления нашей задачи».

Далее в статье вновь повторено, что «как и прежде, ближайшей нашей целью есть созыв учредительного собрания, избранного всенародной подачей голосов» и т. д., а также обоснованы знакомые по октябрьскому съезду решения «отныне дать почувствовать силу террора и тем союзникам русского самодержавия, которые непосредственно соприкасаются с народом и высасывают народную кровь, пользуясь общим политическим бесправием, на почве аграрных

и фабричных отношений». Наконец, в согласии с теми же октябрьскими постановлениями речь в передовой идет и о «печатной пропаганде в более широких размерах, чем то было до сих пор».

Степурин и здесь, как и в своих показаниях, не усвоил всей сущности совершившегося переворота. Если Якубович, в своих показаниях отчетливо говорит о том, что не вообще массы должно принять в расчет, так как на крестьянство новое течение не возлагает надежд, видя главное поле деятельности в среде рабочего класса, то Степурин в соответствии со своим народническим истолкованием происходящего кризиса напирает именно на «народные массы». Однако новый вид «террора», то, что так отделит молодых народовольцев от старых, здесь налицо. Итак, в сфере программно-тактических вопросов, казалось, еще возможен дальнейший общий путь.

2. Возникновение оппозиции и ее борьба с «временным центром». Народовольческая организация того времени

Первая стадия конфликта, события января 1884 г., разыгралась не в сфере программной а в сфере организационных проблем. Дегаевщина именно эту сторону дела должна была чрезвычайно обострить. Как возможно было появление в организации такого предателя и как возможна была его безнаказанная деятельность даже в тот момент, когда центр партии знал о нем, как о предателе? Казалось бы, что при такой централизованности, которая характеризует Народную Волю, осведомленность центра должна была бы гарантировать все местные организации от предателя, а ведь все произошло наоборот, и центр не только не уничтожил предателя, но допустил его действовать в среде местных организаций. Итак, данный состав центра был повинен во всем, но мало того, сам тип организации должен подвергнуться такому изменению, чтобы гарантировать впредь от повторения подобных действий со стороны центра. Таков был ход мыслей, приведших к новой постановке организационной проблемы, к проблеме децентрализации партии. «Вся молодежь,—пишет Якубович в своем показании от 18 мая 1885 г.,—а в том числе и я, ждали какого-нибудь ясного и искреннего слова от комитета и о Дегаеве, и вообще, о революционном деле, находившемся в последние полтора года в каком то странном двусмысленном положении. А поверенные центра не могли или не хотели ничего сказать ясно не только о будущем, но и о прошедшем. Это раздражало такого человека, как я, а отсюда шла та преступная вражда, которую я повел впоследствии в таких широких размерах с комитетом...»

Однако январь месяц прошел еще в брожении, ибо у будущих оппозиционеров не было ясных представлений о том, кто их поддержит в грядущем бунте. Решающую роль в деле оформления оп-

позиции сыграла, как об этом заявляет сам Якубович, его поездка в Киев, в конце января 1884 г. До этого момента, пишет он в том же показании от 18 мая, «я мирно продолжал вести сношения с упомянутыми выше лицами от центра». В чем однако было значение Киева в этот момент нашей революционной истории?

Только в Киеве в этот момент оказались во главе местных дел революционеры, которые пережили в Петербурге 1883 г. и пережили дегаевщину; вместе с тем они были участниками октябрьского съезда и, таким образом, были в курсе нового течения в Народной Воле. Мало того, они поставили в Киеве типографию, сумели сгруппировать вокруг себя местные силы и, наконец, смогли предпринять издание местного органа («Социалист»); тем самым в организационном отношении они представляли значительную силу. Мы имеем в виду здесь, конечно, М. П. и П. Ф. Шебалиных. Положение Якубовича в этой поездке облегчалось еще и тем, что М. П. Шебалин был его другом еще до киевской поездки. О содержании переговоров Якубовича с Шебалиным мы узнаем из завуалированного их изложения в показаниях Якубовича, в которых он говорит о том, как их обоих «возмущало» поведение «воображаемого комитета» (т. е. заграничного центра) в дегаевском деле. И что существеннее всего в деле организационного оформления последующей оппозиции, это то, что, уезжая из Киева, Якубович условился об адресах и явках не только для «комитета» (т. е. для Степурина, который и был инициатором киевской поездки Якубовича), но и для «нашей петербургской группы», как пишет Якубович. Сам Якубович определяет этот организационный момент как «начало» своего бунта «против комитета».

2 февраля 1884 г. Якубович выехал из Киева. Его приезд в Петербург знаменует начало открытой борьбы против «временного центра». Он вернулся сюда, по его же словам «уже бунтовщиком в полном смысле этого слова, человеком, не признававшим никаких организационных авторитетов». Однако, пишет Якубович в другом показании (от 24 мая 1885 г.), «я не сразу по приезде в С. Петербург стал во враждебные к нему (т. е. «комитету») отношения и прежде употребил все усилия, какие только допускал мой характер, не нарушать мира и подчиненности». Таким образом, отношения в феврале вступили в критическую фазу, но прежде, чем их излагать, необходимо сделать небольшое отступление: читатель еще не знает, помимо идейного лидера оппозиции, кто именно составлял его армию. С этим необходимо теперь ознакомиться.

Организационная история Народной Воли в 1883 г. представляет не мало трудностей, и здесь не место пытаться восстановить ее даже в общих чертах. Для нашей цели вполне достаточно очертить лишь общие контуры этой истории. Нет сомнения, что после ареста В. Н. Фигнер не существовало никакого авторитетного народовольческого центра. Естественно было именно петербургской

группе сыграть роль такого центра, и при ближайшем участии Дегаева, который уже 15 марта 1883 г. (а В. Н. Фигнер была арестована 10 февраля, так что промежуток равен всего на всего одному месяцу) присутствует на собрании в Петербурге, где участвуют Караулов (который? Н. А. или В. А.?), Усова и др., такой центр в Петербурге сформировался. Его состав теперь известен, хотя бы по указаниям М. П. Шебалина; известна и ироническая кличка «соломенного Исполнительного Комитета», которую по своей обычной манере дал этому центру Герман Лопатин. Однако С. Е. Усова, протестовавшая против утверждения о существовании такого комитета, была, думается, права если не в формальном отношении, то по существу. Этот комитет не функционировал как общероссийское учреждение, хотя в 1883 г. связи между отдельными организациями все же существовали. На октябрьском съезде мы видели новую попытку создания «временного центра» и столь же неудачную по своим результатам.

Но и в самом Петербурге местная петербургская народовольческая группа в 1883 г. была, надо констатировать, в столь же мало организованном состоянии. Не углубляясь в ее историю, которую еще надо очень критически восстановить, достаточно указать, что к моменту, нас занимающему, вопрос о местной центральной организации, объединяющей отдельные специальные народовольческие группы, все еще стоял на очереди. Ценнейшим для выяснения этого вопроса является то место в показаниях Якубовича от 18 мая 1885 г., где он передает свой разговор с Дегаевым, который происходил в конце ноября или в начале декабря 1883 г., и касался именно организации местной центральной петербургской группы. Дегаев видел путь к ее организации в объединении в одно стройное целое уже существовавших в Петербурге рабочей группы, Союза молодежи, типографской и редакционной групп. Надо отдать должное Дегаеву, что так в программных и тактических вопросах октябрьского съезда он сумел усвоить их новое значение и не протестовать против намечающейся ломки программы, так и здесь Дегаев наметил ту линию, по которой пошла в январе-феврале 1884 г. оппозиция, когда она попыталась создать свою новую организацию. Итак, мы подошли теперь к прямой задаче нашего исследования установить значение и характер каждой из составных частей петербургской организации.

Нет никакого сомнения, что из всех только что упомянутых групп решающая роль принадлежала тогда рабочей группе. Что касается ее программных взглядов, то и И. И. Попов и В. А. Бодаев говорят в своих воспоминаниях, что в 1884 г. (впрочем, И. И. Попов в другом месте говорит о декабре, что менее вероятно) «заговорили о необходимости пересмотра программы по реорганизации деятельности партии» (И. И. Попов). «Совещания по поводу пересмотра программы,—пишет И. И. Попов в другом месте,—начались в ко-

ловине января, в начале в нашем комитете», т. е. в комитете рабочей группы,—но на первом же заседании постановили пригласить на совещание П. Ф. Якубовича, Г. Н. Добрускину, М. П. Овчинникова и А. Н. Шипицына. Заседания группы происходили, повидимому, несколько раз, и отметим теперь же (далее мы еще раз встретимся с этим фактом), что, по словам того же Попова, в этом заседании по обсуждении программы, принимали участие «некоторые благоевцы», т. е. тогдашние петербургские социал-демократы. Надо сказать, что в том, что сообщает относительно содержания этих январских дебатов И. И. Попов, ничего нового по сравнению с октябрьским съездом не было.

Вновь был поставлен в рабочей группе, как и тогда, организационный вопрос, который решался в сторону некоторой децентрализации, вновь дебатировался вопрос об аграрном и фабричном терроре и положительные решения по обоим важнейшим вопросам отнюдь не были в полной мере новаторством. Но как бы то ни было, для рабочей группы все эти вопросы вытекали не из каких-либо общетеоретических положений, а именно для нее они были вызваны впечатлениями ее повседневной и успешной деятельности в среде петербургского фабричного люда. Ее они касались ближайшим образом, и мы увидим еще значение этой черты в дальнейшей позиции рабочей группы в деле внутрипартийного конфликта.

Итак, рабочая группа была и значительною силою и в то же время она была непосредственно заинтересована в партийной реформе.

Вторая из упомянутых выше групп—«Союз молодежи партии Народной Воли» имеет гораздо менее значения. Но остановиться на нем стоит несколько подробнее, так как в печати до сих пор, помимо недавно напечатанных показаний П. Ф. Якубовича, нет сведений о нем. Если Якубович держался в очень строгих рамках в своих показаниях, то один из деятелей «Союза», Алексей Кирпичников, дал о нем подробные сведения. Смысл этой новой организации вскрыл лучше всего сам Якубович в своих показаниях. Ее основной задачей было отвлечь студенчество от участия в чисто университетских беспорядках, которые «в тесно революционном смысле всегда были лишь напрасной или преждевременной тратой иногда очень полезных, но еще не окрепших сил. Взамен того, «Союз» должен был «сплотить подающие надежды молодые революционные элементы между собою, занять их посильной им работой, чтобы таким образом создалась как бы умственная практическая революционная школа» и т. д. В течение ноября—декабря 1883 г. «Союз молодежи» организовался при ближайшем участии Якубовича, который был побужден к этому Дегаевым, не только по словам самого Якубовича, (что можно было бы счесть специфическим приемом отвлечения вины, обычным в показаниях), но и по показаниям Кирпичникова, которого именно Дегаев пригласил на учредитель-

ное, повидимому, собрание «Союза». На этих собраниях, как передает Кирпищиков (и что Якубович подтверждает в своих показаниях) Якубович «стал говорить об отношениях интеллигентной молодежи к революционной партии и начал проводить мысль о необходимости какого-либо организованного содействия последней со стороны молодежи, не указывая, однако, еще определенных форм подобной организации». На следующем, декабрьском, собрании Якубович не только развивал свою прежнюю мысль о необходимости организации в среде интеллигентной молодежи такого кружка, через который, как по «наклонной плоскости» лица могли бы переходить к «соединению с революционной партией», но «намечались и главные черты будущей организации, долженствовавшей состоять из ряда отдельных кружков и затем пополняться новыми членами по выбору самого центрального кружка». Тогда же Якубович предложил, о чем Кирпищиков говорит не вполне уверенно, назвать организацию «Союзом молодежи». Кирпищиков не бывал на позднейших собраниях Союза в декабре и в январе, когда вырабатывалась программа, и этот момент не освещен и в других показаниях. Но составленная к 1 февраля 1884 г. программа Союза (вышедшая из типографии 21 февраля) при всей расплывчатости своего содержания, стремясь создать «молодой союз широкого социально-революционного характера, чуждый узкой партийности», отчетливо отвергла то, что являлось, по ее мнению, препятствием для «полного слияния» с Народной Волей «народников Черного Передела в лице гг. Плеханова и Аксельрода», именно отвергла «захват власти», называя его не без некоторой иронии «одной из бесчисленных pia desideria». Признавая, что «смысл данного исторического момента требует, чтобы в России была поставлена на первый план политическая борьба и на нее направлено возможно более готовых сил», программа столь же отчетливо подчеркивала новые течения: «мы не можем, однако,—продолжает она,—не задумываться о том дне, когда абсолютизм рухнет и на арену истории выступит народ. Но и террористически настроенная молодежь стоит, что, может идти рука об руку с нами». Последняя декларация кладет совершенно определенный отпечаток на всю программу: террористы отнюдь не забыты, но они не на первом руководящем месте—они лишь союзники. О том, каково было отношение Союза к деятельности среди рабочих, у нас мало сведений. Но они все же есть. Тот же Кирпищиков пишет, что «в настоящем фазисе развития, Союз, насколько мне известно, пропагандой в среде рабочих не занимался», однако «пропаганда эта ставилась одною из будущих целей его деятельности, но пока еще никакого практического осуществления не получила». Впрочем Кирпищиков сам передает, что А. Достаков, член центра Союза, обращался к нему с заявлением, что рабочая группа «нуждается в интеллигентной деятельности для пропаганды в рабочей среде или, как он сам

(т. е. Достаков) выражался, для занятий с рабочими». Что такие рабочие кружки Союза молодежи действительно существовали, на это есть прямое указание в воспоминаниях М. С. Ольминского, который передает, что один из кружков им был получен, как он пишет, «от рабочей организации при Союзе молодежи партии Народной Воли». Существование рабочих кружков при Союзе подтверждает и помещенная в варшавском «Proletaryat'е» (№ 5 от 1 мая 1884 г.) корреспонденция из Петербурга, в которой автор, говоря о выходе февральского воззвания, «с искренним удовольствием сообщает об образовавшемся новом отряде борцов за рабочее дело».

Итак, рабочая группа и Союз молодежи — таковы были организационные ячейки революционного Петербурга. Но кроме того, была и техника, были и некоторые легальные литературные связи. Об организации типографии, которая должна была в Петербурге стать технической основой оппозиционного предприятия мы осведомлены в достаточной степени из показаний Петра Николаевича Мануйлова, одного из виднейших деятелей оппозиции. 12 сентября 1884 г. он признал себя организатором типографии на Лиговке (д. № 42), квартира для которой была снята 4 февраля 1884 г., с Софьей Александровной Сладковой в роли хозяйки. В этой типографии было отпечатано только что упомянутое воззвание Союза молодежи, а также листовка по поводу розысков Дегаева. Не лишено существенного значения указание Н. Н. Попова в его воспоминаниях, что когда организовывалась эта типография, то «Петр Филиппович советовал нам пока не говорить о типографии Степурину», т. е. попросту предлагал устроить законспирированную от временного центра типографию оппозиции.

В мемуарной литературе мы встречаем указание на двух литераторов, которые в этот момент были близки к народовольческой оппозиции. Это — М. А. Протопопов и Е. Н. Конради. Никто из них, повидимому, не написал ни строчки для оппозиционных изданий, и поэтому трудно судить о настоящих их взглядах. Но Якубович в одном из своих писем к М. П. Шебалину называет Протопопова членом редакции нового органа, и судя по прошлой деятельности Протопопова, когда он, повидимому, сблизился в нелегальной литературной работе с М. П. Шебалиным, это довольно вероятно. О Конради наиболее точные указания мы находим в воспоминаниях В. И. Сухомлина, который со слов М. П. Орлова пишет, что «очень популярная среди тогдашней молодежи» Конради «усиленно пропагандировала» аграрный террор. Ее возможное участие в новых литературных предприятиях явствует и из воспоминаний М. Р. Гоца, который именно ей приписывал, — по слухам, очевидно, — выше цитированную передовую статью К. Степурина.

Наконец, необходимо остановиться и на революционной провинции, которая в лице двух своих представителей, А. Баха и С. Иванова, сыграла значительную роль в создавшемся идейно-организа-

[illegible] конфликте. Мы уже упоминали, что нормального общепризнанного центра не существовало в 1883 г. Однако, авторитет Петербургской организации был признан, и сношения между отдельными провинциальными группами и Петербургом не прерывались. Здесь не место касаться состояния народовольческих групп вообще в 1883 г., но за то совершенно уместно поставить вопрос о том, какие реальные силы провинции стояли за непосредственными участниками конфликта, только что упоминаемыми А. Н. Бахом и С. А. Ивановым.

Воспоминания А. Н. Баха, теперь, после издания их отдельною книжкою, ставшие достоянием многих читателей, позволяют без излишних архивных поисков ответить на поставленный нами вопрос. В половине марта 1883 г. (А. Н. Бах пишет в воспоминаниях о конце февраля—это ошибка памяти) А. Н. Бах был вынужден перейти на нелегальное положение и уехал из Киева, где принимал видное участие в местных делах. До декабря 1883 г. он жил сперва в Ярославле, в котором стал в близкие отношения к местному народовольческому кружку А. В. Гедеоновского, П. А. Муханова и др., а затем в Казани, где народовольческая организация находилась в сравнительном упадке. Обе организации, и ярославская, и казанская, были оторваны от центра, и это необходимо иметь в виду при изучении воспоминаний А. Н. Баха за этот период. Такой [illegible] их читатель, как С. А. Иванов, писал после прочтения их еще в «Былом» одному из редакторов «Былого», В. Я. Богучарскому (25 марта 1907 г.), что «весь год дегаевщины (1883), [illegible] организации, отношение революционных элементов юга к северу», «ничего этого» нет у А. Н. Баха. И объяснение [illegible] «Иначе [illegible], что это время А. Н. Бах «провел в отдаленных [illegible], оторванных от очагов революционной жизни [illegible]». [illegible] для А. Н. Баха в декабре, [illegible] через посредство Ф. В. Крылова связям А. Н. Бах [illegible] с Петербургом и принял на себя [illegible] организационно-технической функции [illegible] типографии. С момента приезда из Казани в Харьков А. Н. Бах [illegible] центр и в [illegible], которое ему было поручено, [illegible] сразу же видное место в [illegible] организации. Так как местом [illegible] типографии А. Н. Бах избрал в [illegible] Р[illegible] [illegible], то он туда переехал в январе 1884 г. Поездка А. Н. [illegible] в Петербург [illegible] на очередь дня не только потому, что его [illegible] туда для выяснения положения дел, но для [illegible] переговоров, связанных с изданием десятого номера «Народной Воли». Еще до этой поездки состоялось свидание [illegible] в Ростов Ивановым (Иванов говорит [illegible], что [illegible] целью его поездки в Ростов было [illegible] с А. Н. Бахом»). По словам А. Н.

Баха, между ними «не оказалось ни одного разногласия, кроме, как по одному пункту, именно по вопросу об ограблении почты».

Биография Иванова за этот год сложилась несколько иначе: и, с одной стороны, в Петербурге ему пришлось не раз бывать, с другой же,—никто так не знал провинции, как именно Иванов. После своего побега из ссылки, в конце 1882 г., Иванов вскоре добрался до Петербурга, где он уже не встретил никого из знакомых прежде старых революционеров. Он сам пишет, что к этому, по-видимому, [illegible] приписывались [illegible], и только в феврале 1883 г. [illegible] Оставалось [illegible] поехать в Орел(?). [illegible] неудачно [illegible] [illegible] в О[illegible] с Н[illegible] и Н. Чаусин(?), [illegible] О[illegible] [illegible] разъезжает по России. В своих показаниях от 11 февраля 1886 г. он пишет [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Харьковском [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] т[illegible], что имя мое было известно во многих местах и благодаря этому, может быть, [illegible] популяризировалось».

В другом месте тех же показаний Иванов пишет: «Благодаря таким образом (речь у Иванова идет о Харькове) на ночлегах со многими лицами, приходилось неизбежно вступать в разговоры и отвечать на массу вопросов, которые естественно предлагались мне, как нелегальному, следовательно, революционеру по профессии. Разговоры эти часто сводились на общереволюционные дела, на организацию и т. д.; часто задавались вопросы о том, в каком положении находится дело общей организации, существует ли de facto центр и т. д. Отвечать на это я затруднялся, так как сам не мог ответить себе ясно на эти вопросы, а между тем отвечать отрицательно опять-таки не решался. Таким образом приходилось отделываться полуфразами, но все-таки в смысле положительном. Отсюда, конечно, и взгляд на меня, как на агента центра». Как С. Иванов рассказывает в своем показании от 11 февраля 1886 г., он приехал вновь в Петербург в 20-х числах декабря, т. е., вскоре после убийства Судейкина, но пробыл недолго отчасти потому, что оставаться «было неудобно» (по полицейским обстоятельствам), отчасти потому, что «было почти бесполезно, так как для выяснения чего либо в смысле организационном время было самое неподходящее». По обыкновению своему Иванов уехал с поручениями, в частности в Киев к Шебалиным, которым надо было передать некоторые материалы для предположенного десятого номера «Народной Воли». В этом же показании Иванов пишет о господствовавшем

в Петербурге настроении: «.... все находились под свежим впечатлением факта (т. е. убийства Судейкина), ожидали чего-то; говорили о возможном приезде нескольких человек из-за границы, с приездом которых связывали разрешение вопросов общерусской революционной организации», и т. д. «Но вообще, резюмирует свои впечатления Иванов, все это было очень неопределенно». С этим Иванов уехал из Петербурга. Мы знаем, что он передал вслед затем рукописи в Киеве, а выше уже было сказано и о последующем шаге Иванова, его ростовской поездке для свидания с А. Н. Бахом.

3. Фракционное сформление оппозиции

После этого ориентировочного очерка действовавших тогда организаций и лиц, мы можем вернуться к прерванному рассказу о ходе разногласий в народовольческом Петербурге.

Мы прервали наше изложение на моменте возвращения Якубовича в Петербург из его киевской поездки, на моменте, который был началом нового фазиса в развитии кризиса, перешедшего в открытый разрыв оппозиции с «временным центром». Вплоть до приезда образованной в Париже Распорядительной комиссии, что имело место в марте, этот разрыв развивается все шире. Формулировки оппозиционных взглядов получают в процессе этого разрыва свое все более и более отчетливое выражение.

Степень этого разрыва характеризуется целым рядом документов и показаний. 19 февраля Степурин пишет М. П. Шебалину о том, что «из обстоятельства дела» он узнал, что « П [етр] Ф [илиппович] вместо устроения связей с Киевом (для какой цели он ездил) посеял лишь раздор и завел теорию сплетен в партии». В другом, повидимому, экземпляре того же письма (быть может, отправленном по другому адресу, на случай пропажи первого) наряду с перифразом только что цитированного, Степурин добавляет: «не вдаваясь в более подробные объяснения по этому поводу, предупреждаю вас, что к сведениям Александра Ивановича (раздорного характера) следует относиться скептически». Однако, до чего дело дошло, лучше всего можно судить по весьма в общем сдержанным и кратким показаниям Степурина, на дачу которых он был вызван предъявленными ему показаниями Якубовича. «В свою очередь, как бы возражая Якубовичу (о чем см. далее), и я не могу пройти молчанием, что с некоторыми из моих петербургских знакомых я вынужден был порвать всякие связи по причине их малой (на мой взгляд) солидности и большой претентабельности»,. Мало того, объясняя далее в тех же своих показаниях одно место об адресах, Степурин писал, что «подразумевал центральный кружок петербургской организации, который предполагал в непродолжительном времени покинуть». Однако, к этому еще не возникшему

кружку у Степурина сложилось отношение, обусловленное фактом разрыва. Он пишет, что передал бы предполагаемому центру свои связи, «если бы я оказался солидарным с задачами этой организации». «В противном случае, имел в виду вопрос о передаче или непередаче новой организации добытых мною связей предоставить на разрешение лиц, с которыми у меня эти связи установились (т. е. повидимому, на усмотрение заграничного центра). При условии, если бы в новой организации нашли себе место лица, с которыми я разошелся, о чем мною упомянуто выше, то я предполагал совершенно обособиться от этой организации. Об этом я, между прочим, высказывал лицам, близким ко мне, и об этом, полагаю, не могло быть неизвестно и лицам, с которыми я разошелся».

Цитированные только что письма и показания Степурина характеризуют его позицию в создавшемся конфликте. Но они вскрывают и другую существенную сторону. В разгоревшейся борьбе каждая из сторон хотела опереться на провинцию, на важнейшие, конечно, центры— Киев и Харьков. В письмах к М. П. Шебалину, о солидарности которого с Якубовичем Степурин, повидимому, не подозревал, находим как предложение приехать в Петербург самому Шебалину (он здесь будет «нужный человек»), так и приглашение С. Иванова (он тоже «здесь нужный человек»). Мотивы приглашений, как мы сейчас увидим, в достаточной степени обрисовываются показаниями Иванова, в которых он говорит, что точно устанавливается датою одного документа (о нем далее) о первой половине февраля. Приведу довольно большую выписку из этих показаний. относительно письма Степурина (Алексей Константинович—это и есть он) отметив, что и ранее Иванов говорил о том, что из Петербурга в виду «неурядиц и разногласий», получаются приглашения приехать всем, кому можно, в Петербург, для того, чтобы «выяснить наконец разномыслия и определить общее настроение революционных дел».

«В феврале месяце,—пишет С. Иванов в показании 11—12 февраля 1886 г.,—было получено в Харькове письмо из Петербурга, от кого именно, хорошо не помню, кажется от Алексея Константиновича, предназначавшееся вообще всем южанам, как мне, Всеволоду Гончарову, так и другим товарищам. В письме этом говорилось о том, что отношения между петербургскими революционерами сильно обостряются, что оппозиционная группа почти совсем выделяется и думает сама немедленно приступить к изданию № 10 «Народной Воли», в котором группа эта намеревается высказать новые взгляды на программу партии и на приемы революционной борьбы, несогласные с духом прежней программы и что, таким образом, группа эта берет на себя право исправлять общую программу партии, высказываясь якобы от имени всей ее, каковою права она ни de jure, ни de facto не имеет. В виду того, что петербургские революционеры другого лагеря одни не имеют силы удержать их

от этого шага, они просят, чтобы южане высказались в отрицательном смысле об этом [illegible], так как такой ответ может, может быть, хоть на короткое время, приостановить выход означенного № [illegible] «Народной Воли», который неизбежно вызовет раскол и большие недоразумения. Для ответа, который просили дать немедленно телеграммой, прилагался адрес и условная форма его. На это письмо [illegible] и [illegible] Гончаровым (кроме нас в Харькове тогда никого не было) была послана немедленно телеграмма по адресу, [illegible] сообщили, что [illegible] сочувствовать изданию такого [illegible] «Народной Воли», [illegible] мнении [illegible] группы, внесший поправки [illegible] программу — не можем сочувствовать те[illegible] [illegible] и протест[1].

[illegible] Они [illegible] видим и одно, и другое.

Письма И. Ф. Якубовича к М. П. Шебалину, недавно опубликованные, [illegible] представлять себе организационное оформление [illegible]. Впрочем, письма эти относятся уже к концу февраля и началу марта, когда оба эти процесса были в полном движении. Со Степуриным к этому времени все отношения были прерваны. «На все, что пишет Алексей, повторю еще раз, не обращайте внимания», [illegible] я [т. е. Якубович] [illegible] с Алексеем окончательно»; «Кривенко просит... из дома предварительного заключения не доверять Алексею Константиновичу»; «с Алексеем Константиновичем мы порвали всякие отношения» и т. д., вот чем заполнены с фактической стороны письма Якубовича. Кроме того, в них содержатся такие резко-отрицательные характеристики Степурина, в которых потом, когда [illegible] борьбы, Якубовичу пришлось раскаиваться в своих показаниях и на суде.

Круг оппозиционеров [illegible] время расширился. Оппозиционером [illegible] себя [illegible] (14 марта) арестованный Н. П. Стародворский, участник судейкинского дела, о чем позднее с обычной иронией не преминул сообщить парижанам Лопатин, дав ему [illegible] Мишаньки № 2 (Мишанька № 1, для Лопатина, сотоварищ Стародворского по убийству Судейкина — Конашевич): «Мишанька № 2, — писал Лопатин, — не только болтает... но и играет роль [illegible] партии (?)». К оппозиции примкнул только что бежав-

[1] [illegible] Она гласила иносказательно: «статья годится, но не вся».

ший из Сибири М. Ф. Лаговский (арестованный уже 4 апреля и десять лет пробывший в Шлиссельбурге административно). Но в смысле активного участия главную роль сыграл М. П. Овчинников. Он являлся сторонником, подобно всей оппозиции, аграрного и фабричного террора. Но он мотивировал это, как мы узнаем из изложения его показаний (в этой части они не сохранились текстуально), необходимостью «избежать напрасного истребления интеллигенции», так как «народ не в состоянии совершить революцию и... всякое восстание народа, верящего в царя, будет обращено против интеллигенции и против самих представителей партии». В остальном Овчинников представлял отчасти отзвуки давнего семидесятничества (не забудем, что он судился в 1877 г. по процессу 50), напр., когда он стоял на точке зрения выработки из народа «отдельных личностей»; на политический террор он смотрел, повидимому, так, как и большинство оппозиции: по мнению Овчинникова, к нему надо прибегать только в крайнем случае, как к средству, от которого надо ожидать желательных результатов в известный момент, но не возводить его в систему, т. е. совершать его перед началом общего массового революционного движения, а до тех пор заниматься организационной работой, преимущественно среди интеллигенции, а по отношению к массам «вырабатывать из них отдельные личности, способные вести за собою массы в момент переворота». Якубович в своих первых показаниях пытался затушевать роль арестованного Овчинникова так как Овчинников «по складу натуры и отчасти степени образования меньше, чем кто-либо, принимал активное участие собственно в «разговорах», которыми я так интересовался, то я и не помню теперь подробности наших встреч за их мимолетностью». Однако, в позднейших показаниях (20 и 28 мая) Якубович, все еще выгораживая Овчинникова, говорил уже прямо о том, что «появление его в нашей наэлектризованной уже молодой среде было каплей, переполнившей чашу», то что «он» повлиял косвенно (т. е. через Якубовича, который все это берег на себя в своих показаниях) и совершенно бессознательно на создание Молодой партии». Впрочем, уже в письме к М. П. Шебалину Якубович считал, что имеет «тем больше основания» для своих отношений к Степурину, что и «Иван Александрович» (т. е. Овчинников) «возмущен» происшедшим и «не хочет признавать в настоящее время» никакого центра. Мы останавливаемся на этом сюжете, так как именно Овчинникову в предстоящих событиях предназначалась важнейшая роль. По его же показаниям, он, как предполагалось, будет в составе формируемого старыми деятелями нового центра, и в этом центре он и должен был выступить, по его словам, с заявлениями в духе оппозиции. Нам к этому вскоре еще придется вернуться.

Мы видели выше состояние петербургского народовольчества. 29 февраля 1884 г. Якубович сообщал Шебалину в том же письме,

где он категорически отказывался от работы со Степуриным, что «около нас (т. е. оппозиции) все здешние силы»; вместе с тем он поименно перечислял и Стародворского, и Овчинникова, говоря «о других лицах легальных и нелегальных», о «литераторах, окончательно порвавших с Алексеем» (т. е. о Протопопове и Конради), о налаженной типографии. Здесь же упоминалось о приезде А. Н. Баха, которого в этот момент считали еще очевидно тоже в числе оппозиционеров. Однако, в этом же письме есть новая нота, предвещающая предстоящее расширение боевого фронта. В конце февраля в Киев уже успел приехать из заграницы В. А. Караулов, первый из участников только что закончившегося народовольческого съезда, на котором была сделана попытка восстановления центра на основе преемственности с прежним Исполнительным Комитетом. Однако после дегаевской истории и того взрыва, который мы уже наблюдали, эта весть о приезде назначенного заграницей центра должна была только вновь и сильнее разжечь страсти. Якубович упрекает все в том же письме от 29 февраля М. П. Шебалина за передачу связей Караулову: Шебалин, де, «преждевременно поступил, отдав ему все связи, зная, кто он и как он ведет дела. Это, во первых, а во вторых, вот что. Приедут сюда этаких 8 господ с целью мудрить над нами. Они там решили, видите ли, то-то и то-то, а мы должны их слушаться». Этот протест здесь же переносится и в сферу идейных разногласий. Караулов привез передовую, написанную Тихомировым. Для Якубовича эта передовая «общие фразы», в то время как «общество ждет нового слова от передовицы» и, пишет Якубович, «привезенной Павлом Ивановичем (т. е. Карауловым) передовицы не возьмем ни за что—это значило бы разочаровать людей и нанести делу громадный вред». В написанном через несколько дней новом письме Якубовича находим новые филиппики: передовая—это «шумиха общих фраз», а по адресу парижан: «и заграничные не станут настаивать на большей силе своего голоса; да и имеют ли они на это право, кто бы они там ни были». В этот момент оппозиция спешит выпустить составленный ею № 10 «Народной Воли». Ее передовая, по парадоксальному стечению обстоятельств, как мы видели, написана была Степуриным, организационным противником оппозиции. В своем показании от 28 мая Якубович справедливо оценил эту передовую с точки зрения развивавшегося конфликта: это еще не был полный разрыв—в этой передовой «весьма мягко и крайне мало говорится о «новом течении мысли», о фабричном терроре и проч.».

Но борьба имеет свою логику и ее организационные формы все более четко вырисовываются. Если постановка типографии и выпуск номера «Народной Воли» были бы показателями того, что тоже направление овладело официальной партийной литературой, то в организационном отношении оппозиции надо было, с одной стороны, вслед за Петербургом закрепить за собою провинцию,

а с другой—ей же надо было противопоставить свой организационный фронт уже близившейся и ожидавшейся со дня на день встрече с представителями официального центра (4 марта Якубович пишет Шебалину, что «из-за границы пока, кажется, никто не приезжал»). Привлечь провинцию—это значило действовать через известных представителей этой провинции, А. Н. Баха и С. Иванова. А. Н. Бах, как мы выше указывали, приехал в Петербург, повидимому, в конце февраля. О настоятельности приезда Иванова пишет не раз Якубович М. П. Шебалину и сам Иванов сообщает в своем показании от 11—12 февраля 1886 г., что получил приглашение приехать. Надежды столичной оппозиции, однако, должны были скоро оказаться обманутыми. А. Н. Бах занял резко отрицательную позицию и «очень ясно определил» ее Якубовичу. Он желал обождать приезда из-за границы Лопатина; что же касается нового вида террора то, заявил А. Н. Бах: «я никогда не приму его, и если партия напишет его на своем знамени, я без малейшего колебания выйду из ее состава». Точно также и С. Иванов, как он пишет все в том же уже цитированном своем показании, «лично не мог согласиться не только с необходимостью, но даже с практическою возможностью аграрного и фабричного террора, считая не только участие в нем революционеров, но даже и пропаганду его в народе и фабрично-заводском населении вредными и даже до некоторой степени не совсем нравственными, как проповедь и призыв к бесполезному кровопролитию, при котором народ не может действовать беспристрастно и разумно». По предложению А. Н. Баха был вызван из Ярославля А. В. Гедеоновский. Но и он, по словам его воспоминаний, «поддерживал точку зрения стариков народовольцев». По тем же воспоминаниям А. В. Гедеоновского мы можем судить, что, кроме сепаратных и частных разговоров, было нечто вроде «конференции» (Гедеоновский так ее и называет); о таких же широких совещаниях пишет и Н. И. Попов (вероятно, о несколько более ранних). Впрочем, в литературе нет более точных сведений о содержании и результатах этих совещаний. При всем этом не представляет собою труда сделать вывод о безрезультатности в данный момент переговоров сторонников старого и нового направлений.

Если провинция в том виде, в каком ее представляли А. Н. Бах, С. Иванов и А. В. Гедеоновский, не шла навстречу оппозиции, то тем решительнее надо было самим петербуржцам готовиться к предстоящей встрече с Распорядительной комиссией. При аресте Овчинникова у него была отобрана записная книжка, в которой рукою Якубовича был намечен ряд вопросов, которые надлежало предложить Лопатину и его товарищам. Нас не удивит, что первым стоял вопрос о передовой статье, которая, «кроме общих фраз о политической борьбе, должна трактовать о необходимости популяризации партии в народе» путем печатной пропаганды и нового

террора. Второй вопрос, однако, организационного порядка, уже заранее вел к конфликту и расколу самою своею постановкою. От имени «представителей работавшей в последнее время организации» этот вопрос обращался к «гг. приезжим» (это—партийный центр) о том, будут ли «гг.приезжие» иметь «решающие» голоса, а здесь работавшие «только совещательные» и есть ли Исполнительный Комитет «группа уже организованная или организующаяся». А один из следующих вопросов, договаривая до конца, вообще сомневался: «существует ли Исполнительный комитет», и добивался ответа, какова «история его».

Все эти вопросы, равно как и вопросы о Дегаеве, как можно было заранее безошибочно предполагать, должны были остаться без удовлетворительных ответов. Потому здесь же заготовленное «заключение» (к сожалению не законченное; есть только один пункт), перечислив все вины Исполнительного Комитета в связи с дегаевщиной, резюмировало положение дела не оставлявшим никаких сомнений по своей категоричности выводом: «раз группа, именующая себя Исполнительным Комитетом, виновна во всем этом, мы не можем ей повиноваться».

Этот документ был преддверием к новой стадии и конфликта и организации Молодой партии Народной Воли, к той стадии, когда петербургские молодые столкнулись с Распорядительной комиссией. Чем же была последняя и на каких позициях она стояла? Без ответа на это, конечно, невозможно дальнейшее изложение.

4. «Распорядительная комиссия» и взгляды Лопатина на оппозицию

В январе или феврале (даты расходятся; В. И. Сухомлин называет вторую) 1884 г. в Париже состоялся, по инициативе двух уцелевших, благодаря своему отъезду за границу, членов Исполнительного Комитета — Л. Тихомирова и М. Ошаниной, съезд народовольцев, на котором в достаточной, по тем временам, степени была представлена действующая в России организация. Благодаря [illegible] воспоминаниям В. И. Сухомлина и отчасти Н. М. Саловой, а также некоторым позднейшим упоминаниям у Л. Тихомирова, можно с достаточною отчетливостью установить те стороны деятельности съезда, которые связаны с нашим предшествующим и дальнейшим изложением.

На съезде, как пишет В. И. Сухомлин, «подробно обсуждался зловещий факт образования оппозиции, возникшей среди питерских деятелей против Исполнительного Комитета». Оппозиционные настроения на съезде объяснили, повидимому «пропагандою» народников, которые, по словам того же В. И. Сухомлина, «надеялись из оппозиции создать нечто вроде преобразованного, возродившегося Черного Передела». Несомненно, что этот род политического толкования оппозиционных настроений «пропагандою» народни-

ков сказался на решениях съезда очень резко. «Необходимость изменять программу и боевую тактику партии» была «единодушно» отвергнута. Все же дело оппозиции было сведено к дегаевщине, к «законности оппозиционного настроения местных деятелей, надолго оставленных без надлежащего руководства, или, что всего ужаснее, под руководством фиктивного центра, созданного через посредство Дегаева Судейкиным». Правда, в организационном отношении съезд признал возможным в будущем, в «переорганизованной партии предоставить возможно большую автономию местным группам», а в далеком будущем даже предполагал дойти до выборного Исполнительного Комитета. Но это—в будущем, а в злободневном настоящем все оставалось по старому, так как решено было для Исполнительного Комитета сохранить преемственность, оставив за старым Исполнительным Комитетом, в лице его немногих уцелевших членов, в неприкосновенности «право, так сказать, инвеститутуры для образования не нового, а лишь пополненного путем кооптации Исполнительного Комитета». Действительно, точность этих замечаний В. И. Сухомлина подтверждается и позднейшими письмами Лопатина, где он у парижан добивается согласия на принятие в центр А. Н. Баха (о чем еще далее) и позднейшим письмом Лопатина В. Я. Богучарскому (11 марта 1911 г.), в котором он пишет относительно Якубовича, что после присоединения Якубовича к старой организации, он, Лопатин, стал обращаться с ним как с товарищем и сочленом по Исполнительному Комитету, и желал, чтобы он (Якубович) поехал за инвеститурой в Париж. Итак, если резюмировать результаты съезда, то их можно было кратко формулировать: никаких перемен. На съезде был избран центр, по указаниям Лопатина в его письмах Богучарскому, состоявший из Тихомирова, Ошаниной, Г. Ф. Чернявской, Г. Лопатина, В. И. Сухомлина, Н. М. Саловой, В. А. Караулова и А. И. Кашинцева. Кроме того, была избрана в составе трех лиц (Лопатина, Сухомлина, Саловой) «Распорядительная комиссия». Однако, вокруг организационных функций этого нового центра, повидимому, были разногласия, довольно существенные.

Получив № 10 «Народной Воли» и найдя в нем «целый ряд заявлений Исполнительного Комитета» Тихомиров записал в своем дневнике, что его «совет россиянам не выступать под знаменем Исполнительного Комитета остался совершенно бесплодным»; «сердце сжимается при мысли, что эти высокие ноты и широкие планы приведут к неизбежному фиаско». Любопытно, что и в своем покаянном прошении, говоря о парижском съезде, Тихомиров пишет, что «кружок признал себя временным». По тем немногим письмам Тихомирова и Лаврова, которые были захвачены после ареста Лопатина, это разногласие вырисовывается довольно отчетливо. Тихомиров писал еще в мае (5-го мая) Лопатину, что «лучше маленькая, хотя даже личная, фирма, да ваша, которую бы никто

не смел назвать самозванщиной»; предлагал образовать «частный кружок народовольческой партии с каким нибудь названием, ну хоть «Союз Народной Воли», советовал «не надрываться, не скандалиться, стремясь к невозможному». О фикции заграничного комитета Тихомиров писал не менее резко: «Повторяю снова, что считаю всякие заграничные комитеты страшною ошибкою, когда они существуют в самом деле, так как заграничный центр неизбежно превращается в шарлатанство. Ссылка же на фиктивный заграничный центр это есть сознание в неизлечимом бессилии. Убедительно советую не делать так». Наконец, Тихомиров, прямо писал: «а не хотите мириться с мелочами—уезжайте и ждите лучших времен». Эта позиция, которая считалась с фактическим положением дел, была мало приемлема для Лопатина, которого поддерживал и Лавров. 10(22) мая 1884 г., зная содержание только что цитированного письма Тихомирова, Лавров спрашивает у Лопатина: «возможно ли было бы создать центр в России не фиктивный, а настоящий». Но несмотря на свои собственные сомнения он сейчас же добавляет, «что последовать совету о замене [Исполнительного] Комитета Союзом» это было бы по его мнению «самоубийством партии». Нетрудно понять для предвидения последующего, что крайняя в этих разномыслиях анти-тихомировская позиция Лопатина должна была оказать не малое влияние на ход его переговоров с оппозицией.

Первым из состава вновь созданного в Париже центра приехал в Россию Караулов, направившийся в Киев и, как мы видели, уже в конце февраля там действовавший. Затем уехал В. И. Сухомлин; 8 марта из Парижа выехали Лопатин и Салова, все трое направляясь в Петербург; Кашинцев уехал в Одессу. Ранее всех в Петербург приехал В. И. Сухомлин, но, как он сообщает в своих воспоминаниях, он не решался, несомненно под влиянием рассказов Степурина, взять на себя ответственную задачу приступить к переговорам с оппозицией и предложил дождаться приезда Лопатина, как тогда, «более авторитетного, импонирующего своим прошлым и, наконец, человека высокодаровитого, более меня опытного в уловлении сердец и особенно, как казалось мне, изощренного в искусстве ведения дипломатических переговоров». 14 марта 1884 г. Лопатин уже был в Петербурге, а вскоре, 20 марта, приехала и Салова, посетившая по пути из Парижа Киев и Москву. С этого момента тяжесть переговоров должна была лечь на Лопатина. Ознакомиться с его взглядами в этот момент—существеннейшая задача нашего изложения. Это сделать тем легче, что сохранилась некоторая группа писем Лопатина парижанам (кроме Тихомирова и Ошаниной там оставалась Г. Ф. Чернявская), которых он с обычною своею манерою именует «леди и джентельменами».

Впрочем, для характеристики общих взглядов Лопатина представляет не малый интерес также одно из его показаний, а именно показание от 22 ноября 1884 г., на дачу которого он был вынужден

теми письмами Лаврова и Тихомирова, которые цитировались выше. В литературе уже есть сведения о том разладе, который был между Лавровым и Тихомировым в качестве редакторов «Вестника Народной Воли». В письмах речь шла об этом предмете. Разлад этот Лопатин и объяснял в своих показаниях. «Дело это крайне просто» для Лопатина. «Лавров,—пишет Лопатин,—по преимуществу мыслитель, а не практик и человек, отличающийся крайнею последовательностью и продуманностью в каждой печатной строчке, хотя бы и в ущерб требованиям житейской практики, упорно настаивал всегда на строгом проведении в журнале чисто социалистического идеала и игнорировал собственно, так называемые, политические вопросы, как второстепенные, служебные и временные задачи, имеющие лишь подчиненную важность, приобретенную ими, да и то не надолго, лишь в силу особенных, преходящих условий данной минуты». Симпатии Лопатина, очевидно, не на стороне «непрактика» Лаврова: что касается Тихомирова и «близких ему людей», то «конечно, и они социалисты в своем последнем конечном идеале». «Но практическая жизнь, продолжает свои разъяснения Лопатин, убила в них веру в возможность осуществления ближайшими поколениями социалистического идеала, не только во всей его полноте, но даже и в очень значительной степени». Для Тихомирова, как и для Лопатина, все дело революции сводится к борьбе с «бюрократическим самодержавием»; «борьба на смерть» с ним «во имя социализма и всякого прогресса, есть главнейшая и настоятельнейшая задача данной минуты, заслоняющая собою или отодвигающая пока на второй план все остальное». Не надо усиленно доказывать, что такая постановка вопроса в деле борьбы с самодержавием отличалась от той, которую ставила себе Народная Воля хотя бы в дни первого марта. Лопатин договаривает до конца, когда утверждает, что эта точка зрения «более гармонирует с нынешним настроением русских революционеров, а в особенности русского общества». Именно последнее заслуживает здесь наибольшего внимания.

Когда Лопатину придется столкнуться с оппозиционерами и в иной форме с тем же вопросом о народе и социализме, он вновь в противовес им напишет своим парижским друзьям (26 апреля), что «в обществе, где верчусь я, держится твердо вкус к политическому террору и господствует скорбь о том, что нет фактов». «Общество», иными словами говоря, либеральствующие и радикальствующие слои тогдашней буржуазии и буржуазной интеллигенции—вот то, с чем хотел бы в этот момент считаться Лопатин, несмотря на то, что сам Лопатин пишет, что «общество отделывается только словами», особенно теперь. И если Тихомиров писал Лопатину, чтобы он «не убеждал глупцов, а привлек их блеском факта», то Лопатин не только под этим подписывался «обеими руками», но и заявлял в ответ, что «с этой идеей я уезжал

сюда, если я проповедывал с первого дня прибытия». Были бы только средства для этого: «дорого бы я дал теперь,—продолжает Лопатин, даже за своих Мишанек [Стародворского и Конашевича, убивших Судейкина], т. е. за пару «мясничков» и за какие нибудь 500 рублей. Не трудно теперь представить себе, как Лопатин будет толковать создавшееся положение и каковы будут предлагаемые им рецепты выхода из кризиса. Как это ни странно для бывшего члена Генерального Совета первого Интернационала и для друга Маркса и Энгельса, Лопатин был чужд понимания тех коренных перемен, которые совершались в это время в самых основах деятельности революционеров. О стремлении к «народу» он «думает, что в молодежи, где вращаются Серб и Казак [Н. М. Салова и В. И. Сухомлин], это ныне повальное стремление». Что положение дел было действительно таково, свидетельствует в своих воспоминаниях В. И. Сухомлин, по словам которого у оппозиции «фактически весь тогдашний революционный Петербург был в руках». Однако, Лопатин чужд стремлению найти хотя какие нибудь объективные причины этому, как он сам подчеркивает, «повальному стремлению». «Много причин» тому перечисляет Лопатин, и мы найдем здесь и то, что «политическая деятельность замерла» и «естественную реакцию временному одностороннему увлечению» (очевидно, политическим террором), и «наиболее пригодное дело для некоторых темпераментов», и то, «что даже в разгар настоящей политической деятельности лишь немногие знают и видят (хоть в перспективе) результаты»; наконец, что «было делать провинциальным группам за это грустное время?» «И вот,—резюмирует Лопатин,—наиболее искренние и деятельные тянутся к народу».

Но в том, что происходило, Лопатин не видел ничего значительного, считал это с своей точки зрения «настроением минуты». Он поэтому и был уверен, что оппозиционеры «не могут продержаться долго:—это немыслимо». Рецепт, которым Лопатин думал действовать против оппозиции идейно (о практическом действии—далее), был поэтому только политическим ходом. «Почему не выбросить настроению минуты то, что мы можем ему выбросить?,—писал он Тихомирову. Так как стремление в народ среди молодежи «повальное», то надо в статье, которую Лопатин предлагал написать Тихомирову «выставить приглашение в народ (столь желательное теперь многим), как развитие пункта старой программы, обусловленное современными обстоятельствами (ростом партии, т. е. умножением провинциальных групп)», причем варьируя ту же мысль в другом месте того же письма Лопатин предлагал употребить в мотивировке этого призыва в народ прием, с которым мы еще встретимся: надо было «*открыто* пригласить к усилению деятельности в народе, ввиду якобы *истощенного резерва* партии (отчасти фиктивного) и скудости иного *боевого* дела у провинциальных групп». Практически это не может «повредить». Наоборот, это привело»

бы к овладению оппозицией: «Ведь реальное распределение сил и раздача ролей совершается не статьями, а организацией, т. е. властями. А между тем, фактически, мы стали бы во главе и нового направления с должными организациями». Этот политический прием фиктивного примирения на основе фиктивных же аргументов Лопатин развивает вторично Тихомирову в том же письме в связи с полученною статьею Тихомирова, которая ему кажется «несколько вялою: некоторые крайне ценные мысли утоплены в соусе изложения». Однако, не в этом самый важный недостаток. В статье, пишет Лопатин, «нет горячего (хотя бы и фиктивного) приглашения в народ, согласного с вашими убеждениями, хотя бы и с должными ограничениями. Все ваши колебания и огорчения тут налицо. С одной стороны, вы говорите: «мы всегда советовали и советуем трудиться в народе». С другой, как бы испугавшись, как бы вас не послушались и не поперли все целиком к мужикам, вы прибавляете: «однако, вы не очень-то напирайте, ребята».

Думается, что после этих разъяснений мы можем перейти вновь к изложению хода событий, как они сложились к началу переговоров оппозиции и Распорядительной комиссии.

5. Переговоры распорядительной комиссии с оппозицией и их разрыв

Развитие событий не застало уже ряда лиц, поименованных на предшествующих страницах нашего повествования. Эти потери коснулись как оппозиции, так и приверженцев традиционного центра. Самым тяжелым ударом для обеих сторон были киевские аресты 4 марта 1884 г., тщательно подготовленные департаментом полиции. Как теперь нам известно из всеподданнейшей записки П. Н. Дурново от 12 декабря 1884 г. еще Дегаев указал на роль Якубовича в революционном движении; поэтому во время киевской поездки Якубовича его сопровождали два агента (мы знаем даже их фамилии: Антонов и Сергеев), которые проследили свидания его с М. П. Шебалиным. Тот месяц передышки, который дан был М. П. Шебалину, преследовал лишь одну цель—выяснить, в свою очередь, связи М. П. Шебалина. Когда эта цель была тоже достигнута, тогда судьба и киевского центра, и киевской периферии была решена. Этот крупнейший разгром унес у оппозиции ее прочное провинциальное ядро вместе с типографией, но он же унес и В. А. Караулова, первую жертву из состава созданного в Париже центра.

Киевские аресты, благодаря захваченным письмам и обнаруженным в них адресам перекинулись на Петербург, вызвав заодно и самостоятельные аресты по местному, петербургскому наблюдению. Петербургский мартовский погром захватил главным образом периферию, но не только ее: 9 марта был арестован К. А. Степурин, покончивший с собою впоследствии (20 февраля 1886 г.) в доме предварительного заключения; погиб в эти дни М. Протопопов, на

которого оппозиция возлагала литературные надежды, а 14 марта в Москве был арестован Стародворский. Несколько позднее в двадцатых числах марта, хозяйка лиговской типографии, С. А. Сладкова была вынуждена ее оставить, и 31 марта типография была открыта полицией. Таков краткий мартиролог мартовских дней, когда начались формальные переговоры.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что вначале это были не переговоры, а атаки оппозиционеров. На их стороне была реальная сила, на их же стороне было и естественное увлечение борьбою. К этим мартовским дням поэтому относится тот «любопытный обвинительный акт против Исполнительного Комитета поэта Петруччио в виде письма», о котором сообщает Лопатин парижанам 2 апреля. Озаглавленный в подлиннике «Письмо к товарищам»[1], этот «обвинительный акт» известен нам в копии, что влечет за собою некоторые недоговоренности. Именно, письмо говорит от «имени нижеподписавшихся членов различных организаций», но в копии этих подписей нет, и мы можем лишь догадываться теперь, по совокупности наших сведений, что этими организациями были Рабочая группа, Союз молодежи и, вероятно, петербургская центральная группа (если она существовала?). Направлено оно, конечно, против «юридически существующего центра», так как у подписавшихся нет «никаких осязательных данных для слепой веры» в то, что этот центр «стоит на правильном пути к разрешению этих спорных вопросов и обладает для того достаточными средствами». После обстоятельного изложения своей лойяльности в отношении созданной при Дегаеве организации вплоть до того момента, когда «карты, в которые шла с нами игра в течение целого года [т. е. года дегаевщины] раскрыты», авторы письма заявляли, что считают себя «в настоящую минуту, если не единственными вершителями революционных судеб России, то призванными к [illegible] делу с тем же правом голоса как и кто бы то ни было». Организационные выводы отсюда были сделаны авторами письма очень решительные: «некоторых лиц из центра» они «глубоко уважают», но силы этих лиц слабы; за то другие члены центра «или совершенно неизвестны нам по своему революционному прошлому или так давно выехали из России, что могут вступить, как нам кажется, в действующую организацию только на равных правах со всеми начинающими работниками». Отсюда и «желания» оппозиции, которые «прежде всего» заключались в том, чтобы очередной номер «Народной Воли» был составлен «здесь в России и с ведома представителей всех работающих в России групп», причем особенно было подчеркнуто значение передовой статьи, за

[1] [illegible] публикации этого письма в «Красном Архиве», т. 36, стр. 138—141, [illegible] апрелю. Дата письма Лопатина 2 апреля заставляет отодвинуть дату письма Якубовича к марту.

которую, как мы видели, уже до приезда Лопатина были поломаны копья. Чем было теперешнее требование относительно передовой, об этом также узнаем из письма Лопатина, в котором он сообщает, что оппозиционеры прежде всего потребовали помещения в очередном номере «Народной Воли» другой передовой, взамен привезенной из Парижа и написанной Тихомировым, в которой бы это «новое направление вносилось как исправление прежней ошибки, поведшей к ослаблению партии и т. п.». Мы не будем останавливаться на организационной стороне письма с его требованием выборного центра, так как об этой части письма мы уже говорили в другой статье. Однако, совершенно ясно, что эта часть рассуждений «письма» имела совсем не теоретический только характер: заявления в роде того, что «время Исполнительного Комитета прошло», всем острием своим, конечно, были направлены не в прошлое, а в ту группу, которая в настоящее время считала себя продолжательницей его дела.

Дегаевщина, организационный вопрос, фабричный и аграрный террор были теми вопросами, которые дебатировались в переговорах оппозиции и Распорядительной коммиссии. К этим вопросам сводит в своем показании от 28 мая 1885 г. суть разногласий Якубович, заявляя, что и «в понимании теоретической стороны революционного дела в России» существовала между обеими группами «весьма большая разница», а по вопросу о дегаевщине коммиссия не могла «дать подробных и вполне искренних обьяснений». По более общим выражениям его другого показания (от 24 мая) делегация «энергично» стояла за прежнюю ни в чем неизменную программу партии Народной Воли, и, поэтому, оппозиционеры «не могли не притти с нею в столкновение и по теоретическим революционным вопросам». Если дегаевщина обостряла отношения, то предметом дискуссии все же оказался главным образом террор. В не раз уже цитированных показаниях С. Иванова от 11—12 февраля 1886 г. он пишет, что «все время», которое он провел тогда в Петербурге (конец марта—начало апреля, 3—4 недели), «проходило в разговорах и дебатах по поводу нового направления аграрного и фабричного террора». Результатом этих разговоров и было, по словам Иванова, выделение оппозиции и образование ею отдельной партии. Как вел себя в этих, без сомнения страстных, спорах Лопатин, об этом он сам рассказывает в своих письмах, передавая свою аргументацию. Он, де, доказывал «красным петухам», как он со своим обычным пристрастием к словечкам обозвал оппозиционеров за аграрный террор, что они «раздражают общество» (это на первом месте!), что они «не сделают ровно ничего, только нашумят мерзких слов, а не сделают даже мерзких дел», что «если бы даже сделали, то восстановили бы против себя даже народ», что «даже в крепостное время из этого террора ничего не вышло и никогда не может выйти», что это всегда личный протест (как вооруженное сопро-

тивление или тюремные скандалы), а не система борьбы против общественных форм»; что пусть они сперва попробуют это дело на практике, а потом уже проповедуют печатно, до чего тогда «скверное не дойдет» и т. д., пока, под конец, им советовал не «срамиться проповедуя то, чего не будет». Но предлагая Тихомирову писать ту статью, которая должна была привлечь к Лопатину «всех благоразумных повстанцев», он не мог не сделать и здесь словесной и фиктивной уступки. Поэтому в предположениях Лопатина была затронута в очень туманной форме и новая постановка террора: члены партии не имеют-де права вызывать частных вспышек и единичных насилий, но в случае «самородных явлений» такого рода они становятся на сторону народа.

Две основные организационные ячейки оппозиции—Рабочая группа и Союз молодежи—вступили в свою очередь в конфликт с Распорядительной комиссией по тем же, конечно, вопросам. До крайности скудны наши сведения о шагах Рабочей группы в этот момент. Лишь отрывок письма Н. М. Флерова (найденный у него во время обыска) дает некоторые сведения о первой стадии переговоров Рабочей группы. «В конце марта», по словам письма, автор и некоторые его «знакомые» были вызваны Овчинниковым, который сообщил им, что «эмигранты хотят вести исключительно политическую борьбу, игнорируя все остальное, что они требуют тотчас же передачи со стороны других всех своих связей». К этому было добавлено Овчинниковым и еще кое-что о недоверии: Лопатин и его товарищи обвиняли-де в том, что «они не хотели ему показывать список лиц, которые должны быть арестованы, и лиц, известных за шпионов, вращающихся в радикальных кружках». На этом же первом собрании были приняты решения, которые объявили формальную войну Распорядительной комиссии; так «было решено в принципе не соглашаться с тою практическою программою» и—что еще важнее в организационном отношении—«тем более не передавать связей». Тут же была прочтена передовая статья для предполагаемого собственного органа. В сохранившемся отрывке письма описывается произошедшая несколько дней спустя встреча с «Старым»—несомненно, что здесь подразумевается Н. М. Салова, которая привела в негодование «знакомых» Флерова, ибо Н. М. Салова заявила Флерову в духе тех половинчатых формул, которые мы уже читали в письмах Лопатина, что «ставят самую широкую пропаганду и агитацию среди народа, что террор также признается, когда он является результатом желания данной фабрики, данного населения, когда он совершается сознательно рабочими». На этом обрываются наши сведения, и о дальнейшем мы можем судить только по наступившему вскоре факту разрыва.

Тогда также и Союз молодежи выступил с письменным заявлением по адресу Распорядительной комиссии. Центральный кружок Союза запрашивал в этом документе, почему Исполнительный Ко-

митет не соглашается на введение в программу фабричного и аграрного террора «в виду крайнего обострения этого вопроса». Ответ «С.-Петербургской делегации Исполнительного Комитета», давал чрезвычайно резкую отповедь центральному кружку. Прежде всего ответ отрицал самое право кружка ставить делегации какие либо вопросы, так как члены кружка, «как не позаботившиеся стать в правильные организационные отношения к Исполнительному Комитету, не могут рассчитывать на то, чтобы их заявления были бы принимаемы во внимание в качестве заявлений подлинных членов партии». Далее, именно на кружок, как на «впервые возбудивших вопрос», ответ возлагал «письменную аргументацию и мотивировку» требования о введении террора. Заключительная часть ответа, однако, все же не соответствовала всему его тону. Подобно только что изложенной примирительной встрече Н. М. Саловой с Флеровым и в тоне ответа Союзу молодежи было столь же примирительно добавлено, что «если подобная мотивировка последует, то, конечно, вопрос этот будет внесен на обсуждение представителей партии на первом же их общем собрании, которое одно только имеет право изменять общепартийную программу».

Итак и то, что мы видели в виде дипломатических ходов Лопатина в литературной сфере, и то, что мы теперь видим в виде непосредственных переговоров, как будто делало возможным какой-либо компромисс. Конкретный ход переговоров к тому же облегчался для Распорядительной комиссии тем, что провинциальные представители, А. Н. Бах и С. Иванов, были на ее стороне, хотя, повидимому, и не без оговорок. В одном из своих писем Лопатин прямо писал о том, что «Кощей» (А. Н. Бах) его «сильно поддержал в стычке с Поэтом», «говорил так, как будто бы заранее спелся с нами в Париже» и Лопатин настаивал на «немедленном» ответе: «согласились ли бы» парижане «на принятие в центр» А. Н. Баха. Как была встречена в Петербурге Распорядительная комиссия оппозицией, об этом великолепно говорит показание Якубовича от 28 мая 1885 г. Он здесь прямо пишет о «появлении на сцене неизвестного нам комитета», которое для петербуржцев было «положительным deus ex machina» и «признать» его они-де, «могли только после конкретного и ближайшего с ним ознакомления». Конечно, при таких условиях, говорит Якубович, «у обеих сторон не могло быть друг к другу полного доверия». Впрочем, мы не знаем деталей переговоров и не можем полностью восстановить их хода. Но борьба эта шла в необычайно резких формах, так что даже арест противника встречался со вздохом облегчения. Достаточно указать хотя бы на письмо А. Н. Баха Лопатину, писанное 18 сентября, когда уже все улеглось; Бах под влиянием действий молодых народовольцев в Казани жалеет в письме о том, что «Петруччио (кличка Якубовича) до сих пор не провалился, чего я ему всегда желал и теперь от души желаю». В. И. Сухомлин аналогично пишет в своих воспоминаниях, что

«Овчинников, к счастью для дела, вскоре был арестован». Лопатин в одном из своих писем сообщает, что он не «думает», «чтобы Петруччио был провокатором или шпионом (доказательства после)». А «озлобленная критика» и «сплетни пущенные в ход так называемым «Дедом» (Овчинниковым), по словам письма Лопатина привели к тому, что он «отчитал» Овчинникова однажды «за эти сплетни, и отчитал в такой форме, которая чуть ли не была главною причиною окончательного разрыва с «красными петухами». Колебания этих переговоров иллюстрируются в некоторых отношениях воспоминаниями А. Н. Баха. То был момент, когда «казалось, мы совсем пришли к соглашению на том, что раньше всего необходимо объединить все наличные народовольческие силы, а затем уже ставить на очередь вопрос о внесении поправок в программу», то опять шли заявления о том, что «никакое соглашение между старой и молодой Народной Волей немыслимо».

В письме от 2 апреля, которое непосредственно предшествовало разрыву переговоров, Лопатиным сжато изображены и их ход, и сложившиеся отношения. «Сначала они требовали передовицы (главной статьи), где это новое направление вносилось бы как исправление прежней ошибки, поведшей к ослаблению партии и пр. Теперь они согласны настаивать на усилении деятельности в народе, как на простом развитии сил партии, как на ее естественном росте. При этом раскольники (поэт Петруччио и «сотоварищи») требуют все-таки открытой (программной) постановки «мужицкого террора». Более степенные (Зенка, Кащей) [Иванов и Бах] согласны поступиться «явным оказательством» этой ереси, но под условием все-таки очень яркого указания на необходимость усиления деятельности в народе».

После в общем непродолжительных переговоров (как помним, Лопатин приехал в Петербург 14 марта) в первых числах апреля произошел окончательный разрыв, и 13 апреля, в ответ на совет парижан «развязаться с иными людьми», Лопатин мог им сообщить, что «это уже сделалось», что «они отщепились от нас и скоро выпустят свой орган, который я предлагал им назвать «Красный петух». Название новой группы еще не было известно и Лопатин неуверенно пишет, что «сами себя они именуют, кажется «Молодой фракцией партии Народной Воли».

Итак, разрыв стал фактом и с этого момента наступило самостоятельное существование новой народовольческой партии, которая действительно приняла название «Молодой партии Народной Воли».

6. Деятельность «Молодой партии Народной Воли»

Главная роль в новой партии принадлежала, конечно, рабочей группе. Еще относительно того момента, когда Молодой партии, как таковой, не существовало, и когда существовал только фракци-

онный центр оппозиции, И. И. Попов, антиципируя названия (а отчасти и факты) называет «временный комитет Молодой партии Народной Воли» «собственно нашим комитетом Рабочей группы, дополненным Якубовичем и Овчинниковым». Когда тотчас после отделения был составлен центральный комитет Молодой партии из пяти человек, в состав его, как сообщил нам Ф. В. Олесинов, вошли Якубович, Флеров, Мануйлов, Ф. В. Олесинов и, кажется, Ермолаев. Все они, кроме Якубовича, принадлежали к Рабочей группе. Однако этот состав отнюдь не гарантировал идейного единства, потому что в среде самой рабочей группы не было единства мнений: наряду с сознанием происходящих перемен были традиции старого, хотя и в известных только рамках. Некоторые из прежних взглядов были уже настолько неприемлемы, что их представителям приходилось уходить из группы. Таков, напр., взгляд (не буду ни в коем случае утверждать, что он когда либо был официальным или даже только общим взглядом Народной Воли в какой либо период ее деятельности, но партизаны этого взгляда были в свое время значительны количественно) взгляд на задачу деятельности среди рабочих, как на задачу воспитания отдельных лиц для участия в политической борьбе. Этот взгляд теперь для рабочей группы был несовместим с принадлежностью к ней. Из письма Якубовича к Тихомирову от 31 октября 1884 г. мы узнаем относительно В. П. Моисеева, что он вышел весною 1884 г. из состава рабочей группы. Почему? Сам Якубович точно отвечает на этот вопрос: «взгляды его [Моисеева] на рабочее дело—старого закала: выработка отдельных лиц, главным образом для политической борьбы и на ее почве».

Перед новой партией, с первых же шагов ее деятельности, стоял ряд важнейших задач. Надо было завоевать провинцию; надо было наладить литературно-издательское дело; надо было для этого, в свою очередь, поставить технику, т. е. устроить типографию, так как ведь погибли обе прежние типографии, и киевская, и лиговская. Однако, как это ни было парадоксально, Молодая партия принялась прежде всего за дело, против которого она поломала столько копий и которое поставила себе задачей выполнить, о чем знали молодые, сокрушаемый ими противник— Распорядительная комиссия. Как ни отрицал в своем покаянном письме Тихомиров, что на парижском съезде был решен террористический акт против тогдашнего министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого, он в первых же своих письмах твердил Лопатину о необходимости «факта», и Лопатин действительно именно это дело считал основною своею задачею, наряду с выпуском № 10 «Народной Воли». Это был, конечно, чистейший акт того политического террора, против которого так возбужденно протестовали молодые. Если же, начиная свою политическую карьеру, они первым делом задумали террористический акт не против какого нибудь Гессе или Бобринского, как

они ранее декларировали, а против того же Толстого, то это свидетельствовало лишь о том, как они сами мало освобождались от той традиции, против которой боролись. Как бы то ни было, но что этот акт против Толстого должен был явиться первым открытым выступлением новой партии—об этом слишком много известий для того, чтобы можно было в этом сомневаться. И. И. Попов и В. А. Бодаев в своих воспоминаниях в общем согласно свидетельствуют о том, что этот акт должны были выполнить совместно Флеров и рабочий Н. Богданов. Предприятие это постигла неудача, окончившаяся без внешних катастрофических последствий для ее участников. Однако, объясняя эту неудачу мы входим в круг совершенно других вопросов с которыми нам еще ниже придется столкнуться. Эта попытка покушения получила огласку. 4 мая Лопатин писал парижанам о том, что в «министерстве внутренних дел имеются сведения, что готовится покушение на жизнь Толстого». «Это, добавил он ядовито, вероятно красные петухи кукурекают повсюду про свои и чужие будущие подвиги». Действительно, Лопатин был прав, ибо департамент полиции был осведомлен об этой попытке молодых. Почему он не «ликвидировал» ее? На это ответ найдем [illegible], хотя его и теперь нетрудно предугадать: значит, она не казалась департаменту полиции опасной, и не было у него опасения, что новая попытка может остаться ему неизвестной.

Завоевание провинции—очередная задача, раз молодые поставили себе задачею создать новую партию,—было нелегкою задачею, так как юг был представлен в данный момент, в виде своих петербургских представителей, сторонниками традиции. Единственным средством была посылка своих агентов, которые бы на месте завоевали и местные организации. Именно для этой роли на юге была предназначена Г. Н. Добрускина, отправленная молодыми в Ростов на Дону, куда потом уехал для этой же цели и местный человек, студент технолог М. С. Козлов. По воспоминаниям А. Н. Баха можно установить обстоятельства постигшего их в Ростове фиаско. В Казани связи скорее всего даны были В. Л. Бурцевым, бывшим казанским студентом, теперь примкнувшим к молодым. По словам воспоминаний А. Н. Баха туда были посланы молодыми Кугушев и Бурцев. Однако, этим дело не ограничилось. Из уже цитированного сентябрьского письма (1884) А. Н. Баха Лопатину мы узнаем, что, повидимому с казанским студентом К. Алкиным (он не назван и потому приходится говорить гадательно), «Петручио преподлую штуку выкинул». Продолжая в том же тоне А. Н. Бах сообщает, что Якубович «прежде всего закатил ему послание в три страницы об аграрном терроре и предложил ему присоединиться к Молодой партии». Спустя же некоторое время Якубович потребовал, по словам этого письма, от адресата (Алкина?) «как можно больше денег», причем «возвестил, что, быть может, еще до получения этого письма он, татарин, услышит о великом

и потрясающем событии». Не будем цитировать той квалификации, которую этому акту дает А. Н. Бах. Но и в Казани молодым связей, повидимому, наладить не удалось.

Только в Москве, куда поехал Н. М. Флеров, дела приняли оборот в полной мере благоприятный для Молодой партии. Как указывает Якубович в своем показании от 28 мая, с московской (центральной) группой уже «в конце марта были завязаны оживленные сношения», а когда образовалась Молодая партия, то московская группа «всецело вошла в ее состав». То же читаем и в воспоминаниях М. Р. Гоца, который имел возможность называть фамилии: по его словам (надо сговорить, что Гоц передает с чужих слов и не вполне точен) именно Флеров в Москве «почти совершенно убедил и привлек на свою сторону центральную организацию». Но Молодая партия ведь только начинает действовать, и московский успех, даже при неудачах первых слабых попыток в других местах, значил не мало. Таковы в данный момент были организационные дела молодых.

Местом устройства новой типографии, где должна была печататься программа партии и ее орган «Народная борьба», оказался Дерпт. Именно оказался, а не был выбран, так как тут молодым еще в тот момент, когда они не выделились окончательно, пришел на помощь случай. В. Н. Перелыев, дерптский студент, когда то чернопеределец, предложил в марте 1884 г. свои услуги по организации типографии в Дерпте. В мае типография была налажена, и туда уехал для постоянной работы Якубович. 29-ым мая 1884 г. помечено было отпечатанное в качестве первого продукта этой типографии программное объявление «От Центрального Комитета Молодой партии Народной Воли» (с датой 20 мая). Объявление это не было единственным литературным продуктом Молодой партии. Когда после смерти Переляева (1885) у него была найдена сохраненная им, но ликвидированная временно после ареста Якубовича типография, то среди отпечатанных листов оказалось также на восьми страницах начало брошюры (или может быть передовой для будущей «Народной борьбы») под заглавием: «В защиту нового течения мысли в партии Народной Воли». К сожалению, эта последняя вещь нам остается совсем неизвестной. Зато немногие экземпляры программного объявления сохранились, и на анализе этого документа нам надо остановить внимание читателя.

В предыдущей статье было указано не мало фактов, характеризующих новые условия городской деятельности народовольцев, городской, ибо в деревне Народная Воля и ранее, а тем более теперь не действовала и не предполагала действовать. Перед нами прошел и ряд документов, программных и организационных, а также ряд показаний, которые характеризовали прошение ... так, как его понимали и истолковывали сами деятели. Мы могли убедиться, что отнюдь не все сознавали ясно происходившие перемены, что, если,

напр., Якубович, так резко подчеркивал значение деятельности именно среди рабочих, а не среди крестьянства, и сам резко отмежевывался этим от идеологии тогдашних народников, то напр. Мануйлов, теперь сотоварищ Якубовича по Центральному Комитету Молодой партии, смотрел на происходивший кризис сквозь очки народнического идейного рецидива. Точно также, напр., когда петербургская рабочая группа в феврале выпустила недошедшее до нас воззвание к рабочим Балтийского завода, то один из основных деятелей группы, позднее социал-демократ, Н. М. Флеров, протестовал против него, так как оно, по его словам, имело одно «классовое содержание», что, значит, для большинства группы, в свою очередь, было вполне приемлемо. Итак, оппозиционерам или по теперешнему—молодым народовольцам было далеко до идейного единства, и та основная линия, которую мы выше пытались начертить, должна была испытать не одно колебание в тот момент, когда в ответственнейшем документе приходилось объединить весь парламент мнений. Программное извещение, о котором идет у нас теперь речь, испытало в полной мере судьбу подобных документов.

Однако все же, даже и при традиционной фразеологии и неизмененных компромиссах, в нем достаточно нового. При значительном объеме (около четверти печатного листа) оно в систематизированном виде повторяет знакомую уже нам аргументацию, как это и надо было сделать при первом выступлении в публику, незнавшую деталей, а то и сути происходившего в рядах Народной Воли разрыва. Степень же разрыва в этот момент, когда считающие себя все же «частью» Народной Воли «молодые» решились на изменение традиционных форм и названий «и на то, чтобы выкинуть отдельное знамя»,—степень этого разрыва характеризуется уже неустойчивой надеждой, что «разделение временное», однако такое, что не молодых, а, по мнению объявления именно старых народовольцев «ближайшее будущее убедит... в ошибочном понимании смысла настоящей исторической минуты и позволит, не насилуя убеждений, слиться с нашим течением».

Та перемена, которая вносится выступлением молодых «в традиционное знамя Народной Воли с ее славным Исполнительным Комитетом», хронологически определяется нелишенной интереса датой 1882 г., когда именно была возобновлена деятельность среди рабочих той группой, которая в Центральном Комитете теперь играла руководящую роль. И как прямо заявлено тут же следом, Центральный комитет исходит из иного «отношения к различным слоям и классам населения», чем исходила Народная Воля в дни «выхода № 8—9 Народной Воли», т. е. все в том же 1882 г. (№ 8—9 помечен 5 февраля 1882 г.) Нам известно, что Якубович читал брошюру Плеханова о «Социализме и политической борьбе», и она несомненно оказала на дальнейшие рассуждения «Объявления» свое влияние. Уже у Плеханова имелось критическое замечание, что

«партия Народной Воли рассчитывает не на один только рабочий и крестьянский класс и даже не главным образом на эти классы», но что она имеет в виду также и общество». «Объявление» Молодой партии как бы принимает этот тезис и именно против «общества» направляет свою аргументацию; ибо если у революционной партии не хватило сил для того, чтобы «взять на себя почин серьезного политического переворота», то «в русском обществе не оказалось» «другого сильного слоя, заинтересованного в том же перевороте». Таким образом, проблема «слоев и классов населения» теперь должна быть поставлена по новому. Народная Воля должна занять иную позицию, и «Объявление» ее формулирует достаточно отчетливо: революционная партия должна стремиться к «действительной, реальной связи с народом, такой связи, которая делала бы партию в глазах рабочего люда несомненно поборницею его интересов». Выясняя далее характер этой связи с «рабочим людом»,— думается, не без некоторого влияния той же брошюры Плеханова,— молодые начинают опять с полемики против той практики, которая характеризовала деятельность Народной Воли среди рабочих. Именно, «так называемые рабочие группы того времени (т. е. периода 1879—1882 г.) главные свои усилия напрягали на выработку из отдельных намеченных в рабочей среде личностей политических террористов». «Движение 1882—1884 гг.» направлено, по словам Объявления против этого чисто политического уклона, как направлено оно и против традиционного народнического аполитизма: сочетание политической борьбы и «пропаганды идеи социальной революции в народе» должно стать задачею партии. Но, по словам Объявления, «воздействие на народные массы, в смысле привлечения их к социальной революционной борьбе», возможно будет только тогда, когда «социально-революционная партия вмешается в стихийную, беспрограммную борьбу народа с его притеснителями-эксплуататорами, осветит эту борьбу социально-революционными принципами, поддержит ее не словом только, но и делом—и этой поддержкой сплотит и соединит в одно и свое, и народное дело». Та же мысль несколько варьируется в другом месте «Объявления», где говорится о необходимости показать народу «тесное живое родство его насущных нужд и потребностей с проповедуемыми партией социалистическими идеями и с мало понятной ему политической борьбой». Конечно, в «Объявлении» проскальзывают и такие формулировки, что оба вида борьбы идут «параллельно и рядом» и т. п., но мы можем уже не останавливаться на моментах народнической традиции в этих попытках выйти на новые пути революционного действия и мышления. В «Объявлении» фигурирует и аграрный, и фабричный террор, в нем есть декларация о новых формах организации, но все это уже знакомые по прежнему изложению мотивы.

Программа была отпечатана, но ей не было суждено увидеть свет. Именно в этот момент, в конце мая, Якубович уехал в Петер-

бург для новых переговоров с представителями Распорядительной комиссии и пришел с ними к соглашению о слиянии; объявление оказалось ненужным и было уничтожено почти целиком в типографии. Литературный дебют Молодой партии оказался и последним актом ее деятельности. Однако, как выше с делом о покушении на Толстого, так и в этом деле с изданием самостоятельного извещения и с выступлением на самостоятельную политическую арену, Молодая партия действовала под неусыпным наблюдением департамента полиции. Доказательством тому один любопытный документ, сохранившийся в делах департамента полиции. Это—записка для памяти, представленная министром внутренних дел Толстым Александру III, 31 мая 1884 г. Толстой сообщает о действиях молодых народовольцев, об их совещании с приехавшим из Дерпта Якубовичем и об их намерении отпечатать свою программную прокламацию. «Предполагается допустить,—пишет Толстой,—издание этих листков, так как с их появлением в обращение окончательно упраздняется прежняя подпольная организация с эмигрантами во главе, опасная потому, что в ее среде нет секретных агентов, и противоправительственные элементы, находящиеся внутри России, получают возможность группироваться около такого центра, каждый шаг членов коего может быть известен полиции». Теперь мы знаем, что одним из этих агентов был знаменитый впоследствии Геккельман-Ландезен, тогда еще только дерптский студент, имевший под своим наблюдением дерптское литературное предприятие молодых народовольцев. Другой отмечен в недавно вышедших воспоминаниях Бурцева, но Бурцев скрыл его почему то под инициалами. Вот при таких внешних обстоятельствах развивала свою деятельность Молодая партия.

Теперь мы можем перейти к последнему моменту нашего изложения, к истории прекращения самостоятельного, столь недолговременного, существования Молодой партии Народной Воли.

7. Ликвидация «Молодой партии» и откол рабочей группы

В то время, как Центральный Комитет Молодой партии столь разносторонне и в сфере организационной, и в сфере литературной принимал меры к упрочению и расширению своего влияния, в это же время Распорядительная Комиссия в свою очередь в лице всех своих членов и агентов повела энергичную политику не только воспрепятствования этому расширению (что нагляднее всего произошло в Ростове), но и отвлечения от Молодой партии тех, кто составлял ее основные кадры. Лопатин опять здесь действовал не без политики, принципы которой он с обычным юмором изложил в одном из своих писем парижанам. После постигшей Лопатина в Петербурге неудачи он отправился в Москву, где, как мы видели, образовалась при участии Флерова молодо-народоволь-

ческая организация. «Действуя самостоятельно,—пишет Лопатин 17 июня о происшедшем соединении,—я не повторил нашей, петербургской ошибки, т. е. не обращался к «королькам» (главарям кружков), заинтересованным лично в независимости, близкой к федерации и т. п., а прямо «к народу», т. е. беседовал непременно с целыми группами, а не с отдельными лицами. Я называю все это «фланговым движением». Однако, конечно, дело было не только в том, что Лопатин обращался непосредственно к «народу». В этом же письме и даже на первом месте, он сообщает, что «много содействовала состоявшемуся слиянию с петухами» присланная Тихомировым «статья против аграрного террора», которую Лопатин «читал здесь многим», которая «положительно нравилась всем» и которую, что, пожалуй, самое важное во всей этой части сообщения, Лопатин читал «с собственными комментариями». После тех письменных советов относительно фиктивных средств овладения положением, которые Лопатин за месяц до этих своих переговоров предподносил Тихомирову, нетрудно угадать и содержание московских «собственных комментариев» Лопатина, тем более, что статья Тихомирова (она напечатана в виде второй передовой в «Народной Воле» № 10) никаких уступок в деле фабричного и аграрного террора не представляет, называя его «делом частной мести», «личным делом» и т. д., участвовать в котором «для партии—это позор, это всенародное признание своей политической бессодержательности».

В Петербурге, где оставались В. И. Сухомлин и Н. М. Салова, приемы действий были аналогичны. К сожалению, мы осведомлены только относительно одного, хотя и любопытного, участка борьбы. Мы выше видели оппозиционное выступление Союза молодежи и полученную им отповедь. Алексей Кирпищиков, уже давший нам своими показаниями возможность восстановить некоторые эпизоды истории Союза молодежи, приходит здесь нам вновь на помощь. Он рассказывает о двух собраниях Союза молодежи, которые происходили в конце апреля и в мае, т. е. тогда когда разрыв был уже совершившимся фактом. Первое собрание Центральной группы Союза состоялось на квартире члена ее, А. Достакова, как говорит Кирпищиков «помимо ведома Якубовича, желавшего, повидимому, служить единственным посредником Союза с партией Народной Воли». На этом собрании главную роль «играл представитель партии Народной Воли», которым оказался В. И. Сухомлин. Отвечая на «делаемые ему вопросы», В. И. Сухомлин «заявлял, что действительно существуют недоразумения между старой организацией партии и так называемой Молодой партией Народной Воли, поднявшей вопрос о необходимости фабричного и аграрного террора, но что, тем не менее, организация партии сильна и что дегаевский эпизод был для самой партии неожиданностью». В. И. Сухомлин также «полемизировал против уместности фабричного террора и указывал, что подобный террор мог бы скорее дискредитировать

партию в глазах общества». На втором собрании присутствовала Н. М. Салова, которая «нового ничего не говорила». Союз решил держаться выжидательного образа действий, не примыкая пока формально ни к старой организации, ни к Молодой партии Народной Воли, дабы сохранить за собой в будущем полную свободу действий».

В Москве дела пошли лучше, и Лопатину удалось сделать Москву исходною точкою примирения. В этом отношении не без значения было и то, что в Москве Лопатину пришлось иметь дело с Флеровым. Уже в самом начале, в марте месяце из всех молодых Флеров менее других, повидимому, был склонен к разрыву. В. И. Сухомлин рассказывает в своих воспоминаниях, что при первых встречах с Флеровым (это было еще до приезда в Петербург Лопатина) Флеров произвел на него впечатление «товарища старой закалки» и «не особенно настаивал на необходимости образования новой народовольческой партии». Мы видели и попытку политического террористического акта со стороны Флерова, видели и его отношение к «классовому моменту» в литературе. Все это делает отчасти понятным московский успех Лопатина.

«Когда Блюм (это и есть Флеров),—пишет Лопатин в том же цитированном письме,—сказал мне, что он присоединяется к нам и поедет в СПБ присоединить своих, я принял это как должное, и не сделал для него никаких уступок». Однако, вопрос об условиях слияния оказался гораздо сложнее, чем то показалось увлеченному своим успехом Лопатину. Все там же сообщая о результатах поездки Флерова в Петербург Лопатин писал, что «теперь, вернувшись, он говорит, что Серб (т. е. Н. М. Салова) сделал им кое какие уступочки, вот почему я спешу съездить поговорить лично с этим последним». И Лопатин должен был в этот момент признать, что «суть соглашения не вполне ясна и мне самому».

Итак, конечные нити дела лежали все же в Петербурге. К сожалению, мы не знаем ни деталей, ни даже общего хода петербургских переговоров. Главнейший источник о них, воспоминания И. И. Попова, разноречив в отдельных своих версиях (И. И. Попов писал несколько раз об этом эпизоде) и содержит к тому же некоторые хронологические и фактические неточности. Некоторые существенные данные есть и в показаниях Якубовича, хотя и скупые, так как Якубович отказался «объяснить в лицах и в подробностях ход этих вторичных переговоров». Якубович признает, что «именно нашими московскими товарищами первыми была энергично затронута мысль о необходимости слияния», но в то же время пишет, что переговоры «начались одновременно в Петербурге и Москве». Как бы то ни было, они были доведены до конца и действовавшая в течение почти двух месяцев Молодая партия официально заявила о прекращении своего существования. Документ, свидетельствующий об этом слиянии, был напечатан в № 10 «Народной Воли», и по нему

мы можем судить о компромиссном характере состоявшегося примирения. Во вводной заметке к заявлению молодых народовольцев редакция сообщала своим читателям, что печатаемое ею заявление принадлежит одной из фракций, которая недавно намеревалась выделиться из общей организации, но после «удовлетворительных взаимных объяснений» вступила «снова в состав общей народовольческой организации». Молодые народовольцы не отказывались в этом заявлении от своих еретических взглядов; им «казалось и до сих пор кажется, что пришло время внести некоторые серьезные поправки в строй организации и в программу партии. То, что при наличии разногласий они примкнули к Исполнительному Комитету, заявление объясняет тем, что теоретическое расхождение в настоящее время не привело бы «к такому разногласию в практической постановке вопросов, которое бы делало необходимым разрыв организации на две части», а также и то, что молодые увидели с другой стороны «искреннее желание предоставить возможно широкий простор личным мнениям и взглядам с целью лучшего выяснения многих вопросов, поставленных на очередь революционной практикой».

В тот момент, когда было осуществлено это слияние и Молодой партией были переданы Распорядительной комиссии все ее «связи и учреждения», среди которых была и такая важнейшая вещь, как дерптская типография, обе стороны все же действовали, настораживаясь и не доверяя друг другу. Оценивая факт слияния, Якубович в первоначальный момент даже не хочет назвать его слиянием. Он пишет, что «это была первоначально именно попытка соглашения, перемирие, как говорит и ключ, установленный потом между редакцией 10 № и мною для переписки между Петербургом и Дерптом». В другом месте, оценивая напечатанное в «Народной Воле» заявление, Якубович еще определеннее пишет, что если в этом заявлении «еще и не видно *такого полного и безусловного* (подчеркнуто Якубовичем) слияния, то отчасти потому, что оно произошло несколько позднее доставления этого заявления из редакции в типографию». Об этом же окончательном примирении писал Лопатин Галине Чернявской 11 августа 1884 г., сообщая, что «красные петухи позабыли понемногу свои раздоры и жмутся к нам самым милым образом».

Однако, эта сдача позиций должна была вызвать протест именно в той части молодых народовольцев, которые были по существу дела главными двигателями всего принципиального дела раскола. Мы видели (в предшествующей статье) ту почву, на которой вырос протест против народовольческой традиции, видели, что именно рабочая группа Народной Воли играла руководящую роль в создании нового течения, которое отвечало бы основным формам деятельности Народной Воли в эту эпоху. Естественно, что рабочая группа не пошла на этот акт отказа от осознанных ею потребностей. И Якубович признает, что «не вся Молодая партия слилась с Исполнительным

Комитетом часть ее осталась при прежних своих убеждениях и продолжала действовать самостоятельно под названием «Петербургской рабочей группы», так как носить название «Молодой партии» она не имела права, составляя лишь часть всей «Молодой партии». Это показание Якубовича подтверждается всецело дошедшими до нас документами, как и некоторыми другими не дошедшими и известными лишь по упоминаниям. Н. М. Салова прислала в Одессу Александру Кашинцеву летом 1884 г. одновременно с заявлением присоединившихся молодых также и заявление Петербургской рабочей группы. Начинается этот документ, в противовес состоявшемуся слиянию, категорическим заявлением, что «Петербургская рабочая группа не вступает ни в какие обязательные отношения к Исполнительному Комитету». Вопрос же об общих отношениях к Исполнительному Комитету, как только что было указано группой, обусловлен интересами рабочего дела. Именно, группа заявляет далее, что она уважает и не считает деятельность его (т. е. И. К.) враждебною деятельности группы среди рабочих, в силу чего находит необходимым поддерживать в среде рабочих уважение к действующей партии». Никаких постоянных связей между рабочей группой и Исполнительным Комитетом (так, по-видимому, в просторечии именовалась Распорядительная Комиссия) не должно существовать: «связи с центром, — гласит далее заявление, — поддерживаются группою *в каждом данном случае* (подчеркнуто в подлиннике), когда та или другая сторона, находя необходимым и возможным совместное участие в том или ином деле, приходит в то или иное соглашение по этому делу». Понятно, при таких условиях, стремление группы оберечь себя от вхождения чуждого элемента. Так, если Исполнительный Комитет рекомендует рабочей группе своего человека, то «рабочая группа думает принимать его, когда он совершенно согласен с их программою, при чем введение такого лица в центральную организацию [разумеется, центральную организацию рабочей группы] ни в каком случае не определяется рекомендацией Исполнительного Комитета, а лишь знанием этого лица рабочей группой». Прием в группу лица, несогласного с программой группы, может иметь место, но «лишь применительно к каждому отдельному случаю». Наконец, затронут был, на ряду с этими организационными проблемами, и вопрос программный, причем разрешен в столь же категорических, хотя и несколько мягче формулированных положениях. «Что касается,—читаем мы в заключительном абзаце заявления Петербургской рабочей группы,—до принципиального расхождения Рабочей группы с Исполнительным Комитетом, то мы первый раз в толкованиях программных вопросов Комитета стараемся стать на точку зрения Комитета, при чем не упускаем из виду критическое отношение к ним с нашей точки зрения». Сохранилось и показание автора этого документа, Ф. В. Олесинова, который после предъявления ему показаний Флерова

(в этой части, к сожалению, не дошедших до нас) заявил, что Флеров несколько раз приходил к нему «для бесед о Петербургской рабочей группе и об ее программе» и что только-что цитированная рукопись должна была быть передана Исполнительному Комитету Народной Воли «как выражение тех оснований, по коим рабочая группа считает нужным отделиться от партии».

Итак, рабочая группа не примирилась с ликвидацией Молодой Народной Воли и вступила на путь самостоятельного существования, приступив затем и к выработке собственной программы. Тот же Ф. В. Олесинов явился автором новой, недошедшей до нас программы рабочей группы; о ней мы можем судить только по позднейшему указанию Якубовича в его письме к Н. Н. Попову, что эта программа «конечно, есть повторение программы создавшегося было Центрального Комитета «Молодой партии» и что она добивается главным образом «признания фабричного террора» отметим, что об аграрном терроре, который и ранее стоял на втором месте, теперь нет никакого упоминания.

Что взаимоотношения между обими группами и позднее не улучшились, тому доказательство то же ноябрьское письмо (1884 г.) Якубовича Н. Н. Попову, в котором он на протяжении половины печатного листа убеждает рабочую группу закончить «внутреннюю братоубийственную войну». Письмо это так и не дошло по адресу, и мы видим существование рабочей группы и далее. Однако дальнейшая история рабочей группы выходит уже за пределы нашей темы.

С. Рейсер

Новые материалы о Бенни

Судьба Бенни и история его деятельности, в сущности еще никем не изучены. «Шепотники и печатники»[1] 60-х годов установили за Артуром Бенни славу шпиона. «...Ведь я и Бенни были шпионы III отделения»... Это писали Курочкин и Василевский с Баталиным и Нил-Адмирари и tuti fruti» писал Лесков А. С. Суворину в 1888 г.[2] Едва ли не самое раннее письменное указание на эти слухи находится в интересном письме В. И. Ламанского И. С. Аксакову от 30 ноября 1861 года из Петербурга:

«Знаете, меня недавно положительно уверяли, будто Б [енни. *С. Е.*] оказался шпионом, поляком Бениславским. Но что значит это имя в программе Павлова?»[3]

В. И. Ламанский совершенно прав: Бенни оказался Бениславским. Собственно даже не оказался, а был им всегда. Настоящая фамилия Артура Ивановича Бенни (1839—68)—Бениславский. Лесков отрицает это в «Загадочном человеке», видимо, из соображений тактических.

В Пушкинском Доме Академии Наук СССР хранятся три неизвестные до сих пор письма Бенни к И. С. Тургеневу. Последний, как известно, относился к Бенни неизменно сочувственно. Узнав о его смерти он писал Анненкову: «Бедный Бенни о котором я сам хлопотал и просил вас хлопотать, умер недавно от раны, полученной им под Ментаной. Все кончено для него. Жалко этого доброго легкомысленного человека, которому невесело пожилось на земле»[4].

Вскоре после того Тургенев уже печатно выступил в защиту памяти Бенни. В ответ на помещенный в «Санкт-Петербургских Ведомостях» некролог Бенни (1868, № 37 от 7 февраля), он обратился с

[1] Так называется одна неизданная, к сожалению, до сих пор, полемическая статья Н. С. Лескова, хранящаяся в архиве Андр. Ник. Лескова.

[2] Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1917, с. 76.

[3] О. В. Покровская-Ламанская. Переписка двух славянофилов. «Русск. Мысль», 1917, II, с. 82.

[4] 19 (7) января 1868 г. из Баден-Бадена. «Русск. Обзор». 1894, № 2, с. 486.

открытым письмом к издателю «Ведомостей» В. Ф. Коршу, с горячей защитой его имени. Письмо это было напечатано в № 52 (от 23 февраля).

В архиве Полины Виардо, недавно описанном А. Мазоном, находится неопубликованный, пока к сожалению, черновик озаглавленный Тургеневым так: «Проект адреса государю, писанный в 1860 году. Он был вручен Бенни—но впоследствии истреблен». (André Mazon, Manuscripts parisiens d'Ivan Tourguénev. Wotices et extraits. Paris, 1930, p. 60. Bibliothèque de l'institut français de Leningrad, Tome IX).

Повидимому это и есть тот адрес, под которым Артур Бенни намеревался собирать или может быть и собирал подписи.

Если не считать 2 писем Бенни к Н. М. Владимирову, опубликованных в свое время М. К. Лемке, в его книге «Очерки освободительного движения 60-х гг.» (Изд. 2-ое, СПБ. 1908, с. 69), никакие письма Бенни до сих пор в печати не появились. Но интерес настоящей публикации не только в этом. Письма дают возможность выяснить ряд неизвестных до сих пор деталей знакомства и отношений Бенни и Тургенева и дают представление о том, видимо очень тяжелом положении, в каком находился Бенни после изгнания его из России по постановлению сената. «Слоняюсь... по Европе», «перебиваюсь кое как» и т. д. пишет он Тургеневу.

Наконец, письма дают возможность критической проверки известного очерка Н. С. Лескова «Загадочный человек». В самом деле достоверность некоторых из сообщаемых Лесковым эпизодов может быть взята под подозрение. А в связи с этим получает свой смысл и интерес опубликование неизданного письма Лескова к А. П. Милюкову,—касающееся как раз печатания «Загадочного человека». Полемика вокруг этого очерка теперь совершенно забыта; вот почему я позволил себе прокомментировать последнее письмо довольно подробно.

Лесков в своем рассказе о Бенни, между прочим, сообщает, что Бенни плохо владел русским языком и что его компиляция о «Мормонах» была напечатана в «Русской Речи» после «редактуры» Лескова. Этому легко можно поверить. Достаточно привести некоторые обороты и слова Бенни из публикуемых писем: «не подумали... так скоро встретить» (вместо «встретиться»), «не могу отказать себе удовольствия», «два ваших письма», «я должен был увезти ее» (т. е. письмо,—и это не описка—встречается дважды) и т. д. и т. д.

Бенни ждет еще своего исследователя, и публикуемые материалы не окажутся для него бесполезными.

А. Бенни—И. С. Тургеневу

1.

С.-Петербург, 24 июля 1861.

Любезный Иван Сергеич.

Когда три месяца тому назад, мы прощались на Rue de Rivoli, ни вы, ни я не подумали, что нам, быть может так скоро встретить друг друга в России (1).

Причин и поводов моего путешествия сюда я вам теперь рассказывать не стану, а отложу до нашей встречи, на счет которой я вам и пишу эти несколько строчек. Я уезжаю в следующую субботу (29 числа) с одним молодым человеком А. И. Ничипоренкой, сперва в Нижний, а потом через Москву, к нему в Полтавскую губернию (2).

Мы проедем разумеется и через Мценск, и зная что вы недалеко от него живете, я не могу отказать себе удовольствия заехать к вам.

В Мценске мы будем около 10 августа.

Надеясь вас скоро увидеть я остаюсь

Ваш *А. Бенни*

Прим. В сборнике «Тургенев и его время», (Г. М. П., 1923.) Н. Л. Бродским было опубликовано письмо Тургенева к «Наталье Николаевне». Фамилии адресата установить не удалось. В этом письме Тургенев между прочим писал: «узнайте от Анненкова или от кого-нибудь другого, что за люди... Артур Бенни, который между прочим и Анненкову доставил письмо от меня. Можно ли на них надеяться и не опасны ли они... Пишите... о Бенни,—под именем девицы Павловой» (с. 305). Зачем Тургеневу понадобилась такая конспирация—не ясно.

Письмо Тургенева не датировано, но на основании настоящего письма Бенни это не трудно сделать. Письмо Тургенева написано, очевидно, после первой же встречи и знакомства с Бенни; Бенни упоминает о встрече «три месяца назад» и датирует свое письмо 24 июля 61... Очевидно письмо Тургенева датируется, примерно, апрелем 1861 года.

Путешествие Бенни на ярмарку в Нижний-Новгород, а оттуда в Москву и Орел подробно описано Лесковым в его известном очерке: «Загадочный человек». В том же очерке точность и верность которого, есть, впрочем, много оснований заподозрить, дано подробное объяснение «причин и поводов», как приезда Бенни в Россию, так и цели путешествия в Нижний-Новгород. В этом очерке упоминается между прочим и о визите к Тургеневу. Лесков шаржированно излагает цель этих поездок. Кроме знакомства с народом и его жизнью, Бенни собирал или предлагал собирать подписи под адресом государю о даровании России конституции. Ср. письмо Герцена к нему (собр. соч. под ред. М. Лемке. П. 1919, т. XI, с. 341—342) и письмо Бенни к Н. М. Владимирову (в книге М. Лемке—Очерки освобод. движения 60-х годов. Изд. 2-ое. СПБ. 1908, с. 70).

(2) Ничипоренко, Андр. Иван. (1837—64)—Акцизный чиновник. Путешествовал с Бенни в Нижний-Новгород, Москву и т. д. в качестве «ментора». Так, по крайней мере, изображает дело Лесков, давший в «Загадочном человеке», злую, но кое в чем справедливую характеристику.

2.

Новосилье, понедельник. (1).

Любезнейший Иван Сергеич.

Mea culpa, mea maxima culpa! Простите ли вы меня когда-нибудь, когда я вам скажу, что потерял ваше письмо к Боткину?!

Вот какая была история: два ваших франкированных письма я отдал на почту в Мценске; парижское принять не хотели, так что я должен был увезти ее в Орел.

Как и где я ее потерял, признаюсь вам, я решительно не знаю, но на всякий случай, надеюсь, что не было ничего важного в этом несчастном письме.

Теперь еще несколько слов объясняющих адрес этого письма (2). В Орел я получил телеграмм, призывающий меня назад в Москву; и так, побыв только двадцать четыре часа у Якушкиных, мы теперь спешим назад в Москву, где я надеюсь вас увидеть вскоре и выпросить прощенья вашего за мою неимоверную глупость.

Поклоны от Андрея Иваныча (3).

Ваш *А. Бенни*

P. S. Письмо это я хотел было послать вам по почте—но так как мы приехали сюда вместе с Виктором Ивановичем Якушкиным (4) я его просил отвести вам ее самому, при чем я его вам очень рекомендую. *А. Б.*

1. Письмо можно совершенно точно д тировать 14 августа 1861 года. В предыдущем письме Бенни пишет, что в Мценске он будет около 10 августа. Ближайший понедельник приходится на 14-ое.

2. Новосилье—собственно Новосиль—уездн. город Орловской губернии.

3. Лесков в «Загадочном человеке» излагает дело так, будто бы телеграмма, вызывавшая Бенни обратно в Москву была послана одной знакомой Бенни с его согласия и по предварительному с ним сговору. Предполагалось, что таким образом Бенни отделается от надоевшего ему Ничипоренко. Последний однако же решительно не согласится отпустить Бенни одного и решит возвратиться в Москву вместе с ним. Тогда, (так расказывается у Лескова), Бенни тайком выйдя из гостинницы и, заложив свои часы, уехал в Москву один, купив единственное свободное кондукторское место. Если это так, то как понять слова Бенни в письме: «мы спешим назад в Москву», «поклоны от Андрея Ив новича» и т. д. Зачем Бе и и надо было писать эти фразы, если бы они не соответствовали истине? Можно таким образом усомниться в правдивости рассказа Лескова, по крайней мере в этой части.

4. Якушкин Викт. Ив.—вероятно брат известного в свое время этнографа П. И. Якушкина.

3.

Freiburg im Breisgau.
11 января 1866 г.

Только сегодня я узнал, что вы живете в Баден-Бадене, Иван Серг евич, и как видите, не теряю времени, чтоб вас слегка эксплуатировать.

Дело в том, что со времени моего принужденного выезда из России, (1) слоняюсь более или менее по Европе, перебиваюсь кое-как пописыванием то в русских, то в немецких журналах: существование как видите, не особенно отрадное. В Женеву, где русских семейств, а следовательно и уроков мне не хочется ехать, так как я разорвал с Алекс. Ивановичем и его лагерем (2). Пришла мне мысль попробовать счастья в Баден-Бадене, а потому я вам буду крайне обязан, если вы мне сообщите, стоит ли мне, по вашему мнению, приезжать в Бад[ен]-Баден в надежде, что там найду уроки русского, английск[ого], немец[ого] и франц[зского] языков и обыкновенных предметов гимназического курса, или какую-нибудь секретарскую или другую подходящую работу. Из Фрейбурга я уезжаю в воскресенье и потому прошу вас ответить мне как можно скорее; нельзя ли бы хоть сейчас по получении моего, [письма *С. Р.*] так что ваш ответ дошел бы до меня в субботу.

Ваш *Ар. Бенни*

Мой адрес: M. Arthur W. Benni. Poste restante, Freiburg im Breisgau.

1. Бенни был выслан из России, как иностранный подданый, с воспрещением въезда в Россию навсегда, по постановлению сената в 1864 году. Постановление это состоялось в связи с делом Ничипоренко и др. Подробности см. в назв. книге М. Лемке.

2. Конечно Герценом. «...Весною 1862 г. Бенни написал Герцену отречение от всех заимствованных у него взглядов», сообщает М. Лемке (op. cit... с. 119). Как известно, Бенни в свое время просил Герцена помочь ему в реабилитации по обвинению в том, что он шпион III отделения. Герцен, который в свое время хотел сделать Бенни своим сотрудником (по мнению Лемке—агентом по распространению своих изданий), помочь ему в этой реабилитации отказался. Подробнее о взаимоотношениях Бенни и Герцена см. в собр. сочинен. А. И. Герцена под ред. М. Лемке, (по указателю при т. XXII).

Н. С. Лесков—А. П. Милюкову

Милостивый государь, Александр Петрович.

Некогда порою я знал в Петербурге некоего «неразгаданного человека» Артура Бенни. Он убит при Ментане и его интереснейшая история, мною в свое время писанная, может быть оглашена. Это вещь пряная и забористая и, кажется, очень интересная. Шуму она может возбудить множество. Я ее хотел бы напечатать в газете, но с газетами петербургскими совсем не имею связей. Не хотите ли посмотреть эту вещь. Уведомьте меня, пожалуйста, да уж прибавьте и адрес, где вас искать; а то я ночью был, да и позабыл... Мне же писать «В городе—Николаю Семеновичу Лескову, Фурштадская, № 62».

Ваш покорнейший слуга *Н. Лесков*

4 января 1869. С.П.Б.

Прим. Адресат этого письма—Александр Петрович Милюков (1817—1897), популярный в свое время писатель, критик и педагог. Известен рядом своих работ по истории русской литературы, но больше всего, как автор нашумев-

ших в свое время «Очерков по истории русской поэзии» (Первое издание в 1847 г., потом неоднократно переиздавалось). По выходе книжки, автор ее должен был оставить службу по министерству народного просвещения. «Очерки» были слишком либеральными. Второе издание «Очерков» вызвало известную статью Добролюбова «О степени участия народности»... В 1849 г. по делу Петрашевского Милюков был посажен (впрочем всего лишь на три дня): в Петропавловскую крепость.

Письмо относится к самому началу знакомства Лескова с Милюковым.

«Загадочный человек» был напечатан год спустя (в 1870 г.) в «Биржевых Ведомостях», к которым А. П. Милюков был в эти годы очень близок (№№ 51, 54, 56, 58, 60, 61, 66, 68, 76, 78). Таким образом, проект напечатать очерки где-либо в Москве не осуществился. Вряд ли можно поверить Лескову, что он «с газетами петербургскими совсем не имеет связи»... Повидимому, в Петербурге статью о всем известном Бенни и Лескову (в то время уже повсеместно травимому), устроить в первое время не удалось и он принужден был обратиться в Москву. Между тем, большая часть деятельности Бенни протекала именно в Петербурге и естественнее было бы напечатать и воспоминания о нем там же. В конце концов очерк появился в «Биржевых Ведомостях», т. е. все-таки в Петербурге.

Появление «Загадочного человека» вызвало значительный шум. Имеет смысл напомнить некоторые моменты полемики о Бенни,—забытые или вовсе неизвестные.

Критика отнеслась к очерку резко отрицательно, обвиняя Лескова в клевете на покойного Бенни, а «Вестник Европы» прямо назвал точку зрения Лескова «полицейско-беллетристической» (1871, № 8). Но впрочем критик (статья анонимная) признавал все же, что «бог не лишил его (Лескова. *С. Р.*) таланта, и таланта недюжинного: пусть он напишет нам откровенные свои признания» (с. 902).

В № 208 «Санкт-Петербургских Ведомостей» (1871 г. 3 июля) за подписью «Z» (так подписывался В. П. Буренин) появилась большая и очень резкая статья, посвященная тому же вопросу. Лесков, по мнению В. П. Буренина, исказил образ Бенни, оклеветал Ничипоренко и ряд других близких ему ранее лиц. Напечатание очерка—медвежья услуга памяти Артура Бенни: «При своей склонности пачкать все, что имеет за собой действительное значение, они (писатели типа Лескова. *С. Р.*) пользуются всякими способами для достижения своей цели. Они пачкают под видом сочувствия к своим покойным друзьям и очищения их памяти, пачкают под видом разоблачения каверз своих врагов, пачкают под предлогом приношения посильной лепты общественному благу, пачкают, наконец, даже без всяких предлогов».

Несколькими номерами позже (№ 250) в тех же «Санкт-Петербургских Ведомостях» появилось «письмо к редактору» Германа Бенни—брата Артура. Содержание письма сводится к следующему: в марте 71 г. он получил от Лескова письмо с просьбой разрешить посвятить книгу (речь идет уже об отдельном издании 1871 года. *С. Р.*) семье Бенни, в частности, матери Артура. В том же письме он просил всевозможных поправок и указаний. В ответ последовало письмо Германа Бенни, в котором он просил Лескова ничего нигде о его покойном брате не писать и не печатать; в противном случае он вынужден будет против этого публично протестовать, что и делает, ввиду того, что Лесков, не вняв его просьбам, книгу все же выпустил. В заключение Герман Бенни писал, что Лесков «возводит положительно небылицы и клеветы на человека, образ мыслей и жизни которого ему положительно неизвестны или намеренно представлены им в фальшивом свете».

Несмотря на протест брата, Лесков выпустил «Загадочного человека» отдельным изданием (1871 г.), поместив перед текстом свое письмо к Тургеневу. Дата письма—июнь 1871 г., т. е. будто Лесков написал его до появления обеих статей и письма в редакцию Германа Бенни. Помещение письма обусловлено понятно соображениями тактическими.

Предчувствуя «шум», Лесков, как бы в противовес напавшим на него авторам, «авансом» привел список своих сторонников—Тургенева, Якоби, Боборыкина и др. Лесков прямо пишет в предисловии: «Есть люди, которые смотрят на напечатание моих воспоминания о Бенни совсем не так, как взглянули на это вы (т. е. Тургенев. *С. Р.*) и др. почтенные лица. Нашлись господа, которым хотелось бы, чтобы Артур Бенни остался в том самом убранстве, в которое они его снарядили, сваливая всякую дрянь с больной головы на здоровую. Я получил не только укоризны, но даже угрозы, не продолжать этой истории, но я ее продолжил, окончил и издаю в свет отдельною книгою, предоставляя кому угодно видеть в этом прямой ответ мой на все заявленные мне неудовольствия. (собр. соч., т. XXVIII, с. 6).

Пятнадцать лет спустя, (перед тем см. рассказ Лескова о Бенни, в «Нов. Времени», 1879, № 1214), Лесков снова вспомнил о Бенни. В забытом и почти никому неизвестном «открытом письме к П. К. Щебальскому» («Варшавский Дневник», 1884 г. № 226) Лесков писал:

«Роман «Некуда» считается самым противо-социальным, а между тем едва ли не в нем одном представлен в лице Райнера молодой социалист с доброю душою и с нежными, честными побуждениями. Я не разделял и не разделяю социалистических стремлений, но я написал такое симпатическое лицо потому, что видел перед собою такого живого человека, жившего среди нас в то время, которое представляет мой рассказ. Это уроженец того края, где вы теперь трудитесь,—это Артур Бенни, сын протестантского пастора из Томашева-Равского, с которым нас соединила горячая дружба, несмотря на коренное несходство нашего политического идеала. Он был оклеветан в Петербурге теми, которые с ним единомыслили, был выслан из России и потом убит под Ментаной в гарибальдийском отряде [1]. Я никогда не разделял его утопий, но я знал его чистым и прекрасным юношею, который трогал своих судей своим благородным чистосердечием, и я таким его изобразил в вымышленном лице Райнера. Таким же после его смерти я представил его и под собственным его именем в книжке «Загадочный человек», *которую я написал по совету Ивана Сергеевича Тургенева* (курсив мой. *С. Р.*) [2].

По компетентному свидетельству Якоби, ухаживавшей за Бенни в качестве сестры милосердия перед его смертью, ранение Бенни не было случайным. Присутствуя во время битвы при Ментане при гарибальдийских войсках, как корреспондент одной английской газеты, Бенни увлекся сражением и принял в нем участие на стороне гарибальдийцев. *Ред.*

[1] Это неверно. Бенни не был ни в каком гарибальдийском отряде. Проезжая под Ментаной в качестве журналиста, он, случайно, попал под пулю папского зуава.

В «Загадочном человеке» (гл. 41) Лесков излагает историю ранения Бенни несколько иначе. Еще третью версию сообщает Тургенев в письме к Анненкову от 5 февраля (24 января) 1868 г., т. е. вскоре после смерти Бенни:

«К статьи о бедном Бенни. Оказывается, что он попал в кашу по совершенной случайности: написал на листе бумаги крупными буквами «иностранец и турист» и показывал папским зуавам, а они, приняв этот лист за прокламацию, выстрелили по нем и перебили ему руку. Рану дурно лечили и он умер» («Русское Обозрение» 1894, № 2, с. 488).

[2] По мнению сына Н. С. Лескова Андрея Николаевича в Адаме Львовиче Бездольном (не оконченный роман «Соколий Перелет») есть черты Бенни. Ср. примечание С. П. Шестерикова к письмам Лескова к Л. Толстому. «Письма Толстого и к Толстому», М., 1928, с. 102.

М. Клевенский

Попытка провокации в Каракозовском деле

В известном словаре А. Шилова и М. Карпауховой «Деятели революционного движения в России» имеется такое сообщение об одном из многих лиц, арестованных в роковом 1866 году.

«Лоренц, саксонский подданный, был заключен с 29 авг. 1866 г., по распоряжению выс. учр. следств. комиссии, в Петропавлов. крепость и 24 октября т. г. передан спб. обер-полицеймейстеру».

На основании архивных материалов эти чересчур краткие сведения могут быть значительно пополнены, и тогда вместо не ясной фигуры саксонского подданного, неизвестно за что попавшего в руки следственной комиссии, встанет определенный образ жалкого, сбившегося с пути мальчишки, сделавшегося жертвой полицейских мошенничеств провокационного характера. Провокация была настолько нелепа и неумела, что скоро вышла наружу. Сведения о Лоренце находятся в деле III отделения, 1-й экспедиции, 1866 г. № 100, ч. 121 («О саксонском подданном Лоренце»).

Петр Лоренц являлся по рождению и воспитанию вполне русским человеком, несмотря на звание саксонского подданного. Он родился в Петербурге и был так наз. «незаконным» сыном генерал-майора Панова и саксонской подданной девицы Лоренц, от которой он унаследовал не только фамилию, но и подданство. Лоренц учился в Ларинской гимназии, но был исключен оттуда за дурное поведение. В 1866 г. он показался некоему фельдъегерю Дмитровскому, человеку, уже имевшему определенный агентски-провокаторский стаж, подходящим объектом для некоторых провокационных воздействий. Когда махинации Дмитровского и его сообщника обнаружились, дело было передано для расследования члену следственной комиссии генерал-лейтенанту Огареву и ее секретарю старшему советнику Переяславцову. Их докладами, излагающими историю с Лоренцом, мы и пользуемся. Вот целиком сообщение Огарева.

«По делу исключенного из 5-го класса Ларинской гимназии незаконнорожденного саксонского подданного Петра Лоренца 18-ти лет отобраны подробнейшие показания от фельдъегеря Дмитровского (доносчик), надзирателя Козицкого и самого Лоренца.

Ответы сих лиц и обстоятельства дела указывают, что дело это началось по следующему поводу: надзиратель Козицкий предложил Дмитровскому, как агенту, доставлять ему сведения о всех подозрительных лицах, Дмитровский, зная с детства Лоренца, пригласил его в конце июня сего года к себе для занятий с сыном Козицкого, 12-летним мальчиком, принятого (sic) им с целью приготовить в гимназию; таким образом, встречаясь с Лоренцом ежедневно, Дмитровский водил его в различные трактиры, поил его водкою и пивом и вел с ним разговоры о событии 4-го апреля. Лоренц, как сам объясняет, под влиянием винных паров передавал Дмитровскому различные городские толки о том, что фамилия преступника не Каракозов, а граф Моль, что графиня Потоцкая и Радзивилл, а также другие лица участвовали в заговоре, что здесь образовалось целое тайное общество и что сам Лоренц принадлежит к этому обществу. Все эти рассказы Дмитровский в то же время передавал Козицкому, а последний докладывал обер-полицеймейстеру; далее Дмитровский, по совету Козицкого, чтобы иметь доказательства против Лоренца, вошел с ним в преступную переписку, которая вся состоит из вопросов Дмитровского и ответов на них Лоренца, вопросы и ответы писались на одном и том же лоскутке бумаги; наконец, чтобы еще более представить осязательных фактов против Лоренца, Дмитровский усиливался получить от него устав общества, приказ 4-го апреля, прокламации и другие бумаги. Все они написаны были Лоренцом большею частью карандашом, самого нелепого содержания, и были переданы им Дмитровскому, а последним Козицкому, в числе этих бумаг заключается и список лиц в числе 46, которые поименованы в алфавитном порядке членами вольного экономического общества. Лоренц объясняет, что лица эти им вымышлены и только весьма немногие ему известны, как бывшие его товарищи по гимназии, которых он, впрочем, не видел с давнего времени, все свои действия относит к влиянию на него Дмитровского, к непомерному употреблению им горячих напитков, к слабости характера, к врожденной лживости и к ребяческой наклонности казаться выше другого, старшего его летами (Дмитровскому за 30 лет).

Надзиратель Козицкий показал, что ни за одним из лиц, означенных в списке, доставленном Лоренцом, он не наблюдал и никаких сведений о них не имеет; равно и Дмитровский показал, что поименованные лица ему тоже неизвестны, из сего оказывается, что полиция, имея сведения об означенном деле с июня месяца, не удостоверилась так бы следовало о свойстве доноса Дмитровского и о достоверности сделанных Лоренцом указаний. Между тем из числа вымышленного, как показывает Лоренц, списка полицией арестовано по неизвестным причинам шесть человек, с производством у них обысков, при коих предосудительного ничего не оказалось, арестовано даже такое лицо, которого Лоренц вовсе не знает и в списке не показывал, именно: Лоренц написал, что знает студента Данило, а полиция арестовала студента здешнего университета Егора Данилова.

Для большего разъяснения обстоятельств, относящихся до арестованных полицией лиц, сделано сношение с санкт-петербургским обер-полицеймейстером о доставлении к следствию как актов об обысках, так и других сведений, если таковые имеются.

По показанию Дмитровского он за свои действия получил от полиции 350 рублей.

По получении от генерала Трепова ожидаемых сведений настоящему делу будет дано дальнейшее соответственное направление, о чем я не замедлю донести вашему сиятельству [1]).

[1]) П. А. Шувалову.

Из дел высочайше учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии видно, что в 1862 г. Дмитровский [1]), будучи агентом полиции, сделал навет на дворянина Чебышева, что будто бы Чебышев намерен был посягнуть на жизнь государя императора, для чего с заряженным пистолетом отправился в Мариинский театр, но извет этот по следствию не подтвердился, и дело по сему предмету, по высочайшему повелению, оставлено без последствий.
2 сентября 1866 г. Генерал-лейтенант *Огарев*

Позднейшее «соображение по делу саксонского подданного Лоренца»[2]) в общем повторяет те же факты, которые приведены и в докладе Огарева. Приводим отсюда только отрывок, дающий некоторое представление о вымыслах Лоренца.

«При внимательном изучении дела вымысел и несообразность были очевидны в самом начале. Лоренц говорил Дмитровскому, что преступника зовут не Каракозов, а граф Моль, что этот граф председатель тайного общества маркизы де-Сово, что в Летнем саду 4-го апреля были: Ушин, двоюродный брат графа Моля, Ножин, Страмзен-аптекарь и другие. Рассказ этот сделан в июле месяце, когда по официальным сведениям из газет было уже известно об открытиях следственной комиссии по делу Каракозова и не было ни какого сомнения на счет фамилии Каракозова. Почему же полиция дала веру рассказу Лоренца о графе Моле и не уличила его на первых порах в пустой болтовне? Лоренц даже не знал фамилий действительных преступников[3]) Каракозова: Ишутина назвал Ушиным, Ножина отнес к живущим 4-го апреля, тогда как он умер 2-го апреля, Страндена назвал Страмзеном... Взаимные отношения действующих лиц в этом документе характеризуются следующим образом: «В настоящем случае заслуживает внимания то обстоятельство, что Козицкий не доверяет Дмитровскому, Дмитровский Лоренцу, и оба, сыщик и агент, стараются оставить у себя преступное слово Лоренца на бумаге, чтобы заручиться против него доказательством».

Из дела видно, что обер-полицеймейстер сносился с Дмитровским не только через Козицкого, но приглашал его к себе и поручал ему побольше узнавать от Лоренца (лист 35). Деньги Дмитровский получал как от Козицкого, так и от самого Трепова.

В докладе Огарева упоминается, что из фантастического списка, представленного Лоренцом, несколько человек было обыскано и арестовано. Это были следующие лица: студент медико-хирургической академии Андрей Кобылин; актуариус государственной канцелярии Николай Шлотман; сын колежского советника Николай Минин; ученик 7 класса Ларинск й гимназии Александр Мерцалов; студент медико-хирургической академии Иван Гросс; телеграфист Константин Буш; студент Петербургского университета Егор Данилов.

[1]) В 1862 г. Дмитровский был студентом петербургского университета.
[2]) Листы 18—21.
[3]) Очевидно, описка вместо «соучастников».

Можно найти указание, что у одного из достойных сообщников возникла мысль использовать Лоренца еще и другим способом. В деле имеется следующая запись на полулисте почтовой бумаги, сделанная, очевидно, Дмитровским:

«Когда государь император жил в Петергофе, то Козицкий неоднократно мне навязывал деньги, 25 р. с., чтобы я дал оные Лоренцу, что [бы] он купил пистолет и отправился бы в Петергоф и дождался бы государя, когда тот поедет вечером к музыке, и чтобы Лоренц дожидал бы его при выезде в сад у ворот, и поровнявшись он с Лоренцом—тот исполняет свое намерение, но Козицкий схватил бы его, не давши Лоренцу исполнить намерение. Козицкий все это хотел, чтобы дело начато было как можно сильнее (это предлагал под большою тайною [1]) мне)».

По рассмотрении дела злополучного Лоренца и двух мошенников из полицейского мира было решено: Лоренца выслать в Вологодскую губ., Дмитровского в Архангельскую, Козицкого в Вятскую (в г. Котельнич). В 1870 г. последнему было позволено переехать в Нижний-Новгород.

Живя в Нижнем, Козицкий решил попытаться смелым шагом улучшить свое положение. Вот любопытное заявление, присланное им Шувалову.

«Ваше сиятельство милостивейший государь, Петр Андреевич, простите смелости моей, что я решился писать к вам, сиятельный граф.

Стоя на краю гибели от крайне бедного состояния, я еще возымел для спасения себя с семейством одну надежду на ваше великодушие, сиятельный граф. В руках ваших вся участь моя, не дайте погибнуть в нищете всему семейству из-за одной какой-либо ошибки моей в деле Лоренца, так как по совести моей я должен сказать, что за что именно я наказан и в чем состоит моя вина, положительно не знаю; знаю то, что если бы я не действовал по приказанию генерала Трепова, то я не подвергся бы столь тяжкому наказанию, которое я вынес, что же я в деле Лоренца действовал не по своей воле, то этому может служить доказательством представляемый у сего оставшийся у меня лоскуток записки, исправленный карандашом генералом Треповым [2]). Эту записку генерал Трепов приказал мне написать из слов агента и после доложил ее его величеству. Без сомнения, самое дело после обысков слишком противоречит означенной записке.

Ваше сиятельство, если я и представляю лоскуток записки, то это делаю не в виде жалобы, а для того, чтобы ваше сиятельство изволили убедиться, что я в деле действовал не сам собою, что впрочем обстоятельно объяснить не смею и вследствие сего приемлю смелость почтительнейше просить ваше сиятельство простить меня и избавить от решительной гибели» [3])...

В дальнейшей части своего письма Козицкий просит, чтобы вместо аттестата, на котором сделана надпись о запрещении ему въезда в столицы, ему был выдан чистый аттестат, с которым он мог бы

[1]) Лист 51. Конечно, нельзя говорить с полной уверенностью о том, действительно ли Козицкий надумал стать спасителем царя при новом «покушении», или это все—вымысел Дмитровского.

[2]) Приложен клочек, написанный чернилом с чьими-то карандашными исправлениями. *М. К.*

[3]) Лист 51.

поступить на службу. Если Козицкий рассчитывал на немедленное действие своего заявления, писанного 30 октября 1871 г., то он ошибся. Однако, через некоторое время, а именно в 1874 г. ему было разрешено вступить в государственную службу.

Дело Лоренца, само по себе представляющее лишь интерес курьеза, вполне понятно в обстановке того времени, когда оно возникло. Летом 1866 г. умы были чрезвычайно взбудоражены покушением, возникала масса самых несообразных слухов о покушавшемся, о тайных обществах и пр. Досужие обыватели во множестве слали доносы,—по большей части, анонимные,—об оставшихся невредимыми сообщниках Каракозова, о необходимости арестовать таких-то и таких-то лиц. В этой мутной воде два мошенника и решили половить рыбу, воспользовавшись подвернувшимся им под руку юнцом. Своей игрой они сумели заинтересовать и высшего представителя столичной полиции, не останавливавшегося перед издержками, лишь бы только сыскать концы и нити заговора.

А. Фридман

Воспоминания о минувших днях

(Из эпохи первой революции)

Революционная лавина горячим потоком растекалась по великой России, обжигая сердца исстрадавшихся рабов. Москва всколыхнулась. На фабриках и заводах с каждым днем вспыхивали все более грандиозные забастовки. Гнев веками обираемого народа рос неудержимо. Чувствовалось, что везде лихорадочно готовятся к решительной схватке с вековым врагом трудового народа—царем и его опричниками. Казалось, что—еще один сильный натиск, и подточенный, прогнивший трон рухнет и полетит в пропасть. Но, к великому несчастью, не так чувствовал себя забитый, несознательный солдат, слепо верящий присяге—верно служить царскому трону, хотя уже и обреченному на гибель...

Войска московского гарнизона являлись довольно внушительной силой, долженствующей служить защитой царизму в случае восстания рабочих. А потому вопрос об усилении пропаганды в войсках стал вопросом дня, и военные партийные организации интенсивно принялись за работу, сделав этот фронт центром внимания.

Помню тот таинственный вечер, когда я с некоторыми товарищами, сделав самовольную отлучку из казарм, пробирались на конспиративную квартиру, крепко сжимая в руке маленькую бумажку—шифрованный пароль, которую «в случае случая» мы должны были проглотить.

Небольшая комната, освещенная тусклым светом керосиновой лампочки, была переполнена представителями разного рода оружия. Лица присутствующих были необыкновенно серьезны и сосредоточены. Все чего-то ждали. Но вот дверь распахнулась, и в комнату ворвалась девушка. Один миг, и она, раздеваясь, утопает в океане прокламаций. Живая, с горящими, как уголь, глазами, вооруженная, она ведет с нами беседу, воодушевляя нас своею готовностью жертвовать жизнью на благо народа. Каждое слово, точно свинец, вбивается в мое сердце.

Уходя, я даю клятву при первой же возможности направить дуло ружьев против своих врагов—наемных убийц—офицеров,ведущих на братоубийство подчиняющихся им солдат.

Для меня становится ясно, что нужно, не покладая рук, работать самим над собой и втягивать других в революционную работу...

Полк, в котором я служил, был расположен в Спасских казармах и занимал два корпуса. В одном из них расположилась пулеметная рота. Ежедневно, делая самовольные отлучки, мы приносили прокламации, брошюрки и разбрасывали их по ночам. Офицеры, идя на занятия, проходили по коврам прокламаций. Солдаты их читали во всех местах. Они находили их у себя под подушкой, под матрацом, в сапогах, а начальство было настолько ошеломлено, что оказалось бессильным бороться с этим наводнением... Был один случай ареста за хранение нелегальной литературы. Обыскали при этом и меня. Но этот случай только послужил предостережением для большей конспиративности.

В ноябре была налажена сравнительно недурно кружковая работа, в особенности, в первом и втором батальонах, состоявших из старых солдат, которые были задержаны по случаю русско-японской войны, а, в связи с забастовками, гонялись на усмирение. В своей роте я вербовал единомышленников, которые более или менее являлись сознательным революционным ядром.

От зорких глаз офицеров не мог скрыться тот факт, что в казармах неблагополучно, но они не понимали или не хотели понимать, что безмолвная серая скотина, как называли солдат офицеры, вечно дрожащая перед своим начальником, в скором времени грозно встанет за свои человеческие права, что под ее шинелью уже начинало биться сердце гражданина и что в конце концов она протянет братскую руку трудящемуся и рабочему и в союзе с ним сметет паразитов. Но, тем не менее, было очевидно, что начальство теряется, предчувствуя приближение чего-то грандиозного.

Мы понемногу крепли. Как и всегда, накопленный горючий материал только ждет соприкосновения с огнем, и взрыв неминуем.

Взрыв произошел и в нашем полку. Быть может, преждевременно, но он произошел. Наша революционная подготовка выявилась в вооруженном восстании всего полка...

Восстание это произошло 2-го декабря 1905 года. Еще за некоторое время до восстания большую сенсацию, произвел следующий случай, хотя и происшедший не в нашей части, но ставший предметом обсуждения во всех частях. Солдаты получали письма из родины, предварительно проходившие через строгую цензуру начальства. Адресат вызывается к ротному на квартиру, который в присутствии своей фаворитки с цинизмом, свойственным офицерству царской армии, читает солдату письмо, где пишут, что жена его ему изменила. Сообщение это не произвело бы такого потрясающего впечатления на солдата, если бы не насмешки офицера, рассчитан-

ные на оскорбление его человеческого достоинства. Униженный до глубины души он лишает себя жизни, застрелив себя из ружья... Этот поистине возмутительный поступок офицера, забирающегося своими грязными руками в чистую душу солдата, на фоне скверного питания и грубого обращения вызвал гнев его собратьев. Но главной причиной к решительному выступлению была попытка начальства арестовать т. Черных и т. Ульянинского [1]). Солдаты проявили в данном случае весь пыл революционного энтузиазма, и Ростовский полк в полном составе в один момент разорвал цепи рабской дисциплины и с оружием в руках поднял красное знамя восстания...

Бразды правления фактически переходят в руки восставших, которые выделяют от себя полковой комитет в составе товарищей Ульянинского, Саура-Снегульского, Агафонова, Годуна, Черныха, Тверезовского, меня и пр., в количестве 16 человек [2]).

Полковой караул тут же отменяется, освобождаются все арестованные при полковой гауптвахте, а их место занимают сверхсрочные фельдфебеля и др. ненадежный элемент. Офицеры, живущие в офицерском корпусе во дворе, арестовываются и содержатся под домашним арестом, а живущие вне двора не допускаются более в казармы.

Изолировав себя от разлагающего элемента, полковой комитет выработал ряд требований и выделил от себя делегацию к командиру полка. Требования начинались с мыла, бани, вежливого обращения и заканчивались отказом идти на усмирение восставших рабочих и требованием демократической республики. Эти «скромные» для того времени требования командиром полка не были удовлетворены. Но мы решили не складывать оружия, рассчитывая на поддержку других частей московского гарнизона и на восстание рабочих Москвы. Связь с военными организациями у нас была налажена. Но в этом выступлении мы оказались одинокими. Окружив себя пулеметами и поставив полк в полную боевую готовность, мы заняли выжидательное положение. Первые дни восстания прошли с большим подъемом. Порядок и сознательная дисциплина царили повсюду. Караули охраняли свои посты с должным пониманием ответственности перед восставшими, и когда кто-то из каптенармусов 6-й роты попытался забраться в цейхгауз, то часовой его не допустил. У каждого входа в казармы стоял, кроме часового, дежурный барабанщик, который при надобности должен был бить тревогу.

Один эпизод, характеризующий настроение массы, припоминается мне сейчас: когда начальник дивизии появился во 2-м баталь-

[1]) Арест тт. Черных и Ульянинского был произведен беспрепятственно. Восстание же вспыхнуло при попытке ареста солдата 3 роты Агафонова-Мартовского. *Ред.*

[2]) По одному представителю от 16 рот, 3 команд и 1 пулеметной роты; всего в составе 20 чел. *Ред.*

оне нашего полка, то его прежде всего поразило то, что никто, в том числе и часовой, не отдают чести, а барабанщик приготовился бить трев гу. На вопрос, что сн хочет делать, барабанщик ответил: «буду бить тревогу». «А кто тебя поставил на этот пост?»—«Полковой комитет»,—ответил он. Начальник дивизии круто повернулся и отошел от него...

Как днем, так и ночью люди не выпускали из рук ружья; даже забываясь во сне, чутко прислушивались, всегда готовые яростно накинуться на своего врага. Я входил в состав полкового комитета от первой роты. Ко мне приходили некоторые товарищи и говорили, что необходимо вывести войска из казарм. Эту мысль разделял и я. Трудно сказать, что сталось бы с нами. Возможно, что я не писал бы эти строки сейчас... Но факт неоспорим; подъем революционного духа масс существовал, революционный порыв был. Чем же объяснить быстрое, сравнительно, поражение нашего восстания? Причина заключалась не только в малой подготовленности солдат к восстанию. Основной причиной было то, что руководство этой стихийной массой извне было слабое, сказал бы я, не энергичное. В наших руках были склады оружия, полковой ящик с деньгами и другое, что можно было бы использовать для предстоящих боев, все это перешло обратно к нашим врагам.

Через несколько дней заметно стало, что среди восставших произошел перелом. В особенности тяготились создавшимся положением солдаты, подлежащие освобождению, которые в начале представляли как раз наиболее активную революционную силу. Пулеметная рота, ранее верная восставшим солдатам, изменила и сняла с позиции пулеметы, тем самым сильно уменьшив наши силы. Штрейкбрехеры стали смелей, наглей. Они организовали контрреволюционное ядро, которое стало очень привлекать к себе наиболее неустойчивые элементы, ослабляя революционные ряды. Становилось ясно, что нам изменили, что эти предатели имеют связь с офицерами вне казарм, подкупившими их обещанием всевозможных наград и производств. Поддержки, на которую мы рассчитывали, мы не получили. Сами же мы с каждым моментом теряли под собой почву. И когда полковой командир появился на дворе и, видя дезорганизованные массы, крикнул: «кто за царя и отечество,—ко мне!»—много солдат подошло к нему, и он тотчас же приказал арестовать нас, оставшихся верными революции. Нас окружили, обезоружили, и тут начались аресты более активных участников восстания.

На полковой гауптвахте мы просидели недолго, только несколько часов. Приблизительно около 10 часов вечера подъехала крытая карета, окруженная конной стражей; нас, вызвав по списку, посадили в карету, и процессия тронулась в путь. Тут были только члены полкового комитета: Ульянинский, Саур-Снегульский, Агафонов, Черных, я и другие.

Везли долго. В темноте трудно было ориентироваться, куда нас везут. Товарищи строили всевозможные предположения относительно будущей нашей судьбы. Некоторые высказывали мысль, что нас могут расстрелять. Время тянулось утомительно долго. Но, вот, карета остановилась. Нас выводят в круг густой цепи конвоя, и мы видим перед собой большое здание Московской военной тюрьмы.

Нельзя сказать, чтобы прием тюремного начальника был любезен. С нас положительно срывали одежду. Начальник неистово вопил:—«Разбойники, изменники! Бунтовать против царя батюшки!.. Я сгною вас здесь...» Длинный коридор одиночных камер мы прошли совершенно нагими, и уже в камеру мне принесли одежду. После этого за мной закрылась тяжелая железная дверь...

Первое, что я сделал,—был осмотр обстановки моей камеры.

Камера—одиночка представляла собой узкое помещение в 3 аршина ширины, 5 арш. длины и 4 арш. высоты; у самого потолка—небольшое оконце и неизбежная решетка. Стол и стул железные, прикрепленные к каменной стене, такая же койка, водопроводный кран и ватер. В дверях отверстие, открывающееся с наружной стороны. Казалось все так хорошо, удобно. Но в действительности, в этом главным образом и заключался весь ужас одиночного заключения, администрация использовала все эти удобства для абсолютной изоляции арестованного. Кошмарные дни сменялись еще более кошмарными ночами, складывались в недели и месяцы. Тяжелые мысли угнетали душу, а воспаленный мозг работал лихорадочно быстро, восстанавливая в памяти события минувших дней.

Но вот шум передвигающегося котла с похлебкой прерывает мечтание. Отворяется форточка, рука сует миску с пищей и форточка мигом закрывается, не дав возможности посмотреть на хлебодара, который, нужно думать, все же имел человеческий облик.

Ничто не нарушало нашу одиночную тишину. Начальство старалось изобразить нас в глазах стражников какими-то чудовищами, и к нам никто не заходил.

Наблюдательным пунктом служил «глазок», в который часто заглядывал чей-то глаз. На ночь забирали все, что могло послужить орудием самоубийства или самоувечья. Попытался я связаться с товарищем, сидящим рядом. Но он оказался настолько малодушным, что посредством перестукивания только жаловался, и был в таком отчаянии, что я не мог его успокоить. Когда я узнал, что его освободили, то очень обрадовался, так как его хныканье действовало на нервы.

10 или 11 декабря тюремная тишина нарушилась необычайным движением и шумом в коридоре. Прикладываю ухо к дверям. Беготня усиливается, но я не могу понять причину такого беспокойства... Неужели, что-то случилось в центре?—вдруг осеняет меня мысль. К глазку то и дело подбегает кто-то и все заглядывает. Я

царапаюсь на стену, тянусь к окошечку, но тщетно: оконце высоко, ничего не видно и ничего не слышно...

Через некоторое время я узнаю, что по Москве прокатилась волна революции и что революция утоплена в море крови... Это произвело удручающее впечатление на меня, ибо мы никогда не теряли надежды на то, что в случае восстания мы опять будем в рядах бойцов за лучшее будущее...

За все время одиночного заключения меня редко выпускали из камеры. Если прибавить, что ни газет, ни письменных принадлежностей не выдавали, то картина изоляции от жизни вне тюрьмы и даже внутри тюрьмы будет полная.

5 апреля 1906 г. внесло некоторое разнообразие в мою жизнь. Утром открывается дверь камеры и мне объявляют, что следователь вызывает на допрос. Впервые после ареста я увиделся со своими товарищами. Обросшие, со впавшими глазами, с вытянутыми лицами, они мне казались похожими на живых мертвецов.

Не дали перекинуться и двумя словами, допрашивали каждого из нас в отдельности. Но после допроса до некоторой степени строгость режима уменьшилась и стали разрешать личные свидания.

Вскоре нам вручили обвинительный акт, из которого мы увидели, что обвиняемся за явное восстание по 102 ст. св. воен. пост. Через несколько дней состоялся суд. Таким образом создался процесс «ростовцев», который тянулся от 14 по 28 апреля 1906 г. при закрытых дверях. Как и следовало ожидать, все подсудимые, принимавшие активное участие в восстании, были осуждены до суда, и суд был лишь пустою формальностью. Прокурор доказывал, что на скамье подсудимых сидят не заблудшие овцы, а сознательные враги существующего порядка, и настаивал на применении к нам смертной казни. Следует отдать справедливость, что подсудимые держали себя на суде с полным достоинством стойких революционеров. В знак презрения к прокурору осужденные сорвали с себя погоны и демонстративно бросили их ему в лицо. Этот жест недавних рабов всполошил золотопогонников; несомненно, что их генеральское самолюбие было до некоторой степени унижено... Защитниками было назначено два офицера (один в чине поручика, другой— штабс-капитана), в высшей степени бездарных. К тому же один из них был и следователем... Защита заключалась в бессвязных словах и просьбах о снисхождении... В результате мы были осуждены на каторгу. После приговора каждый из нас успокоился, оставшись доволен хотя бы тем, что между нами нет смертников. Осужденные на каторгу были немедленно отправлены в Бутырки под усиленным конвоем.

В это время Бутырки были переполнены «политикой» на все «сто процентов», как говорится. В Пугачевской башне сидела Мария Спиридонова. Женский корпус держал в своих стенах тов. Школь-

ник, Измайлович, Езерскую, Фиалку и др. Подследственный корпус был также битком набит. В каторжном корпусе отвели камеру и для нас—«ростовцев».

После волнения и нервничания во время судебного разбирательства хотелось отдохнуть, хотя бы в стенах тюрьмы, но тюрьма жила особенно напряженной жизнью, вечно готовая к эксцессам, к борьбе с тюремной администрацией, к протестам и предъявлениям разных требований. Борьба велась с особенным ожесточением, ибо тюремщики не уступали без боя. В борьбе применялись такие меры, как обструкции, голодовки, бойкот и пр. В одно роковое утро началась обструкция в корпусе политических подследственников, как протест против жестокого обращения с больными в тюремной больнице. Обструкция началась дружно. Били стекла, ломали рамы, стучали... В это время сидел в том же корпусе один товарищ (фамилию которого, к сожалению, забыл) [1], осужденный на каторгу, переведенный из каторжного корпуса за неповиновение начальству. В обструкции принял участие и этот товарищ. Войдя в экстаз, он не заметил, что рука солдата нажала курок и... свинцовая пуля, продырявив сердце, сразила буяна...

Весть о гибели товарища мигом облетела всю тюрьму и произвела потрясающее впечатление на всю политическую братию. Тюрьма сильнее взволновалась... Для устрашения нагнали войска и скрутили тюрьму, как следует... Нам же, «ростовцам» заявили, что с каторжанами администрация совсем не обязана считаться и за малейшее нарушение установленных правил нас расстреляют... Тем не менее «ростовцы» объявили 3-дневную голодовку, как протест против варварского убийства товарища.

Общественное мнение живо реагировало на события в стенах Бутырской тюрьмы. Газеты описывали зверства тюремной администрации, но тем не менее репрессии не прекращались, а еще больше усиливались. Режим удушения царствовал во всю. После голодовки начальство приказало нам готовиться к отправке в Сибирь. Сборы коротки. Приспособляем себе подкандальники, приобретаем кое-что из белья. Красный крест прислал нам одинаковые парусиновые костюмы, ботинки, мыло и др. Перед отъездом разрешили даже личное свидание, что не разрешалось во все время пребывания в тюрьме.

В августе 1906 г. мы покидаем Россию. Помню это чрезвычайно быстрое путешествие. Тут и старики уголовные, 2-й и 3-й раз путешествующие по этой дороге, и так называемые «обратники». Мы, «ростовцы», все в одинаковых костюмах и шапках, выделяемся своим довольно молодым видом. Шагаем бодро, хотя мешают кандалы—путаясь между ногами. Нас провожает тысячная толпа.

[1]) Во время обструкции был убит тов. Михайлов—рабочий. *Ред.*

знакомые и родственники некоторых арестантов, разгоняемые жандармами, пытаются в последний раз взглянуть на своих ближних. Вот вокзал Северных дорог. Тысяча глаз с любопытством,—одни с злорадством, другие со скорбью,—устремилась на нас. Конвой зорко следит за каждым движением арестантов, то и дело покрикивает, оттесняя напирающую публику. Наконец, закончилась суета, мы уже в арестантских вагонах. Прощаемся с присутствующими, посылая им пожелания завершить начатое дело, а они—скорого нам возвращения. При прощании особенно трогательное впечатление произвела на нас просьба одного рабочего, умолявшего конвой пер дать нам часы на память. Конвой этого не сделал. Стук колес, удаляющиеся фигуры провожающих, последнее прости красным платочком, и паровоз быстро уносит нас в далекую суровую Сибирь.

По пути следования на многих станциях наш поезд восторженно встречали рабочие и селяне. Подносили нам подарки и деньги, а на одной станции крестьяне положительно загрузили вагон фруктами. В первых числах сентября мы добрались до Иркутска. После дневки нам предстоял переход через Иркутский тракт до Александровского каторжного централа. Партия собралась человек в 150. Здесь было много женщин-политических, ссылаемых в Якутскую область. Главное ядро политических, кстати сказать, самое буйное и самое крепкое, составляли 40 матросов-севастопольцев. Ребята здоровые, смелые и решительные. Короткое пребывание в Иркутской пересылке этих отважных бойцов утомило тюремщиков, и естественно, что они рады были, как можно скорее избавиться от них. В этот же вечер, который нам пришлось вместе пробыть в Иркутске, произошел довольно курьезный случай. Надоев администрации всевозможными требованиями до такой степени, что она неохотно появлялась к нам, один из матросов, чтобы ее вызвать, снял кандалы, нагрев в печке, с силой швырнул их в окно, пробив стекло. Кандалы, как змеи распластились у ног часового. Поднялась тревога. Часовой, желая показать кандалы, взял их и обжегся. Примчался возмущенный начальник караула и, схватив кандалы, тоже обжегся. Помощник начальника тюрьмы прибежал в то время, когда начальник караула с нами объяснялся, схватил кандалы и его постигла та же участь. Словом поднялась такая суматоха, что все встревожились. И тут же нам удалось отвоевать по одной подводе на каждых 4 человека. Это было большое достижение, так как 70 верст,—расстояние не малое. Выступили, не помню точно, кажется, 7-го сентября 1906 г. Выбрасываем красный флаг и поем «Отречемся от старого мира»...

Растерянный начальник конвоя просит прекратить пение. Но мы продолжаем: «Отречемся от старого мира!». Долго нас успокаивали, упрашивали. Наконец, идем на компромисс. Петь отказываемся, но красный флаг должен развеваться.

Обильный дождь расквасил сильно дорогу. Лошади не могут тащить телег; приходится месить сгущенную грязь. Кое-как добрались до полпути—35 верст. Разбитые, измученные, до ниточки промокшие, всю ночь провалялись на грязном полу этапки. На другой день опять в дорогу. Проверили, пересчитали и в дальнейший путь. Конвой очень доволен: все в порядке. К Александровскому централу мы стали приближаться не командой, как это обычно делалось, а по одиночке... Начальник тюрьмы, долговязый чиновник Савицкий, был поражен этим необыкновенным поведением арестантов. Одежду штатскую при приеме наотрез отказались сдавать в кладовую. Долго бился Савицкий и, наконец, отдал распоряжение пропустить, проверив по постатейным спискам. И тут только обнаруживается, что трех арестантов вместе с конвойными не досчитывается. Тревога. Весь конвой бросился на розыски. Но тревога оказалась напрасной. Через несколько минут «беглецы» появляются, еле-еле передвигая ноги, все в грязи...

Прибытие нашей партии в тюрьму в корне изменило существовавший до тех пор внутренний распорядок. «Иваны», державшие в своих руках все бразды правления, принуждены были расстаться с ролью правителей. Пища улучшилась, хлеб тоже. Нашлись между матросами свои кашевары, свои хлебопеки. «Шпанка» повылазила из-под нар. «Политика» заняла свое надлежащее место. «Уголовщина» стала относиться к ней с уважением. Администрация стала считаться с нами, как с организованной силой.

Чтобы не распыляться, мы настояли на вселении в одну камеру, чего нам удалось добиться. Однообразно, монотонно, тянулись дни. Надоедали мы друг другу до тошноты. И единственно чем заняты наши мысли—это побег. Лежишь на нарах, а мысль о побеге быстро, быстро точит мозг. Бежать! Бежать! Строишь планы, один нелепее, неосуществимее другого. Камера наша расположена на втором этаже. Кирпичная ограда вокруг тюрьмы вышиною в 3 метра: находится в расстоянии 30—40 саж.; над оградой часовой на вышке. План побега детально разработан: мы должны перепилить железную решетку толщиной $^5/_8''$, одолеть лестницу для спуска и достать кошки для забрасывания на железный гребень ограды. За работу принялись самым интенсивнейшим образом. Решетка «перегорела» при помощи лобзика и английского волоса, который удалось пронести в тюрьму. Лестницу связали из холста рубах и кальсон, выданных тюрьмою, разорвав их на полосы. Труднее было достать кошки, но и это достали, кажется, через кузнецов-арестантов. Все готово... В первую очередь пропускаются бессрочные, затем долгосрочные, затем малосрочные и т. д. Явки шифрованные у каждого, начиная с Иркутска и дальше. Документы тоже имеются. Кой у кого сохранилась одежда, которую отказались отдавать при приемке. Ждем ночи. Все лежат с напряженными нервами. Каждый погружен в свои тревожные мысли:—«смерть

или свобода?». Вдруг раздается гул по коридору, быстрые шаги все ближе и ближе пробираются к двери, слышим лязг замка... Сердце усиленно бьется, в мозгу проносится мысль: «все погибло». Дверь быстро распахнулась, раздался оглушительный рев старшего надзирателя: ««Ложись, ни с места!» Конвой взял ружья на руку, а старший со словами: «говорят, у вас решетка больная, надо посмотреть», подходит к реш тке и без труда выбрасывает ее... Провокатор и здесь не продремал. После расследования выяснилось, что парашечники-уголовные, которые выносили парашу, проведали и выдали. Нас всех перевели, но куда? В холодный, темный общий коридор, который вмещал не более 15—20 человек, а нас туда набили 40 человек. Сыро и темно, хоть глаз выколи. Дни мы могли считать только по приносимым нам порциям хлеба... Лежим день, другой, третий. Чувствуем сильное ослабление организма. Некоторые товарищи заболели, валяясь на сыром подвальном полу. В одном углу параша, в другом хлеб. Добираться как до одного, так и до другого приходилось ползком через тела товарищей. Параша протекала, зловонная жидкость растекалась по полу, дышать было совершенно нечем. Как выйти из этого положения? Ко всем нашим требованиям тюремная администрация глуха. На 4-й день хлебодар наш принес хлеб и одну порцию всучил в руки одному из товарищей, предупредив, что бы он ее вскрыл. Там, в этой порции, лежала записка, которую прочитали с помощью спички. В ней сообщалось, что иркутский губернатор генерал Селиванов издал распоряжение перепороть политиков... Естественно, что это сообщение заставило нас говорить, т. е. нарушить нашу гробовую молчаливость, вызванную неимоверно тяжелой обстановкой. Мы горячо обсуждали создавшееся положение, искали выхода из него. Порешили: не выходить по одиночке, когда начнут вызывать. Если окажется конвой в коридоре, при выходе, набрасываться дружно, вырывать оружие, бить, колоть и самим погибать, но не даваться позорить свое тело... Сидим, ждем, прислушиваемся. Каждый стук «обрывает» сердце. «Вот-вот начнется»... Трудно сказать, что нас спасло. Одни говорили, что администрация ожидала решительной борьбы с нашей стороны и побоялась тяжелых последствий, так как ей было известно наше решение. Другие говорили, что конвой не решался принимать участие в экзекуции и будто бы даже пригрозил палачу—надзирателю тюрьмы. Но кончилось тем, что на 5-й день, кажется, выпустили всех и разместили по камерам между уголовными. Конечно, через несколько дней мы, хотя продолжали сидеть между уголовными, все же начали сноситься друг с другом.

Товарищеская солидарность, прочная спайка были залогом нашей борьбы и побед. Когда Котлов (убийца директора Путиловского завода) не снял шапки перед начальником и за это его посадили в карцер, немедленно, все, как один, пошли требовать его осво-

бождения или посадки всех в тот же карцер. Эта товарищеская поддержка укрепляла доверие друг к другу и вместе с тем заставляла тюремщиков считаться с нами.

Помню, нам пришлось вести борьбу за улучшение пищи и хлеба в первые дни прихода. Хлеб был черный из прелой муки. Матросы называли этот хлеб «кардифом» (род английского угля) и из этого хлеба строили эскадрильи. Начальство приходило в камеру, а ему преподносили всевозможные суда, катера и миноносцы. Пища тоже готовилась не из свежих продуктов. Горох, развариваясь, представлял собою кашу из разваренных червей; под зубами они таяли точно масло... На эту злобу дня т. Саур-Снегульский, наш знаменитый фельетонист, он же не менее знаменитый карикатурист, нарисовал карикатуру, в которой изобразил нашего старосту, матроса Кассимова, в пенсне, с длинными волосами, с большой удочкой над большим котлом с горохом. Пар бьет из котла, а Кассимов тащит оттуда крючком червяка. Карикатура до некоторой степени воздействовала на тюремную администрацию.

Через некоторое время начальник тюрьмы, желая использовать дешовую квалифицированную силу арестантов, каковая была в избытке между матросами, решил расширить мастерскую. В качестве кузнеца пошел и я, имея в виду что-либо приобрести из оружия. Однажды привели кого-то из товарищей заковывать в кандалы, в наказание за непослушание. Я заявил, что революционеры расковывают, а не заковывают и т. д. Немедленно явился начальник с тремя конвоирами, три штыка были направлены на меня, и таким порядком я был отправлен в карцер. Через некоторое время меня освободили по настоянию делегации от заключенных. Товарищи громко выражали свое удовлетворение по поводу происшедшего и моего освобождения.

В мае 1907 года из Александровского централа была отправлена первая партия арестантов на Амурскую колесную дорогу («колесуху»). В это время в России свирепствовала реакция. Тюрьмы уже не могли вместить в своих стенах всех заключенных, и тюремные палачи нашли работу на «колесухе», находившейся на расстоянии около 1000 верст от Благовещенска к Хабаровску. Эта дорога облита кровью и потом тысяч каторжан, так как она строилась исключительно арестантским трудом. В первую партию попали политические, между которыми были и долгосрочные. В августе набрали другую партию, в которую попал и я, как краткосрочный. Назначенные в отправку собирались охотно в дорогу. Мысль о возможности бежать с работ на «воле» казалась близкой к осуществлению. Нам было известно о массовом бегстве с «колесухи» товарищей из майской партии. А что, если и нам удастся?

Погрузка, поездка по железной дороге, и мы уже в Сретенске, городе, расположенном на реке Шилке, притоке Амура. Пароходы, катера, шлюпки привлекают наше внимание... Нас погрузили в баржу и дальше мы продолжаем свой путь по реке.

В трюме было грязно и зловонно, и единственным спасением являлось пребывание на палубе, на которую нас выпускали только днем, а на ночь загоняли в трюм.

Тихо ползет по водной лазури Амура сверкающая от солнечных лучей арестантская баржа «Нина», идущая на буксире парохода «Адмирал Чихачев». Кажется, что и не едем, а стоим на месте... Да и хорошо! Куда нам торопиться! Впереди «колесуха» со своими ужасами, страданиями и лишениями, а здесь так легко дышется. Вот протянулась бесконечная зеленеющая лента сибирской тайги, где еще человеческая нога не ступала. Она скрывается за высокими скалами, висящими над рекой, или за горящими горами, которые ночью, точно маяк, пышут огнем. Тихо. Невольно поддаешься грустным размышлениям. Начинаешь восстанавливать в памяти картину прошлого. Вот мое детство, нищенское, убогое детство. Непосильный труд с 13-ти лет, затем отрочество, вечный труд на хозяина. Затем военная служба и, наконец, каторга... Думая о ней, испытываешь страдание, смешанное с удовлетворением. Каторге отданы лучшие годы. Жизни еще не было. Был один сплошной кошмар. Жизнь впереди. Конечно, надежда на светлое будущее, на освобождение человечества от вечного рабства, точно огонек, теплится в душе. Этой надеждой живешь и дышешь. Тихо. Спокойна водная гладь Амура... Медленно двигается вперед наша баржа...

Десять дней шел пароход до казачьей станицы Пашковой—конечного пункта, где мы должны были высадиться.

Для нашего приема на берегу стоял уже конвой, приведенный из команды, расположенной в 30 верстах от станицы Пашковой и болота «Урил», где производились работы.

Начальник конвоя, приняв нас по документам, отдал команду и мы пошли.

Не прошли мы еще станицы, как раздались дикие крики:—у!! у!!! с прибавлением отборных ругательств и одновременно на наши спины посыпался целый град прикладов...

Партия, не ожидая такого «любезного» приема, лавиной бросилась вперед. Каждый старался ворваться в середину партии, чтобы избежать ударов прикладами. Но озверевшие солдаты, предоставленные самим себе, в дикой тайге совсем одичали и совершенно перестали понимать, что мы люди и что мы можем страдать и болеть.

Обидно и стыдно и за себя и за свое бессилие. Люди испытанные, ведшие упорную борьбу целыми годами за свою честь, сейчас оказались настолько парализованными, безвольными, что, склонив головы, бегут, как бараны, сбитые в кучу...

Я не решаюсь поднять головы, боюсь встретить взгляд товарища, бегущего рядом. Мне чудится, что он укоризненно посмотрит на меня, но такого взгляда нет; все бегут, как и я, наклонивши голову...

Нас бьют, нас палачи гонят, не давая нам опомниться... «Ого! Ого! засиделись в тюрьме! — кричит опьяневший от злобы конвой,—

мы вас!..» И вслед за этим слышен только стон товарищей, которые получают очередные удары по спине, по ногам, куда попало... Мы бежим с открытыми ртами, высунув языки, точно охотничьи собаки после долгого бега за зверем. Вот бежит рядом Федя Дрожжин, мальчик 19 лет; его голубые глаза не смеются теперь, как всегда. Опустив низко голову, он бежит, в душе протестуя против тирании конвоя.

А вот Русов, студент, он получил уже два приклада... Его монгольское лицо, с узкими разрезами глаз, облитое потом, еще больше расплылось, а в глазах виден отпечаток страдания. Жаль мне его— человека интеллигентного, развитого. Я ему предлагаю свои услуги. Прошу отдать мне часть своей ноши, но он любезно отклоняет мое предложение.

Стало темнеть... Сплошные тучи заволокли небо. Кажется и оно, видя наши страдания, нахмурилось и собиралось оплакивать нашу горькую участь. Вот и гроза началась. Конвой, выбрав небольшую балку по дороге, скамандовал:

— Стой! Сходись! Садись!

Сбив нас тесно в кучу и окружив, начинает читать нотации, как нам надо себя вести.

Ливень затопляет нас, но разбитые физически и нравственно, сидим мы на земле...

Ни одна ночь не приносила мне так много мучительной боли... Наконец, стало светлее. На горизонте показалось большое яркое солнце. Конвой отошел на приличное расстояние, предоставив нам некоторую возможность двигаться в пределах нашей «черты оседлости». Выжали одежду, портянки, переобулись...

Закусивши кое-как, с тревогой думаем о дальнейшем пути.

—Собирайтесь!—раздается зычный голос начальника конвоя, далеким эхом отдаваясь по тайге...

Начали собираться. Все на нас мокрое, тяжелое. Беспокойная мысль копошится в тяжелой от бессонницы голове: хоть бы пощадили эти варвары и не повторили вчерашнего...»

Нам предстоит пройти еще 11 верст. Повидимому, и конвой устал. Он ведь тоже мок под ливнем, как и мы. Но ему оправиться легче, конечно...

Вот уже один арестант всколыхнул партию, бросившись в середину, убегая после удара прикладом.

Это служит сигналом быстрее итти.

Незаметно для нас, наши шаги под напором солдат ускоряются и превращаются в бегство.

— Стой!—слышим мы окрик. Что такое? в чем дело? Не проснулось ли милосердие у наших палачей? и не думают ли нам дать отдохнуть?

_ Оборачиваюсь и перед моими глазами открывается потрясающая картина. Лежит Соболь,—с.-р., раскинувшись на дороге, из откры-

того рта хлещет струя крови... Его худенькое тело с впавшей грудью чахоточного судорожно вздрагивает, его бледное безжизненное лицо напоминает мертвеца... Солдат поворачивает его прикладом, ругая площадной бранью. Соболь открыл глаза... Блуждающим взглядом окинув окружающих, опускает опять веки.

— Вставай, сволочь! кричит конвойный и ударяет его по ноге. Соболь очнулся... и медленно поднимается...

У меня ноги подкашиваются, какой-то клубок подкатился к горлу и душит меня. Почему мы не выражаем своего негодования? Мы молчим, чувствуя свое бессилие. Никто нас не услышит в этой глухой тайге. Мы во власти темной силы, и что она хочет, то с нами и делает. Пошли дальше. Соболь пошел, качаясь. Но тут силы окончательно покидают его; он падает вновь на землю и уже никакие избиения не могут поднять его. Мы ушли, а он остался лежать при одном конвоире.

Как мы обрадовались, когда увидели палатки арестантской команды. Ну, конец мукам!—думаем,—сейчас можно отдохнуть, а там что будет.

После дневки нас стали приспособлять к работе. Выполнялись работы группами в 10 человек при одном конвойном. Для этой цели у нас сформировался тоже десяток. Обыкновенно подбирались здоровые со здоровыми, чтобы уравнивать труд. У нас же получилось иное; ясно, что уголовные не возьмут к себе интеллигентного политического. Какой толк в нем! Мы же в силу солидарности считали нужным это делать. В десяток вошли все эсеры, и поэтому в команде он считался эсеровским десятком. Если кто-либо выходил из десятка, то к нам вливался вновь кто-либо из политических. И подобрались. Рабочих, привыкших к физическому труду, в нашем десятке только 4 человека, а остальные 6 человек были совсем неприспособлены к этому.

На второй день по прибытии в лагерь нас послали рубить ручки для лопат.

Не зная хорошо порядка, мы шли в указанное место, каждый погруженный в свои мрачные мысли. Русов отстал на несколько шагов и неожиданно конвойный, шедший сзади, так сильно ударил его прикладом по спине, что он, ударившись о мои плечи, растянулся у моих ног. Я не успел еще сообразить, что произошло, как тот же конвойный подскочил и несколькими ударами приклада поднял Русова. Русов встал, его смуглое лицо еще больше сосредоточилось, нахмурилось.

Сердце болезненно сжалось... Хочется выразить товарищу чем-либо свое соболезнование, но не находится слов.

Подготовив «орудия производства», нас на следующий день вызывают на разбивку для распределения на работы. Наш десяток назначается на копку отводных канав. От лагеря до работ 11—12 верст, причем нужно переходить болото «Урил» по горло в грязной, покры-

той ржавчиной, воде. Чтобы не измочить одежду, мы раздевались, оставляя только на ногах обувь, а одежду взваливали на голову и переносили. Наступили холода, раздеваться невозможно, вода режет тело, кровь застывает в жилах, а переходить все же надо. Розги и приклады делают свое гнусное дело. Идем одевшись. Вот поскользнулся Федя Дрожкин (наш кашевар на работе), ведро с продуктами и хлебом, которое он нес на голове, погрузилось на дно болота. Прощай, наш горох с червяками, прощай, вонючая солонина и наш насущный хлеб! А работа невыносимо тяжелая. Места все болотистые, сырые. Работаем по колено в воде, выбираем вязкую глину. Русов находит во мне чуткого товарища. Лопата непослушна ему. Она отказывается выполнять свое назначение. Лопата требует здоровых мышц и сильных рук, а у студента Русова нет ни того, ни другого. Мы работаем с ним на паре. Я режу дерн, а он выносит его на дорогу.

Грязная, холодная вода, выжатая из дерна объятиями Русова сильно промочила одежду и тело; липкая грязь толстым слоем расползлась по штанам, налилась в коты, но Русов знает, что приклад—не свой брат и надо работать, надо проводить эту проклятую «колесуху», которая на протяжении 1000 верст усеяна костями каторжан.

Каждый день делаем моцион 11—12 верст на работу и обратно с работы. Приходили измученные, мокрые. Чтобы хотя несколько обсушить одежду, подстилали ее под тело,которое от сырости и испарения покрывалось прыщами и экземой, что причиняло нестерпимую боль. Болотная вода грязнила тело, а, в довершение всего, мошка изнуряла нас окончательно. Болота, тайга, сырость,—эти «благодатные» условия благоприятствовали ее размножению, и воздух был насыщен этими отвратительными насекомыми. Мошка забиралась в рот, нос, в волосы; шея, лицо, глаза и руки опухли от укусов этой мелюзги, и никакого спасения нам от нее не было.

Тем временем ребята начали втягиваться в работу... Только со студентом Русовым было совсем неблагополучно. Этот несчастный не мог безболезненно перенести удары приклада и другого рода издевательства, на которые были весьма щедры наши хранители, и с ним случилось нечто вроде тихого умопомешательства. Он окончательно замкнулся в себя и его голоса совсем не было слышно; только конвульсивное подергивание правой брови красноречиво говорило, что его душа переживает страшное потрясение. Он почти ничего не ел, и только в глухую ночь можно было его видеть сидящим на нарах без подстилки и беззвучно шевелящим губами; устремив тупой взгляд в одну точку, он качается телом взад и вперед... Он окончательно ослаб и работать, конечно, не может. Но мы его не отпускаем от себя. Мы видим, как каждый день гонит конвой тех арестантов, которые, осмеливались заявить, что они больные, а фельдшер, казак-пьяница и бандит, признав их симулянтами,

велел гнать на работу. На этих бедняках подлецы отыгрывались. Всю дорогу на них сыпались приклады и бег не приостанавливался до места работы. Русова мы брали с собой. Иногда, когда ему идти было не под силу, то вели его под руки. Придя на работу, клали его под дерево, а конвойного умоляли его не трогать, пообещав урок выработать за него. Но не всегда нам это удавалось: конвойный со злобой набрасывался на Русова, «лодыря», который якобы не хочет работать, и бил его. Но в большинстве случаев нам удавалось его защитить.

Однажды, когда урок был необкновенно велик и мы его не могли исполнить, возвращались поздно домой, конвой нас поторапливал. Приблизительно около полпути нам перегородила дорогу команда десятка в три, идущая с работы. Остановились и мы. И нам пришлось быть свидетелями трудно описуемой по своему зверству и жестокости картины, которая оставила неизгладимую ненависть к этому проклятому конвою.—«Это бьют Мосалкова»—сообщили нам арестанты. Я протиснулся вперед. Мосалков лежал ничком на земле, а два конвойных по очереди, а иногда и одновременно, наносили ему удары по плечам и по ногам. Третий конвойный держал винтовку «на руке» против арестантов... После каждого удара из груди Мосалкова издавался хриплый стон, а тело его лежало неподвижно, как колода. Мосалкова бьют, отливают водой и вновь бьют... «Его бьют очень часто»,—пояснили арестанты того десятка, в котором он работает.

Бьют Мосалкова за неудавшийся побег. Я знал Мосалкова еще из централа. Тогда он был здоровый детина с широкими плечами, железной комплекции. Но когда он мне рассказывал про этот злосчастный побег, который принес ему так много страданий, у него внутри уже что-то хрипело, как разбитая гармошка. Легкие были отбиты, на плечах и по всему телу были черные ссадины. Бежал Мосалков, по его рассказам, с моим сопроцессником Тверезовским. Бежали они с работы, выхватив у конвоя винтовку. Этим самым они предупредили возможность расстрелять оставшихся товарищей, а также сделать тревогу. Бродили они очень долго по глухой тайге. Питались травой и яйцами птиц, ночевали на деревьях, чтобы не быть рестерзанными дикими зверями. Через несколько дней истощенные, измученные, они набрели на старый арестантский лагерь. Там они разыскали кости около кухни, все изъеденные червями. Но голод заставил не брезговать и этой случайной пищей... Подкрепив немного силы, они пошли дальше. Но тут на пути они встретили большое препятствие, роковым образом отразившееся на их мечтах, взлелеянных годами тюрьмы, мечтах о свободе. Предательская река, разлившись широко, преградила им путь. Обойти ее у них уже сил не было и перейти было негде. Но Тверезовский не останавливался ни перед чем. Он взял винтовку на плечи, одежду тоже и бросился в волны речки. «Это был безумный шаг,—гово-

рит Мосалков,—но было бы гораздо лучше, если бы я последовал его примеру». Тверезовский отплыл до половины речки. Холодная вода оледенила кровь. Обессилев, он, как камень, погрузился на дно... Похоронив товарища в речной пучине, Мосалков вернулся...

Сейчас мне трудно установить в своей памяти, каким образом попал Мосалков обратно в лагерь: нашли ли его или он сам пришел обратно, кажется, верно последнее, но финал один: из Мосалкова сделали калеку. Конвой мстил ему за своего товарища при всяком удобном случае. Мстил жестоко, бесчеловечно...

Тем временем подошла зима. Мы живем в палатках. Холод невыносимый. Вечером обогреешь палатку железной печкой, а утром встаешь окоченевший, отдираешь примерзшие к нависшей над головой палатке волосы. Работы зимой переменились. Болота замерзли. Таким образом мы избавились от сырости и мокроты. Перешли на вагонетки, тачки и таскание бревен. Как-то, когда я работал на вагонетке, подходит ко мне техник Янцен и заявляет, что техническому надзору требуются кузнецы для постройки моста через приток Арары и поэтому я, как кузнец, должен идти в кузницу. Я, конечно, не мог ему возразить, да и смысла не было, так как кузнецы были на положении вольной команды, и поэтому оттуда было легче предпринять что-либо в отношении побега. Но мои надежды не оправдались. В кузницу меня посылали с конвойным, который стоял весь день около меня, а на ночь меня сдавал в кандальную. К этому времени, приблизительно в марте (тогда мы уже находились в наскоро сколоченных бараках), из барака решили бежать Федя Дрожжин и доктор Рачинский. Дрожжин, еще на вид мальчик, интеллигентный рабочий, бойкий, выносливый. Рачинский—интеллигент, хилый, бессильный и сильно близорукий, всегда в пенснэ. Побег был сопряжен с большим риском. Но мне Дрожжин решительно заявил, что дальше он не может переносить «колесухи» и что он решил бежать—быть на свободе или погибнуть. Работая в кузнице, я сделал кинжал с ножнами, преподнес ему и пожелал успеха. Мы спали рядом. До последней минуты мы лежали в напряженном состоянии, выжидая в 1 час ночи смены конвойного. Он подкуплен и подготовлен к этому.

— «А вдруг изменит?»—Невольно закрадывается мысль. Но боимся делиться этой мыслью—страшно... Но вот настал час... Федя (так его все звали), крепко пожал мне руку, расцеловались и он, как кошка, пополз. Я прильнул разгоряченной головой к стеклу маленького окошечка, желая что-нибудь разглядеть. Тихо... Я чутко прислушиваюсь. Арестанты лежат в разных позах: кто храпит, кто бредит, а кто и мечется по постели. Дневная каторжная работа всех утомила, и все спят болезненным сном.

Проходит минута, две, три—и вдруг... бах...бабах!!! Меня затрясла лихорадка. Какая-то неведомая сила оттолкнула меня от окошка, и я лежу, боясь дышать... Все погибло!—мелькнуло в

моей голове и холодный пот покрыл мой лоб. Пропал такой милый мальчик... любимец всей команды. Даже этот зверский конвой и тот относился к нему с некоторым снисхождением, называя его не иначе как Федя. Проходит 10—15 минут, но это не минуты, а целая вечность. Все тихо, как-будто ничего не стряслось. Наконец ведут беглеца, с обвязанной головой. Ну, слава тебе, Аллах! Живой! Я с облегчением вздохнул.

— Ничего,—говорит Федя, все хорошо!—Видя, как я волнуюсь он успокаивает меня. Пуля, скользнув по виску, содрала кожу.

Этот случай отбил охоту к побегам. Летом Дрожжина отправили по слабости здоровья в централ.

А день шел за днем. Люди таяли, как восковые свечи, страдая как физически, так и нравственно. Мне остается только три месяца до конца срока каторги. Начальник Кнохт призывает меня в канцелярию и предлагает дать честное слово, что я не убегу, тогда он отпустит конвойного, так как около одного человека нет расчета держать стражу. Я ему ответил, что у него его расчет, а у меня мой. Мы разошлись. Через несколько дней он все же снял конвойного, поручив наблюдение за мной надзирателю. На ночь он меня отправлял опять в кандальную.

Кузнецы построили барак около кузницы, их всех было 4 человека. Однажды надзиратель почему-то не пришел меня гнать в кандальную, и я остался ночевать в бараке. Через некоторое время он прибежал, но коллеги уговорили надзирателя и я остался у кузнецов.

Был декабрь месяц 1908 г. На дворе завывала вьюга, зловеще посвистывая в окошке, около которого я сидел и читал какую-то книжонку. Вдруг распахнулась дверь и струя холодного воздуха охватила меня. Я поднял голову. В землянку в один миг вошло несколько человек. Впереди какие-то незнакомые в больших дорожных шубах, высокие, широкоплечие, с большими валенками на ногах. Один из них подходит и весьма вежливо спрашивает: «Ваша фамилия Фридман?» «Да», ответил я. «Потрудитесь встать, вы арестованы».

Я никак не мог себе представить, как можно быть арестованным на каторге. «Где ваши вещи, переписка?» «Вот все мое», указал я ему. Меня вывели из-за стола и передали трем конвойным, которые тут же стояли. Здесь же стоял Кнохт и надзиратели. Какой-то не то испуг, не то недоумение запечатлелись на их отвратительных рожах.

Меня отвели в надзирательскую, где я и переночевал. Там я узнал, что приезжие—жандармский ротмистр и два жандарма. Приехали они специально из Благовещенска по распоряжению владивостокского охранного отделения арестовать меня и препроводить в Хабаровск. Причина ареста им неизвестна.

На утро коллеги заковали меня в кандалы. Поехали три тройки, и я в сопровождении трех конвойных, двух жандармов и одного

жандармского ротмистра оставил каторжную «колесуху»... Вся команда меня провожала, ломая голову в догадках, что это за «штука» и чем она кончится. Ломал и я себе голову, перебирая в своей памяти все, что произошло в течение нескольких лет моей тюремной и каторжной жизни и моей революционной работы до ареста. Конечно, ничего не мог надумать. Время было бешеной реакции. Кто знает, что они мне припишут? Смущала меня строгость, с которой меня везли. До Хабаровска 600 верст везут на переменных лошадях, не давая отдохнуть. Я сплю в санях. Арестантская одежонка не греет. В дороге от кандалов коченеют ноги.

Кое-как, еле живой, добрался до Хабаровска. Ночью прямо к полицеймейстеру Таузу. Его сиятельство справлял оргию где-то с шансонетками. Его вызвали по телефону; он был весьма не в духе и тут же напророчил мне виселицу. Я был до бешенства зол и в ответ ему сказал, что придет и его черед. Он взревел:—«Убрать мерзавца!» Меня схватили за руки и вывели. Через два дня, тщательно обыскав, жандармы в сопровождении конной стражи помчали меня на вокзал. Кругом меня стража, а я—«страшный преступник», не зная, что творится около меня, со своим арестантским багажом шагаю по средине и звон кандалов придает эффект этому торжественному шествию... Наконец, меня поместили... о, аллах! куда бы вы думали? во втором классе, в отдельном купе. Признаться, я в своей жизни еще не видел такой роскоши. Мой грязный арестантский халат, мои грязные штаны и не менее грязные бродни смутились перед белоснежным чехлом, которым был обтянут диван. И вся обстановка так не гармонировала с моей собственной персоной. Как благородна судьба! Она заботливо чередует хорошее с плохим, тем самым отсрочивая самоудушение своих жертв. Мое изломанное тело грузно погружается в пружинный диван и я засыпаю мертвым сном.

Проснувшись, я был удивлен тем, что и конвой и жандармы переменились. Оказывается, я спал 20 часов.

Вот я уже в Манчжурии. Мы проспали Китайско-Восточную ж.д. и тут мои заботливые охранники уперлись лбом в стенку. Не знают—куда со мной деться. Дальнейшего маршрута у них нет, и они догадываются поместить меня в Манчжурский замок.

Товарищи—кандидаты на «колесуху», меня радушно приняли. Я пользовался их гостеприимством два дня. Кавказцы жарили мне шашлык и баранину с рисом. После двух дней в том же порядке, с теми же пакетами «экстренно и секретно» повезли в Иркутск. В Иркутске меня посадили на главную военную гауптвахту. После нескольких месяцев сидения следователь и жандармский ротмистр меня вызывают на допрос. Войдя в кабинет, я был поражен тем, что на столе, около которого они сидели, лежало несколько писем, писанных мною товарищам и товарищами мне. Содержание писем самое обыкновенное и ничего ценного для жандармерии не соста-

вляло. Здесь же лежала фотография группы александровцев, на которой были мы запечатлены. Все это было, как мне казалось, более для демонстрации.—Вот, мол, есть в наших руках доказательства. Допрос заключался в двух-трех вопросах, на которые я ничего не ответил, и меня отвели обратно. И для этого эти идиоты столько хлопотали, столько принесли мне тревожных месяцев. Я опять в Александровском централе. Опять среди своих товарищей, еще раз вижусь с ними, но среди них многих не досчитывается; из 9 человек сопроцессников только два осталось в живых. Остальные погибли при разных обстоятельствах.

Вскоре меня гонят обратно в Благовещенск, а там уже освободили на поселение. Таким образом, это удовольствие стоило мне около года лишней каторги.

М. В.

Лондонская организация помощи заключенным и ссыльным

После разгрома революции 1905 года огромное число участников этого движения попало в тюрьмы и ссылку. Положение пленников царизма было очень тяжелое; движение 1905 года захватило широкие массы города и деревни, которые особенно нуждались в материальной помощи. Все партийные организации того времени выделили особые группы, задачей которых было изыскание средств помощи заключенным и ссыльным; такие организации были не только в России, но также и за границей и, в частности, в Лондоне. В Англии были особые условия для сбора средств для заключенных. Англичане, если и давали небольшие средства для заключенных, то только с одной существенной оговоркой: «для административно-ссыльных». Англичане считали, что, если политического судил суд, тем самым был применен закон, а в этом случае англичанин не считал себя в праве вмешиваться в дела другой страны. Другое дело—если человек подвергается административному воздействию; это—в глазах англичан просто произвол; тут они считали возможным уделить свою лепту. Поэтому в Англии сборы обычно производились под видом помощи административно-ссыльным; в этом принимал большое участие А. Л. Теплов, у которого в архиве осталась небольшая переписка по этому вопросу.

Так ему пишет Петр Алексеевич Кропоткин:

Дорогой Алексей Львович!

Соня [1]) просила перед отъездом передать Вам, что она теперь едет с Mrs Hom собирать деньги митингами, устроенными в Шотландии на ссыльных в Сибири и России [2]).

Вернувшись же, сейчас займется добыванием хоть небольших денег для лондонской эмигрантской кассы и надеется добыть хоть немного. Сейчас же

[1]) Жена Кропоткина. *М. В.*

[2]) П. Кропоткин, вспомнив, очевидно, что для ссыльных нельзя собирать на митингах, приписал над словом «ссыльных» «административно». *М. В.*

просто не знает, как быть. Везде нужно. Специально достать фунтов 10—15 [1]) решительно не знаю, где. Фондов у меня теперь нет никаких, а сам я, видите, более месяца хвораю, работаю, но с ужасом вижу, что работа совсем не спорится.

Крепко жму руку. *П. Кропоткин.*

Австралийские эмигранты, потерявшие связи с Россией, обращаются к лондонской организации:

Уважаемые товарищи! За последний год мы потеряли все связи с товарищами в ссылке и каторге. Наше общество ставит своей задачей исключительно помощь политическим сс.-пос. и каторжанам в России без различия партии и национальности, за исключением социал-патриотов. В нашем распоряжении имеется около 100 фунтов [2]), которые мы хотим отправить в Россию. Можете ли вы сообщить нам, имеется ли в Лондоне группа содействия Росс. Соц.-Дем. Р. П? Вообще нам необходимо знать, имеется ли в Лондоне такая организация, на имя которой мы могли бы перевести деньги с тем, чтобы они были переведены в Россию для полит[ических].

Если вы можете способствовать нам в этом отношении, то мы будем вам очень благодарны. С товарищеским приветом Иван (подпись не разобрана).

Адрес . . . . .

[Печать]: «Австралийское Общество помощи политическим ссыльно-поселенцам и каторжанам в России».

Из Австралии у А. Л. Теплова имеется еще одно письмо по тому же вопросу:

Я, нижеподписавшийся, Израил Унеров передаю Ивану Лундину десять шиллингов [4]) для передачи в Лондонское общество помощи политическим ссыльно-каторжанам в России и Сибири. Деньги собраны среди сиднейской публики, в чем и подписываюсь с товарищеским приветом *Израил Унеров.* Посылаю привет товарищу Теплову и всем остальным товарищам, работающим для пользы русской революции. Знайте, товарищи, что и здесь, за океаном, ценят Ваш труд.

Имеется также письмо от лица, близко стоящего к организации помощи каторжанам в Шлиссельбургской крепости, в которой главное участие принимала мать каторжанина Лихтенштадт. Письмо ярко рисует как положение каторжан, так и те мизерные ресурсы, которыми располагала организация, добывавшая их огромными усилиями немногих лиц, посвятивших себя помощи заключенным:

«Уважаемый товарищ! Сообщаю вам некоторые сведения о Вл., которые могут оказаться полезными для дела, интересующего одинаково вас и меня. В настоящее время, по новому закону о каторжных тюрьмах, не допускаются никакие пособия со стороны родных и заключенных, за исключением денежного пособия в размере 3 рублей в месяц на человека. В декабре прошлого года, когда в Шл[иссельбурге] содержалось около 360 заключенных, это пособие получала только одна треть, теперь же, когда число заключенных дошло до 500, этим пособием пользуются только $^1/_4$ заключенных. От казны на содержание закл[юченных] отпускается по 11 коп. в день, из коих тратится на хлеб 6 коп., на остальные же 5 коп. покупают крупу, картофель, капусту,

[1]) 100—150 руб. *М. В.*

[2]) Сто фунтов или около 1000 р. *Н. В.*

[3]) Ссыльные Балаганска получали в 1913 и 1914 гг. из Брисбена помощь от этой организации.

[4]) Около 4 руб. *М. В.*

сало. При дороговизне всех этих продуктов такая сумма совершенно недостаточна для надлежащего питания заключенных, подверженных, таким образом, хроническому голоданию и всем его последствиям. Заключ[енные] получают в день 2 ф. черного хлеба и 3 раза—утром, к обеду и ужину—по кружке горячей воды. В 12 час.—обед: тарелка баланды (род жидкого супа) и гречневую кашу с салом. К ужину—гречневую кашу. Некоторое время (года два тому назад) обращение администрации с заключенными было относительно недурно, но в настоящее время, с увеличением числа заключенных, режим стал гораздо более суровым. Количество теплой одежды недостаточно—один полушубок на 4 заключенных, переходящий с плеча на плечо, с больного на здорового, ежедневно во время прогулок. Время прогулок крайне ограничено. В середине прошлого 1908 года несколько лиц, близких к заключенным, организовали маленькое общество для улучшения положения закл[юченных] в Шл[иссельбурге]. Ввиду ограниченности средств, а также ввиду того, что пожертвования не принимаются иначе, как на всю тюрьму, пришлось ограничить это улучшение самым необходимым. Так как наиболее гибельное влияние на здоровье заключенных имеет недостаток питания, то было решено все силы и средства направить на этот пункт. Начали снабжать заключенных чаем, сахаром, овощами; больных—белым хлебом и молоком (на человека требуется приблизительно, $^1/_4$ ф. чаю и 2 ф. сахару в месяц). Но и эта цель—улучшение пищи в указанных пределах—не всегда могла быть достигаема, вследствие лишения заинтересованных лиц всех путей открытого обращения к обществу, администрация тюрьмы предупредила, что все эти льготы, прием пожертвований, сообщение сведений о больных и т. д., будут продолжаться только до тех пор, пока все будет делаться келейно, и что при малейшем разглашении того, что в Шл[иссельбург] проникает частная помощь, все пути туда будут закрыты. Таким образом инициаторы этого дела (в числе их мать и жена одного из приговоренных к пожизненному заключению [1]) должны были ограничиться сферою личных знакомств. Существовавшие раньше кружки, ставившие себе те же задачи, понемногу, по разным причинам, главным образом из опасения административных гонений, охладели к этому делу и дошли почти до полного его прекращения. Вполне понятно, что работа в подобной обстановке не только чрезвычайно тяжела, но и почти безрезультатна, и надо удивляться только, что сил этих лиц хватило на поддержание тюрьмы в течение более $1^1/_2$ года при самой незначительной поддержке со стороны [2]). Та же группа лиц снаряжала в путь отправляемых в ссылку и продолжает помогать им, а также поддерживает и тех, которые были переведены из Ш[лиссельбурга] в другие тюрьмы.

Примечания: 1) Так как основные продукты, на которые тратятся почти все собираемые средства,—чай и сахар, то было бы огромным облегчением, если бы нашлась подходящая фирма, которая согласилась бы отпускать для этой цели чай и сахар по своей или хотя бы по оптовой цене.

2) Пожертвования этими продуктами в Англии не достигли бы цели, так как пошлина на фунт сахара в России 15 коп., а на фунт чая, провозимого по европейской границе,—52 коп.

3) Все сношения (деловые) велись до сих пор через одно, вполне благонадежное в глазах администрации, лицо; на все посланные суммы были получены расписки.

4) Если бы фирма В[высоцких] в лице товарища В[ысоцкого] согласилась сделать некоторое пожертвование и затем отпускать чай и сахар по оптовой цене, товарищу В[высоцкому] могло бы быть указано лицо, известное его друзьям.

[1]) *Лихтенштадт. М. В.*

[2]) Из Лондона было послано всего лишь около 20 фунтов (200 руб). *М. В.*

И. А. Здоровец

Киевская Лукьяновская тюрьма.

(Записки бессрочника.)

I. В «Косом Капонире»

Крепость «Косой Капонир» наполовину опустела. Осужденные на бессрочную и 20-летнюю каторгу саперы были отправлены в различные каторжные тюрьмы.

Мы также ждали своей очереди. Однообразие и монотонность жизни притупляли мысль. Все углы и щели крепости были изучены и осмотрены, надписи, испещрявшие стены, прочтены не один десяток раз.

— «Подольский, осужден к расстрелу, завтра меня не будет. Прощайте. 6 марта 1906 г.».—«Петров—осужден на бессрочную каторгу за экспроприацию банка, завтра больше не увидимся. Прощайте. Женя. 1905 г.».

Сотни имен и фамилий передавали свою скорбную историю, уходя в каторгу или на эшафот. Многие имена стерты временем и непогодой.

Некоторые товарищи, желая оставить память о себе, присоединяли свои имена к сотням других, вырезая их гвоздем на стене.

— Сколько раз и сколько лет мы будем еще читать на крепостных стенах историю революционной борьбы и скоро ли будет сокрушена твердыня царизма?—так думалось при чтении надписей.

Близилось лето к концу. Наступила осень. Когда-то широкие зеленые листья лопуха, росшего перед окнами, пожелтели и сморщились.

Высохшие стебли бурьяна вздрагивали от пробегавшего ветерка.

Солнце реже заглядывало в окно и лишь на короткое мгновение узкий луч его пересекал деревянный частокол.

Отсутствие книг и газет скуку создает ужасную. Все темы исчерпаны. 30 человек ничем незанятые ходят из угла в угол, о чем-то размышляя.

—Давай бежать,—сказал мой одноделец Зинченко, осужденный на бессрочную каторгу.

—Согласен хоть сейчас, но я не вижу такой возможности.

—Павлушу знаешь?

—Конечно, знаю.

Павлуша был поваром в крепости, готовил нам обед—и я не мог понять, при чем здесь он.

— Так вот,—фартук видел на нем?—Да, видел.—Я уже придумал, что мы сделаем,—пояснил он.

—Прежде всего нужно достать два мешка, сшить из них фартуки, замазать и засалить их так, чтобы они были похожи на Павлушин. Затем наденем их, возьмем под мышку—ты мешок, а я корзину, подойдем к часовому и скажем, что мы повара, работающие в крепости на кухне, и чтобы он пропустил нас в город за покупками.

Я рассмеялся, так как не мог представить себе, как бы мы могли сойти за поваров, если Павлуша был ниже нас ростом чуть ли не в два раза,со шрамом на щеке, выделявшим его между солдатами, к тому же он шепелявил немилосердно.

— Пустяки, часовые меняются ежедневно и в лицо повара не знают; им только известно, что он в солдатской форме, а последняя у нас есть,—не унывал Зинченко.

В камере сидели наши товарищи однодельцы, принявшие активное участие в подготовке этого своеобразного побега.

Два мешка были получены через того же Павлушу, служебное положение которого мы собирались использовать.

Однако сшитые нами два фартука резко отличались своими чистым видом от Павлушиного. Мы с Зинченко под общий хохот начала тереть их об асфальтовый пол, затем облили борщом, принесенным на обед, и снова продолжали отшлифовку.

После такой операции оба фартука по виду были значительно грязнее и неопрятнее Павлушиного. Мы были довольны своим достижением и, спрятавшись в угол камеры, надевали их по нескольку раз. Солдатские фуражки и гимнастерки с погонами у нас были. Хуже дело обстояло с корзинкой—последней мы не могли достать. Решили итти без нее, взяв под мышки разорванный на две части мешок. Через несколько дней все было готово. На прогулку выпускали всю камеру сразу. Маленький дворик, обнесенный высокой стеной, давал в зможность наблюдать за нами лишь одному часовому, выполнявшему обязанности ключника. Однажды утром, после чаю унтер-офицер, выпустив нас на прогулку, ушел, сказав часовому, чтобы он присматривал за нами.

Передники и мешки мы брали ежедневно с собою на прогулку, пряча их под рубашку. Сегодня, казалось, был самый подходящий случай.

Часть товарищей, сбившись в кучу, закрыли нас от часового, а некоторые отвлекли последнего разговором. Мы быстро надели передники и надвинув на лоб поглубже фуражки, направились к часовому.

— Открывайте нам,—сказал твердым голосом Зинченко.—А вы кто такие?—спросил застигнутый в расплох часовой.

— Да разве вы нас не знаете? Мы повара, идем на базар за продуктами,—ответил я, делая удивленное лицо.

Часовой медленно достал из-за пояса большой ключ и начал открывать висячий замок. Сердце запрыгало от радости. Вот еще один поворот ключа, откроется калитка—и мы на воле, прощай крепость, прощай бессрочная каторга—мы уйдем от тебя и снова будем бороться за свободу, будем выручать из неволи товарищей.

— Ваши пропуска,—спросил часовой, отомкнув замок и не открывая калитки.

— Да, что вы, точно новичок, не знаете, что поваров выпускают без всяких пропусков,—убеждал Зинченко.

Часовой молча нажал дужку замка и, щелкнув ключом, вызвал свистком дежурного по коридору. Часовой, видно, не подозревал нашего замысла,—он хотел лишь проверить себя, не перепутал ли распоряжения начальства.Мы, одетые в передники, стояли рядом с часовым ожидая развязки. Товарищи ходили по маленькому дворику, молча поглядывая в нашу сторону.

— Это что за шутки—крикнул унтер-офицер, выйдя из крепостных ворот и увидя нас в передниках.

Часовой, очевидно,не уясняя себе происходящего спросил: господин дежурный, можно ли выпускать поваров без пропусков?

— Каких поваров? удивленно спросил дежурный.

— А вот они говорят, что идут за покупками.—Какие тебе тут повара, это бессрочные каторжане,—растерянно вскрикнул дежурный.—Марш за мною,—скомандовал унтер-офицер.

Мы пошли. Нас обыскали и, сняв передники, посадили в карцер.

II. Перевод в Лукьяновку

20 сентября 1907 года 30 селенгинцев, осужденных на разные сроки каторги, выстроились в два ряда на небольшом крепостном дворе, окруженные густым кольцом конвоиров.

— Вот еще двое,да смотрите в оба,они в карцере сидели за побег,—сказал дежурный конвоирам, передавая Зинченко и меня. После темного карцера глаза щурились от солнечного света. Нас поставили в средние ряды.

Сделав перекличку по фамилии, конвоир объявил, что всех отправляют в Киевскую Лукьяновскую тюрьму.

Позади остались высокие крепостные валы с часовыми на них. Вдали виднелся утопавший в желтой листве Киев. Публика с любопытством смотрела на нас—солдат, оцепленных многочисленным конвоем.

Мы пересекали одну улицу за другой. Наконец, на окраине показался 4 этажный грязно-коричневый фасад. Это Лукьяновская

тюрьма, в которую мы когда то предполагали посадить офицеров. Тюремные ворота со скрипом открылись и, пропустив нас, грузно закрылись. Процедура сдачи и приемки арестантов закончилась и мы очутились в полутемном помещении, в углу которого лежала на полу куча кандалов, а на подоконниках навалены были какие то грязные тряпки.

— Подходите и получайте белье,—приказал надзиратель, показывая рукою на подоконник,—а свое снимайте и давайте мне.

Один за другим подходили за получением белья. Я ощутил в своих руках что-то скользкое, грязное. Развернув и присмотревшись ближе, увидел, что это было пресловутое «белье», о котором говорил надзиратель. Суровый холст, покрытый толстым слоем пота и грязи, лоснился точно вымазанный салом. Между рубцами бесчисленных заплат лепились густые кучи вшей.

— Не наденем этой гадости,—как-то сразу вырвалось у всех.

Надзиратель, флегматичный украинец, видимо привыкший к такому «белью», хладнокровно сказал:—эх, вы масалки (так называли на тюремном жаргоне солдат),—скажите спасибо, что выстиранное дали, а то грязное дадут и ничего не сделаете. Это тюрьма. Вот мы дадим вам еще бесплатный подарочек, которого хватит на всю вашу долговременную жизнь,—показывая на кучу кандалов, сказал надзиратель,—а сносите, получите новенькие прямо с иголочки,—добавил он.

Издевательство и насмешки еще больше возмутили нас.

— Начальника давайте сюда!

— Начальника? — переспросил хладнокровно надзиратель,—что-ж дадим, если вам хочется повидать его.

Вскоре явился начальник. Толстяк выше среднего роста, брюнет с проседью. Кончики небольших черных усов чуть опускались вниз. Выбритое лицо с прямым, слегка крючковатым носом, приветливо улыбалось. Черные небольшие глаза добродушно смотрели из-под изогнутых бровей. Вся фигура невольно располагала к себе. Фамилия его была Малицкий. Уголовные, пользуясь его слабым характером, часто издевались над ним вплоть до опрокидывания «параши» на голову. Впоследствии он был снят за «дезорганизацию» тюрьмы, как тогда говорили.

— В чем дело?—спросил Малицкий. Мы показали ему белье и попросили переменить. Посмотрев и притронувшись к нему пальцами, он сказал: у нас все такое, выбирать не из чего; нам денег не дают и белья нового не отпускают. Принеси им другое, пусть посмотрят и выберут,—добавил он, обращаясь к надзирателю.

— Слушаюсь—ответил тот.

Вскоре мы копались в куче вновь принесенного «белья», и убедились, что оно «все одинаково и выбирать не из чего». Выданные брюки и бушлаты из сурового холста были хотя и грязные, но по крайней мере без вшей.

Одетые в такого рода «костюмы» и «белье» мы похожи были на обшарпанных нищих или пропойц. Мой вид вызвал неудержимый хохот у товарищей.

По росту я не мог подобрать себе одежды, поэтому, бушлат не сходился на груди на целую четверть, а рукава едва закрывали локти. Брюки были чуть пониже колен, туго обтягивая ноги точно резиной. Белая камилавка из сурового холста прикрывала макушку остриженной головы.

— Подходите сюда, садитесь без приглашения, не стесняйтесь; выбор неограничен, по желанию,—сказал надзиратель, показывая на кучу кандалов, лежавших в углу.

Пришел кузнец с молотком в руках. Мы один за другим подходили к наковальне, стоявшей у кандалов, садились на пол протягивая ноги. Надзиратель подбирал кандалы, примеривая их, желая установить не велики ли кольца, не слезут ли они с ног.

— А ну-ка, дайте вашу ножку, примерим, чтобы все было в порядке и на месте,—приговаривал он, поворачивая обруч кандалов вокруг ноги. Когда все было примерено и прилажено, подходил кузнец, закладывал железный болт в дырки обручей, складывал их вместе, клал на наковальню и заклепывая наглухо, «гекая» за каждым ударом молотка. По окончании заковки всем выдали кожаные пояса, подхваты[1] и подкандальники[2].

Все закованные, обезличенные. Нет больше твоего я, твоих желаний; все крепко, наглухо заковано, под кандалами. Отныне ты только определенный порядковый номер. Тебя будут переводить, переставлять, как вещь, не справляясь с твоим желанием. Сегодня здесь, а завтра, быть может, в Сибири, в рудниках, глубоко под землею. Какой контраст: борьба за свободу и цепи на ногах! Это реальное содержание каторги, ее начало, а будущее спереди, полное неизвестности.

Вечерело. В углах стоял полумрак. За мною, по два, шнурочком,— скомандовал надзиратель. 30 пар кандалов глухим эхом отозвались в опустевшем помещении. Мы очутились в узком длинном дворе, терявшемся в темноте. Перед нами высилось 4-этажное здание, окутанное вечерним полумраком.

Это была тюрьма.

— До здравствуют товарищи селенгинцы! Ура! Ура!—вырывалось из окон.

— Да здравствует вооруженное восстание среди войск! да здравствуют солдаты и матросы—борцы за свободу! Долой самодержавие! да здравствует Учредительное собрание!

Мы были поражены неожиданной для нас встречей. Ура катилось

[1]) Подхват—кусок ремня, которым прикрепляли кандалы к поясу.
[2]) Подкандальники—подобие узких голенищ на пряжках, надеваемые под кандалы.

все громче и громче, переливаясь волной. Казалось, что тюрьма превратилась в тысячеголовое живое существо.

Нас провели через 4 этажа. Ура то стихало, то поднималось еще с большей силой.

— Это политика так встречает вас, точно министров,—пояснил надзиратель.

— Стой, заходи,—раздалась команда.

III. Камера №5

Мы зашли в камеру, помещавшуюся на 4-ом этаже. Я остановился поср дин , знакомясь с новой обстановкой. Большое квадратное с решеткой окно, выходило на улицу. Стены были выкрашены до половины черной краской. 12 коек, прикрепленных у изголовья к стене, были приподняты кверху. На полу возле дверей стояла большая деревянная «параша». Керосиновая лампа, подвешенная к потолку и обтянутая железной проволокой, тускло освещала камеру. Я повернулся и, подойдя к двери, хотел открыть ее, но, увы, она неподдавалась.

Бывают моменты, когда человек попадает в тяжелые для него условия и не сразу реагирует на них, смягчая этим самым остроту переживаний. Нечто подобное происходило со мной тогда. Ведь не в первый раз сижу за решеткой и не первый раз закрылась за мною дверь, это уже повторялось много раз,—и все таки я только сегодня почувствовал какую-то жгучую боль, какой-то ужас охватил меня.

Неужели никогда больше не смогу выйти, когда мне захочется? Неужели имея свои желания, привычки, никогда не буду распоряжаться ими? Еда, сон, труд, отдых будут регулироваться кем-то посторонним. Нет больше моего я—оно закрыто под замком, сидит за железной решеткой. Камера—это моя живая могила... Я подошел к окну. Вдали тысячами огней горел город. Там свободно ходят, говорят, свободно могут уйти когда и куда захотят.

Мысли мои были прерваны окриком надзирателя, предложившего взять постель. Схватив все в охапку, я ощутил тяжесть в руках. Содержимое матраца болталось в его уголке, напоминая оклунок с землею. Разорвав один край и засунув руку, я вынул горсть мелкой соломы, перетертой в порошек. Пыль ударила в нос. Холщевая наволока на подушке была покрыта толстым слоем грязи. Края суконного одеяла напоминали сильно засаленную тряпку. По свистку опустили кравати и разослав матрацы легли, укрывшись одеялом. Сразу же, что-то заползало по рукам и ногам. Подскочив к лампе, я увидел бесчисленное множество больших и малых вшей, застилавших одеяло. Я бросил его на пол. Вскоре многие товарищи последовали моему примеру. Но этим дело не кончилось. Ночью голодные клопы выползли из своих щелей, облепляя стены и постель. Первая бессонная ночь окончилась.

— Господин помощник, распорядитесь переменить одеяла,—они полны вшей,—заявили мы на утренней проверке.

— Во-первых, не господин, а ваше благородие,—поправил помощник,—а во-вторых, других одеял нет,—все такие.

— Как же быть, укрываться нечем?

— Все равно сидите без дела целый день, вот и будете бить,—к ночи ни одной не останется,—посоветовал он.

IV. Первый день в тюрьме.

Прошла проверка. Уборщики принесли хлеб по два фунта каждому и кипяток в большом медном чайнике. Напились чаю . Заняться нечем, так как ни книг, ни газет нет. Начал ходить по камере, чтобы убить время.

— Вот вам бачек на 5 человек один,—сказал надзиратель, открывая камеру,—смотрите, берегите, они записаны на вашу камеру, а теперь выходите в коридор, получайте обед.—Нам дали борщ и кашу. День закончился ужином, состоящим из жиденькой кашицы, заправленной салом. Прошла поверка.

— Значит так будет завтра, послезавтра, так будет год, два, без конца,—думал я.

Жизнь тянулась однообразно, как заведенные часы, сменяясь поверкой, обедом, ужином и снова поверкой.

Наступила глубокая осень. Небо заволокло густыми тучами. Моросил мелкий дождик. Деревья обнажились, сиротливо покачиваясь.

Холодные осенние ночи заставили вспомнить о сложенных в кучу одеялах, лежавших на полу.

Кто-то придумал остроумный выход для уничтожения насекомых, порекомендовав разостлать на полу одеяло и гладить его дном чайника с горячим кипятком. Но вскоре наступило разочарование: многократно повторенные манипуляции с чайником оставляли насекомых живыми. После прогревания вши расползались в разные стороны. Попробовали сметать веником, но ничего не вышло. Пришлось прибегнуть к самому последнему, но радикальному средству—уничтожению. Дикое, отвратительное зрелище: несколько человек, разостлав на полу одеяло, уничтожали ногтями насекомых, расползавшихся во все стороны.

Вот тут то мы и вспомнили «мудрый» совет помощника: «делать нечего, будете сидеть и бить». Такая операция повторялась ежедневно и ей никто уже не удивлялся.

V. Подготовка к побегу

Политические и уголовные, бессрочные и просто каторжане с различными сроками—все одинаково рвутся на волю, которая

грезится им на яву и во сне. Чем неприглядиее, чем неуютнее жизнь, чем больше лишений—тем сильнее тяга на волю.

В тюрьме по секрету уже давно говорили о массовом побеге.—Все должны бежать,—передавали нам. Сравнительно вольный режим способствовал подготовке. Однажды в ясный, осенний день, когда по обыкновению выпустили на прогулку сидящих всего коридора (около 200 человек), нам сообщили, чтобы наша камера готовилась к побегу.—Вам ничего не придется делать, —сказал нам инициатор побега анархист Логвиненко,—мы сами все подготовим. Известно было, что план побега состоял в следующем: 4-й коридор, на котором мы сидели, возьмет на себя почин. Часовой, стоявший в коридоре, и надзиратель будут связаны и обезоружены. По условленному заранее сигналу 3-й коридор должен сделать тоже самое. Затем 2-ой и так далее. Когда во всех коридорах будут перевязаны и обезоружены часовые, тогда все арестанты должны двинуться по сигналу в контору, где, обезоружив администрацию и охрану, занять выходы, а вечером—кто куда.

План был грандиозен, но не менее фантастичен. Массовые побеги вообще обречены на неудачу. Наш не был исключением, ибо о нем знали почти все арестанты и говорили вслух.

Однако мы решили принять участие в этом побеге. Мой одноделец Зинченко достал несколько ножевок, при помощи которых мы принялись перепиливать кандалы. Работа усердно продолжалась посменно и к следующему дню 30 пар кандалов были распилены и временно связаны нитками.

В прозурку влетела записка следующего содержания: «В 3 часа идем на прогулку». Это был условный сигнал к побегу. Ждем назначенного часу. Волнуемся, скоро ли начнется.

Вдруг сразу бух-бух. Два выстрела раздались один за другим. «Караул, спасите!» Выстрелы и крики послышались под дверями нашей камеры. «Ради бога не убивайте»,—упрашивал часовой-солдат. В коридоре и камерах наступила жуткая тишина. Казалось полет мухи слышен. И снова: бух-бух. Донеслись выстрелы уже со двора. В коридоре послышался топот ног. И снова все стихло. Защелкали висячие замки на дверях: «Сдавайся, стрелять буду! Выбрасывай оружие!»—донеслось к нам.

— Кончено,—вырвалось у кого-то из нас.

Долго слышались в коридоре возня и ругань. Наконец, открыли нашу камеру, предложив выйти всем. «Да у них, наверное, кандалы в порядке; они не успели еще заразиться тюрьмой,—сказал Малицкий,—а все таки посмотрите, на всякий случай».

— Пять, шесть... десять, одиннадцать... Э, да у них все кандалы перерезаны, ваше высокоблагородие,—воскликнули надзиратели в один голос.—Ах вы, сукины сыны, уже успели снюхаться—сокрушенно сказал Малицкий и приказал перековать всех.—Да хорошенько,—добавил он.

Мы очутились в знакомом нам помещении, где под ударами молотка края заклепок заворачивались, крепко стягивая обручи кандалов.

Когда все были закованы, старший надзиратель, отсчитав 10 человек, приказал их отвести в карцер. Я очутился в какой то совершенно темной конуре с кирпичным полом. Ночью я подскочил от прикосновения к лицу чего то холодного и мокрого. Я долго не мог понять в чем дело. Но когда услыхал бешеный писк, догадался, что это были крысы.

Я снова лег, закрыв лицо полой бушлата. Крысы с писком клубком катилися через меня. Я вздрагивал и вскакивал на ноги, но, усталый от бессоной ночи, снова ложился на кирпичный пол.

Наконец, я догадался, что крысы дрались из-за хлеба, лежавшего на полу, отнимая его друг у друга. Нащупав обгрызанный кусок, бросил его в парашу. Это помогло: не найдя объекта раздора, крысы исчезли, навещая нас лишь изредка. В карцере я получал хлеб и воду и лишь на 4-е сутки мне дали горячую пищу. На 5 день я был переведен в камеру, где узнал причину неудачи побега. Рассказали следующее: надзиратель, вызванный арестантами под каким-то предлогом в уборную, быстро был связан, но часовой, неудачно схваченный, вырвался и успел выстрелить. Между ним и нападавшими арестантами завязалась борьба, в результате которой часовой был связан. Однако, наружная охрана, услыхав выстрелы, дала тревожный сигнал. Таков финал массового побега.

VI. «Иваны» и «Блатные»

После неудачи побега некоторые заключенные были переведены в другие камеры. Меня посадили в камеру № 3, в которой преобладали уголовные. Последние делятся на «блатных» и «неблатных». К первым относятся воры—рецидивисты, десятки раз судившиеся за кражи, грабежи и убийства. Их прошлое оценивается количеством преступлений, многократность которых служит предметом гордости в воровской среде. Блатные—это тюремная аристократия, пользующаяся авторитетом среди младшей братии—мелких воришек. Их слово имеет вес и решающее значение. К их голосу всегда прислушиваются и всюду в ним считаются.—«Так Петька сказал», «так Сашка посоветовал»,—слышите вы от воришек, не имеющих еще надлежащего воровского стажа. Блатные в большинстве своем щегольски одеты, носят чисто выстиранное белье, конечно, не собственными руками, а трудами воришек без стажа. О хлебе, обеде не его дело заботиться—ему принесут и лучший кусочек подадут.

Неблатные—это воры с небольшим воровским стажем, или совсем без всякого стажа попавшие в тюрьму в первый раз. Они только кандидаты в блатные, им нужно еще совершить целый ряд крупных краж, не один раз посидеть в тюрьмах и лишь тогда они приобщатся к семье «блатных».

«Иваны»—это высшая категория блатных, это командиры, любящие задавать тон в воровском концерте. Бывают случаи, когда молодой воришка пренебрегая авторитетом блатного, в пылу ссоры прогуляется кулаком по скулам последнего. Тогда раздаются бранные выкрики старших и самого обиженного.—Да ты знаешь, гад, что я во всех тюрьмах побывал, 20 лет воровством занимаюсь, а ты драться ко мне лезешь, молокосос!—Да, да, ты гад, Гришка! Зазнался, вчера торбохватом был, а сегодня—до морды полез,—слышатся замечания.

«Блатные, «Иваны» и «неблатные» мнят себя солью земли. Они все, а остальные, не примыкающие к их воровской касте,—ничто. Они проклинают и смотрят с презрением на всех. Политика не была у них исключением.

VII. Каламбит

Каламбит—вор-рецидивист, высокого роста, широкоплечий, с толстой, как у быка, шеей; с большими серыми на выкат глазами, прикрытыми лохматыми бровями; с большой круглой головой и низким лбом. На вид ему было около 40 лет. Его прозвали «иерихонской трубой» за необычайно громкий голос.—Подниму всю тюрьму на своих плечах. Садитесь все на меня—буду носить по камере,—говорит он. Как то раз 5 человек хотели побороть его, но ничего сделать не могли.

Однажды в пылу картежной игры, в которой Каламбит принимал участие, блатной Бабуркин—маленький, плюгавенький,—заметив шулерские проделки, ошарашил его по голове наметельником, отчего последний с треском переломился на две части. Каламбит, сверкнув глазами, схватил за грудь Бабуркина и, приподняв выше головы, крикнул:—Прощайся, гад, с жизнью; сейчас останется от тебя мокрое место!—И только просьба его товарищей, заставила отпустить Бабуркина. Каламбит был на редкость эгоистичен. Он думал и заботился только о себе. За обедом набрасывался на мясо и вылавливал его ложкой из борща. Кашу съедал двумя—тремя глотками. Его товарищи, тоже блатные, всегда ежились, посматривая друг на друга, когда он пододвигал бачек к себе. Если Каламбит видел вкусную еду, он молча подходил, садился, отрезал без спроса лучший кусок и не вставал, пока не наедался. Но были случаи, правда, очень редкие, когда у него пробуждалось альтруистическое чувство и он делился с другими своим лакомым кусочком. Как-то раз его товарищ Бабуркин, оступившись на лестнице, вывихнул себе ногу. Каламбит принял в нем самое живое участие: взяв на руки Бабуркина и бережно поддерживая больную ногу, отнес его в больницу.

Каламбит ходил по камере целыми днями, разговаривая сам с собою и временами жестикулируя кулаками.

Длинные зимние вечера убивал за картами. Поджав под себя ноги, он богатырскими руками тасовал карты, раскладывая их кучками на разостланное одеяло, вокруг которого сидели игроки. Тусклый свет лампы падал на лица, охваченные азартом. Табачный дым носился густым облаком по камере. Звон кандалов лязгал в ушах.

— Крой, пошел, бью, моя,—несутся возгласы.—Эх, ты, гадская душа, выдала!—Нет, номер не пройдет!—басом выкрикивает Каламбит, шлепая картами.

Лица сосредоточены, глаза устремлены в одну точку. Деньги, белье, даже пайки хлеба—все ставится на кон. Один за другим встают неудачники, проигрывающие последний пятак. Десяток голов, столпившись вокруг игроков, жадно следит за картами. Это все—неудачники, ожидающие счастливой минуты, когда доверие к их кредитоспособности восстановится.

Картежная игра сменялась руганью и мордобитием. Принесенная «ментом»[1]) сивуха снова восстанавливала мир. Тогда за рюмкой живительной влаги Каламбит говорил: «ты, Гришка, прости меня, подлеца, я погорячился, больше не буду».

Зима тянулась бесконечно долго. Каламбит часто подходил к окну, затянутому морозом и приложив большой палец к стеклу держал его пока не растает под ним снег; впивался глазом в проталину и подолгу смотрел на улицу.—Нет, марухи[2]),—сокрушенно говорил он.—Сивуху, должна принести на праздничек, вот бы чекалдыкнули по рюмочке,—облизываясь, говорил он, обращаясь к Бабуркину. Наступило рождество, которое уголовные собирались ознаменовать выпивкой. «Менты» тоже получали мзду за доставку «зеленого змия». Рождество, пасха были для них доходной статьей, Каламбит и Бабуркин, закрытые от взоров надзирателя, сидели на разостланном одеяле с сияющими лицами.

Праздничное настроение создавали две бутылки с белыми головками. Рядом стояли две распечатанные коробки сардинок.—Все таки мы праздничек встретим,—сказал весело Каламбит, срывая сургуч большими пальцами.—Выпьем за нашу честную, воровскую жизнь,—чокаясь говорил Бабуркин.

— Помни,—Гришка, одно, когда пойдем на дело, заметай следы, не оставляй живой души—пришивай в доску[3]) больших и малых,—поучает Каламбит.—Ни одного гада не пощажу, будь уверен,—клянется Бабуркин.

— Жалость и доброта моя посадили меня в тюрьму,—продолжает Каламбит,—я—старый опытный вор, не то, что жлоб[4]) какой-нибудь, пожалел гада и сам сижу здесь. Воровством занимались

[1]) Мент—тюремный надзиратель.
[2]) Маруха—женщина, с которой живут уголовные.
[3]) Пришить в доску—убить.
[4]) Жлоб—дурак.

с детства; ох и драл же меня отец. «Ты,—говорит,—стерва, сгниешь в тюрьме, как твой дядя». Синяки вот какие были на спине, лечь нельзя было. Отец умер, когда мне было 15 лет. Мать стирала белье, жалела меня. Ах,—говорит,—сыночек, ты не слушаешь меня, куда то ходишь по ночам. Сиди дома. Я буду зарабатывать и кормить тебя. Гладит бывало по головке, а сама плачет. Мы жили в Киеве тогда. Она уйдет на работу, а я убегу в «малину»[1]) и гуляю со «шпаной»[2]). Водки—хоть залейся. Один раз взяли меня на дело и поставили «на стрему»[3]). Смотри, говорят, увидишь «фараона»[4]) — пой песню. Много тогда барахла всякого набрали. Мне досталось тогда 50 руб. «Засыпались»[5]). Посадили в тюрьму, где я познакомился со старым вором Бубновым,—его убили фараоны,—который рассказал, что он брал дела на целые тысячи. Ты, говорит, дурак, учись у меня, бери только крупные дела и, самое главное, не оставляй следа, тогда будешь настоящим вором.

— Вот так делай.—Каламбит прижал один ноготь к другому и нажал,—значит, в доску пришивай. Через месяц я вышел на волю. В кармане ни гроша. Думаю, сделаю так, как советывал Бубнов.

«Славное, море—священный Байкал»—затянул Бабуркин тоненьким голоском. Каламбит подхватил басом во все горло. «Тише, вы, перестаньте горланить!—крикнул надзиратель, постучав в дверь.

— Чокнулись и еще выпили.

— Втроем решили взять магазин,—продолжал Каламбит.—Стоявшего там сторожа схватили за горло, а Петька-блатня накинул ему петлю на шею. Взяли много золотых и серебряных вещей. Закутили—дым коромыслом стоял. Поехали в Одессу. Взяли большой куш. 5 гадов зарезали. Из Одессы уехали в Житомир. Взяли дело. Хозяин поднял «шухер»)[6]. Мы пришили его и жену. Возвратились в Киев. Покутили порядком. Я проигрался. Пошли на «дело». Забрались в квартиру купца. «Нет говорит, денег, в банк сдал».—Найдешь,—говорю ему. Взял свечу и давай пятки жечь. Взмолился гад. Возьми, говорит, там, под комодом спрятаны 5 тысяч рублей. Деньги взяли, а жену и ребенка топором зарубили. Купцу сначала выкололи глаза, а потом ножом горло перерезали. В ту же ночь взяли галантерейный магазин, а сторожу привязали камень на шею и бросили в Днепр. Да, знаешь, если все рассказать, то и ночи не хватит. В тюрьме сижу 7-й раз и пришил в доску «гадюк» 15.

Каламбит и Бабуркин сидели недалеко от моей койки. Слова кровавых похождений звенели в ушах. Тени изувеченных и убитых жертв мерещились в глазах.

[1]) Малина—квартира, воровской притон.
[2]) Шпана—воры.
[3]) Стрема—стоять на страже.
[4]) Фараон—городовой.
[5]) Засыпался—задержали.
[6]) Шухер—тревога.

Ночь близилась к 12 часам. Обе бутылки стояли опорожненными.

— Но вот последний раз пожалел «гада»,—продолжал Каламбит—дворник дал дело на даче под Киевом. Перевязали сонных пятерых. От испуга никто не пикнул, увидев нож под горлом. Двое детей,—один из них в люльке,—спали. Забрали вещи, деньги, а всех пришили. «Дядя не убивай»,—просился мальчуган. Пронька распустил нюни и хотел оставить, но я тюкнул топором по голове—он и не пикнул. Маленький гад ребенок спал в люльке и мы его оставили. Но, что бы ты думал?—воскликнул Каламбит,—утром нас всех арестовали. На допросе мы узнали, что когда мы ушли ребенок проснулся и начал кричать. Сосед в открытое окно услышал крик и, подойдя, увидел трупы. «Фараоны» напали на след, провели «шухер» и нашли барахло. Если бы мы этого гада пришили, я бы не сидел здесь и не имел бы бессрочной каторги. Помни, Гриша, не оставляй живой души—тогда в тюрьме сидеть не будешь. Правду, Бубнов говорил,—закончил Каламбит.

— Да, да, ты прав, сказал Бабуркин,—я, конечно, против тебя мелко плаваю; ты старый вор, но у меня тоже был случай, о котором я расскажу тебе в другой раз. Все уже спали и лишь три азартных игрока заканчивали партию. Каламбит и Бабуркин, забрав опорожненные бутылки, поплелись к своим койкам.

Кто-то мерно похрапывал. Игроки хлопали картами.

VIII. Больница. Тиф

Киевская тюрьма была набита до отказа. Скученность доходила до крайних пределов. В 3-й камере рассчитанной на 23 человека, сидело70. Заняты были не только кровати на которых спали по два человека, но многие валялись на полу под кроватями, не имея ни матрацов, ни одеял. Белье месяцами не менялось. В баню не водили совсем. Печи не топились. Холод и сырость пронизывали насквозь. Вши ползали на всех. В камере стояло невыносимое зловоние, так как ночью содержимое параш переливалось через края, образуя большие лужи на полу.

— Тиф!—разнеслось зловеще по тюрьме. Из 3-й камеры взяли четверых. А через день еще и еще. Арестанты, как мухи, умирали. Мимо окон провозили по 3—4 гроба ежедневно. Всех, перенесших тиф, не изолировали, а сажали между здоровыми и болезнь продолжала косить. На смену умершим сажали новых. Скученность не уменьшалась. Над тюрьмою носился ужас смерти. Дезинфекция отсутствовала. Казалось, преследовалась одна цель—возможно больше отправить в могилу заключенных. Крепкий, долго боровшийся с инфекцией организм, не выдерживал и в один из мартовских дней я был взят в больницу. В холодном нетопленном коридоре деревянного барака сняли с меня белье и верхнюю одежду, заменив длинным холщевым халатом.

Барак состоял из одной большой палаты с ободранной штукатуркой. Переступив порог, остановился. Посредине палаты на полу лежали в повалку больные, головами друг к другу, а второй ряд был расположен головами к наружным стенам барака, упираясь ногами в ноги первого ряда больных. Весь барак был набит больными, прижавшимися друг к другу, как сельди в бочке. Болела голова, ноги подкашивались.—Иди, ложись сюда,—сказал служитель—арестант, раздвинув ногами двух больных. Переступив два—три тела, лежавших без движения, я повалился на приготовленное мне место. Горячее дыхание обдавало меня с двух сторон. Сосед бессознательно что то забормотал, кусая засохшие губы. Стоны перемешивались с громким бредом. Один в бреду пытался встать, но зацепившись ногами о тела других больных упал. Служитель, видимо, привыкший к таким картинам, не оказывал никакой помощи. Цепи кандалов прикасаясь к голым ногам, вызывали приятное ощущение прохлады. Вечером служитель снял с меня халат и, перевернув меня на живот, вылил на спину какую то жидкость, размазав ее небрежно ладонью.—Чем вы смазываете?—«Салом»,—ответил служитель. Я чувствовал себя плохо. Тело и голова горели. Во рту пересыхало. Я попросил воды, но никто не подошел. Крики, стоны и хохот бредящих больных оглашал палату. И барак, и больные быстро завертелись в глазах. Потолок опускался все ниже и ниже и, наконец, слился с полом. Не знаю, долго ли я находился в таком состоянии, но когда открыл глаза, то в палате мерцал слабый свет лампы. Холод пробегал по телу и я попросил одеяло.—Нет сейчас, вот утром вынесут двух мертвецов, тогда будут,—ответил служитель.

Впоследствии я был не один раз свидетелем того, как после выноса умерших их одеяла тут же передавались другим больным. Утром вынесли из палаты четверых мертвецов. Процедура выноса производилась упрощенным способом: служитель брал за кандалы, а если их не было, то просто за ноги и волочил умершего к дверям, где лежали носилки, взвалив на которые два тела, одно на другое, выносил в покойницкую. Днем показался фельдшер и, пройдя несколько шагов, переступая через больных, остановился, затем, постояв немного, вышел. Больные были предоставлены сами себе. Их никто не лечил, о них никто не заботился.

Салом смазывали, как нам говорили, для того, чтобы тело меньше теряло влаги. Только самые сильные организмы выживали. Никто не интересовался диэтой больного. Врачебный персонал показывался редко. Еду раздавал служитель, которого никто не контролировал. Он тыкал в руки судок, не заботясь о том, может ли больной есть.—Возьми обед, слышишь, оглох, что ли,—тыкая ногою больного, кричал служитель.—Да он умер,—ответил сосед.—Так бы и сказал.—Я облился, судок выпал из рук, помогите,—просит больной. —Чорт тебя не возьмет, ты видишь, что я занят,—отвечает

служитель. Проходили дни и недели. На кладбище выносили арестантов каждый день, а на их места приводили, новых которые пролежав немного, прощались с жизнью. Прошли холодные зимние дни. Наступила весна. Теплые лучи солнца приятно грели тело. Палата переполнялась больными все больше и больше.

Однажды, когда я близок был к выздоровлению, в палату привели Бабуркина, который очень обрадовался, увидев меня. Небольшого роста, худощавый, он казался еще меньше и тщедушнее. Небольшие бесцветные глаза тускло смотрели из глубоких впадин. Лицо пожелтело и сморщилось. Волосы в беспорядке падали на лоб. Он, застонав, свалился рядом со мною. «Гады, проклятые, загонят в могилу»,—выругался он. Болезнь быстро подкосила его.

С каждым днем ему становилось хуже.—«Священника дайте»,—неожиданно закричал Бабуркин рыдая. «Я убийца, я изверг и зверь. Прости меня, мое милое, доброе дитя. Я загубил твою молодую невинную жизнь». Он продолжал рыдать. Вначале я дудумал, что это бредовое явление, но потом, когда он успокоился, я спросил помнит ли он о каком ребенке говорил.—Как же не помню, до смерти не забуду этого случая,—ответил он. Дело было так: два года тому назад, мы вчетвером отправились на грабеж и прошли пешком до уездного города несколько верст. День был жаркий. Я, купаясь в реке, загнал в подошву занозу. Выйдя на берег стал ее вынимать. В это время подбежала гурьба мальчишек, один из них сказал: «дядя, дай я выну». Его маленькие ногти вытянули из подошвы большую занозу. Мы продолжали купаться, а детишки вскоре ушли. Дождашись вечера, отправились на дело. Проломав железную крышу, пробрались в дом. Все спали. Мы бесшумно вошли в комнаты и начали работать. Тем, кто просыпался приставляли нож к горлу или револьвер в лоб и они молчали. Закончив «дело», всех начали убирать—кого топором, кого ножем резать. Мальчуган спрятался под кровать. Я вытянул его за ногу.

— Ай, дядя, дядя, не убивай меня,—упрашивал мальченок. Я глянул и узнал мальчика, вынувшего мне занозу. Мне жалко стало. Но потом все же ножем перерезал ему горло. Бабуркин снова громко зарыдал и попросил священника.

— Ты, гад, нюни распустил, думал бы лучше, когда убивал, а то теперь попа захотел, душу хочешь спасти,—начал язвительно укорять уголовный.

Вскоре явился священник. Бабуркин крестясь, приподнялся на локтях.

— Спаси, господи, и помилуй нас грешных,—сказал священник.

— Простите, батюшка, мои грехи, я много душ загубил и ограбил. «Господь да простит тебя и спасет твою грешную душу»—бормотал священник. Процедура исповеди и причастия закончилась.

На второй день служитель, исполняя свои обязанности, волочил Бабуркина за кандалы к носилкам.

IX. «Мертвый убежал»

Дверь палаты открылась и два надзирателя швырнули на пол закованного в кандалы арестанта в одном нижнем белье.—Гад проклятый, будешь знать, как бегать—выругались оба. На полу лежал бледный худой арестант со вздрагивающей челюстью. Время от времени из груди его вырывался тяжелый стон.

Служители по обыкновению взяли его за руки и ноги, чтобы перенести на место, но больной издал страшный крик. Мы с любопытством ждали минуты, чтобы узнать в чем дело. Оказалось, что больной раньше лежал в нашей палате, что фамилия его Гарась и что он вор-рецидивист, осужденный на 20 лет каторги. На вопрос, что случилось, Гарась ответил: вчера днем, когда выносили из палаты мертвяков, я закрыл глаза и, затаив дыхание, прикинулся мертвым. Меня вынесли в покойницкую и бросили вместе с мертвецами. Укрывшись лежавшей там попоной, я провел ужасную ночь, стуча зубами от холода и страха. Мне казалось, что мертвецы,—а там было их четверо,—шевелятся и пытаются встать. Мне казалось даже, что они стонут. Утром, услыхав приближавшиеся к покойницкой шаги, я лег рядом с мертвецами, вытянув руки и ноги, делая вид, что я окоченел.

— Вот, кабы сжигать можно было, тогда возни меньше, а то копай яму, делай гроб,—сказал кто-то из присутствующих.

— Да еще одевай. Давече я видел хоронили купца. Гроб прямо серебряный, а костюм какой на нем. Рублей сто стоит. Наверное и денег положат ему. Прямо жалко, сколько добра пропадает. Вот если б снять такой костюмчик!

Ну, с этого не снимешь—сказал он, двинув меня в бок носком сапога. У меня дух захватило. Чуть не крикнул от боли, но с трудом удержался. Принесли гробы. Кузнецы начал сбивать кандалы. Я лежал и думал: вот еще немного потерплю, а потом когда привезут на кладбище, подниму крышку гроба, наброшусь на подводчика, сниму с него одежду и убегу. Я слушал, как мертвецов вбрасывали в гробы. Дошла очередь и до меня. Кузнец взял мою ногу и бросив на наковальню, начал разбивать кандалы и изо всей силы ударил молотком по ноге. Я, как ошпаренный, подпрыгнул и крикнул: «Ай-ай». Кузнец от испуга выпустил молоток из рук, выпучил глаза и во все горло заорал: «караул, спасите!» Надзиратель и арестанты пустились бежать, обгоняя друг друга. Я лежал и громко стонал. Вскоре пришла целая гурьба надзирателей и с руганью принесли меня в палату.

Этот своеобразный способ побега вызвал живой интерес к себе. Я старался узнать подробности, но это мне не удалось.

X. Мечта о побеге

После выздоровления меня посадили в 5 камеру, где сидело много моих знакомых и товарищей. Весенний ветер дул в открытое окно. Вдали виднелись деревья, одетые в зелень. На подоконнике прыгал воробей, растопырив крылья. Ласточки реяли в весеннем воздухе. Природа расцвела. Жизнь била ключем. В такие дни особенно кажется тягостной неволя. Простор манит к себе. Вот почему каждый год весна приносит тоску по воле, а мысль усиленно работает над множеством планов, под час фантастических и нелепых. Поэтому я не был удивлен, когда узнал о подготовке к побегу. Правда, я тогда не мог знать, что на протяжении 10 лет каторги мне придется встретить не один раз еще более фантастические планы. Картина побега рисовалась следующим образом: 5-я камера находилась на 4-ом этаже и была угловой. Предполагалось разобрать стену и спуститься по веревке примерно на один уровень с забором, отстоявшим метра на 2 от здания. Затем путем отталкивания раскачаться и прыгнуть на забор, откуда спуститься на другую сторону ограды. Затем по этой же веревке должны спуститься остальные арестанты. Началось изучение места нахождения часовых. Оказалось, что один занимает пост во дворе, вдоль корпуса до стены, через которую предполагалось бежать, а второй ходил по другой стороне забора, как раз в том месте, где приходилось спускаться на веревке. Ко всему этому нужно прибавить, что стена забора освещалась фонарем. Самая пылкая фантазия не могла рассчитывать на удачу такого трюкового побега. Надежда на темную ночь и на сон часовых не осуществилась и побег остался не реализованным.

XI. Блатные готовят нападение на политических

Красивым сказкам «обратников» [1]) о привольной жизни в Сибирских и российских тюрьмах давно перестали верить. Но полет фантазии «обратника»—переносит его в далекое прошлое и он, важно усевшись, с видом знатока повествует о слитках золота, добытого им на приисках, о богатой и роскошной жизни, о заботах и почете, оказываемых ему в Сибирских тюрьмах.

— А теперь все исчезло, «политика» все испортила,—сокрушенно заканчивает «обратник».

Революционное движение бросило в тюрьмы рабочих, солдат и матросов. Уголовные потонули, рассеялись в этой лавине. Тюремщики, применяя репрессии к политическим, урезали и былые вольности уголовных. Однако они, тюремщики, желая внести раздор

[1]) «Обратником»—называется уголовный, побывавший в Сибири и на каторге и снова попавший в тюрьму

и натравить уголовных на политических поддерживали и распространяли версии о том, что причиной введения сурового режима в тюрьмах являются политические.

Блатные, собирая вокруг себя всякие подонки, готовились к нападению. Каламбит являлся фигурой, объединявшей вокруг себя «блатных» и «неблатных». Всякие нормы общежития им игнорировались. На первый план выдвигалось звериное чувство — стремление перегрызть горло своему противнику. Основным законом, которому они подчинялись и который признавали,—это грубая, физическая сила. Голод был главным стимулом и возбудителем звериного инстинкта.

Утром, когда приносили хлеб, Каламбит при поддержке «блатных», брал на свою компанию столько, сколько считал нужным. За обедом хватал лучший кусок, не оставляя другим ничего. На протесты Каламбит рычал: «Молчи, гад, пока зубы целы. Какое мне дело до тебя? Ты меня не трогай. Пока, вас, гадов, не было, мы были сыты». Закончив обед, оставлял посуду немытой, а на следующий день насильно брал другую, вымытую кем либо. Очереди по уборке камеры не признавал: «если тебе нужно,—подметай и мой пол»,—говорил он.

Каламбит и «блатные» наглели с каждым днем: они начали отнимать передачи, получаемые некоторыми с воли. Кулаки не один раз пускались ими в ход. Жизнь становилась невозможной. Администрация смотрела сквозь пальцы на все эти безобразия, делая вид, что она их не замечает.

Политические готовили отпор. Шла переписка. В камере группами совещались. Блатные насторожились и искали повода для придирки.

Как-то раз, в холодный зимний день 3-я камера возвращалась с прогулки. Возле дверей в корридоре столпились арестанты. Анархист случайно наступил на ногу какому-то «блатному». Последний, не говоря ни слова, размахнулся из-зо всей силы и ударил кулаком по лицу. Анархист, как подрезанный, свалился на пол. «Ах, ты, гад паршивый, на мозоль наступил!—зарычал «блатной» и, подскочив, ударил анархиста носком ботинка в бок.

Товарищ анархиста Степан, коренастый, крепкий схватил «блатника» за воротник, встряхнул и ударил об пол. Блатные мигом накинулись на Степана и целый десяток повис на нем. Свалка началась. 70 человек, закованных в ручные и ножные кандалы, вцепились между собой, вертясь клубком по полу. Звон кандалов сливался со стонами и криками. Двое, обмотав вокруг шеи друг друга ручные кандалы, валялись на полу, сжав пальцами горло один другому. Двое с окровавленными лицами тузят друг друга кулаками в бока.

— Караул, спасите!—кричит кто-то.—Стой, стрелять буду, разойдись, врезавшись клином в средину, кричат надзиратели, вызванные для усмирения драки. В ход были пущены дула револьверов и ножны шашек.

Побоище закончилось. Участники драки водворены в камеру. Возвращаясь из конторы, куда я ходил по какому то делу, я случайно явился свидетелем этой потасовки.

Надзиратель, сопровождавший меня, натолкнувшись на драку, растерялся и почему-то, наставив на меня револьвер, скомандовал «ни с места, а то застрелю». Затем, бросившись бежать вниз по лестнице, закричал:—Давай охрану!

Трудно было судить, кто вышел из этой свалки победителем, но «блатные» притихли, изменив вызывающий тон на более мирный. О драке не вспоминали, точно ее не было. Атмосфера разрядилась.

XII. «Пауки и мухи»

Картежная игра, сменяющаяся выпивкой, ссорами и драками, недостаточно заполняла праздную жизнь Каламбита. Частые рассказы о кутежах, хождение по воровским притонам, связь с женщинами и молодыми мужчинами—достаточно раскрывали страницы его распутной жизни. Каламбит в свободное от картежной игры время ходил по камере, заложив руки назад, разговаривал сам с собою о красивых молодых мужчинах. Каждый раз когда в камеру сажали новичка, Каламбит первый подходил к нему, интересуясь кто он—вор или «жлоб» [1]). Как-то раз посадили к нам совсем юного арестанта, обратившего на себя всеобщее внимание. Красивое смуглое лицо заливал румянец. Карие глаза доверчиво смотрели на всех. Верхняя губа чуть покрывалась пушком. Ему было на вид лет 20. Каламбит, увидя его, втянул ноздрями воздух, прищурив глаза, точно кот на мышь и, расталкивая кулаками обступивших новичка арестантов, спросил: ты мальченок за что осужден? «За поджог»,—улыбаясь ответил новичек.—Как тебя зовут?—«Петя».

— Так вот, Петя, давай сюда вещи. Ты будешь спать на койке вон там возле печки,—указал Каламбит на свою койку. Петя, видимо, обрадовался такому участию, положив вещи на указанное ему место.

Каламбит, усевшись рядом с Петей на скамейку, оттирал и косился на всех, подходивших к нему.

— За обедом, посадив Петю рядом с собой, заботился, чтобы он кушал. Кормил его ужином и поил чаем, не отпуская от себя. Редко какой отец проявлял такую заботу о сыне.

По утрам вместе с Петей ходил умываться и вместе пил чай. Ложась спать, бережно и заботливо укрывал его одеялом. Петя, робкий, застенчивый, простой, бесхитростный говорил то, что думал, не догадывался и не подозревал дурных замыслов Каламбита. Он не замечал сетей осторожно и медленно расставляемых.

Берегись, не поддавайся,—предупреждали Петю, объясняя ему

[1] Жлоб—человек не принадлежащий к воровской среде.

цель и смысл ухаживания Каламбита. Не может быть, это делают только с женщинами,—наивно отвечал Петя.

Прошли недели и когда-то веселое жизнерадостное лицо Пети стало задумчивым и грустным. Щеки побледнели. Глаза тускло и безжизненно смотрели на окружающих.

Каламбит реже ухаживал и заботился о Пете, все чаще и чаще покрикивал на него, называя «жлобом».—Гад, не лезь своей ложкой в бачек,—кричал Каламбит. Петя молча вставал и садился в стороне. Вместо койки он очутился на полу. Обедал один из какого то черепка.

Однажды, когда лето сменилось глубокой осенью и когда густые тучи низко ползли над Киевом и мелкий дождь барабанил в стекла, Петя лежал на больничной койке, над изголовьем которой красовалась надпись—«люис».

И. Генкин

Из переписки лейтенанта П. П. Шмидта

В распоряжении Севастопольского Музея Революции имеется пачка писем покойного руководителя севастопольского восстания П. П. Шмидта, нигде еще не опубликованных. Адресованы они главным образом жене и сыну.

При изучении их бросается в глаза одна черта—это романтизм, стремление наделять окружающих его людей (особенно женщин) возвышенными чертами, которыми они вовсе не обладали. В этом отношении особенно характерна известная переписка Шмидта с Зинаидой Ивановной Р [1]. По свидетельству биографов Шмидта, такой же фантастический идеализм лежал в основе его женитьбы на Доминикии Гавриловне Павловой. По отзыву их собственного сына[2], а также А. П. Избаш (сестры Шмидта) и самого красного лейтенанта, Доминикия Гавриловна—малограмотная, серая и бесцветная мещанка, ни в малейшей степени не подходила к Шмидту, человеку с неутомимыми интеллектуальными запросами. Познакомившись с Павловой в каком-то ресторане, где она служила, восторженный двадцатилетний юноша женился на ней, чтобы спасти ее («униженную и оскорбленную») от окончательной гибели. Доминикия Гавриловна никогда не понимала порывов и стремлений своего мужа. Она опускалась даже до того, что после ареста его в 1906 г. снабжала пасквильным материалом известную тогда черносотенную газету «Новое время» и в то же время шаталась по либеральным газетам, и прикрываясь именем жены (в действительности же, бывшей) всероссийски известного революционера, выклянчивала деньги в свою пользу.

Разность характеров была слишком велика, развязка была слишком уж неизбежна, и Шмидт разошелся (в феврале 1905 г.) с женой.

---

[1] Письма эти изданы Центрархивом в 1922 г. с предисловием В. Максакова.

[2] См. заграничное издание его воспоминаний: Евг. П. Шмидт—Очаковский «Лейтенант Шмидт». Прага, 1926 г.

В печатаемых ниже письмах Шмидт переполнен нервирующими его заботами. В это время (1903—904 гг.) он бился в материальной нужде, затеял какие-то несвойственные ему дела с какими-то подрядчиками и пароходчиками. Шмидта очень беспокоила новая (в действительности, по словам сестры Шмидта, фиктивная и выдуманная с целью шантажа) беременность Доминикии Гавриловны; волновала его и судьба сына Евгения, к которому *он был чрезвычайно* привязан. В это время он был откомандирован в третью эскадру адмирала Рождественского и получил в командование огромный, в 15 тысяч тонн угольный транспорт «Иртыш». Готовясь со дня на день отправиться в тихоокеанские воды, он мог ожидать смерти от японской мины; поэтому в заботе о дальнейшей судьбе сына Шмидт и старался всячески привязать к нему его мать, старался проявлять к ней нежность, которая вовсе не соответствовала их действительным отношениям, взвинчивал самого себя семейной лирикой и т. д.

Здесь-то, в письмах Шмидта, проглядывает еще одна его черта: умение найти общий язык со своим корреспондентом. Грезовидец и фантазер, Шмидт в то же время как бы опускался вниз на любое количество ступенек, лишь бы контактировать с тем, с кем он в данный момент имеет дело. Качества эти видны не только из того, что свои письма к жене Шмидт постоянно сопровождает шаблонным: «Христос с тобой», «Господь да поможет нам» и т. п. обращениями, режущими ухо современного советского читателя, но и из того, что в этих своих письмах Шмидт не выходит за пределы чисто житейских почти обывательских интересов.

Почти в это же самое время он в письмах к своему 16-летнему сыну (с которым он всем делился, как бы с совершенно равным себе по развитию человеком) затрагивает совершенно иные проблемы. Точно так же, совсем других проблем (философских, исторических и политических) он касается в своей лихорадочной переписке с Зинаидой Ивановной Р.

Очевидно, этим же качеством Шмидта,—его старанием приноровиться к интересующим его людским объектам,—надо объяснить и такие *диссонансы в его политическом поведении*, как официально-патриотический язык (долг, присяга) при попытке распропагандировать офицеров, или лозунг: «бог, царь и народ с нами», при помощи которого он пытался привлечь на сторону революции наименее сознательные слои матросов, или, наконец, странное, в славянофильских тонах выраженное заигрывание Шмидта с идеей о том, что вся беда, мол, не в царе, а в бюрократическом средостении между царем и народом, мысль, которую он высказал на суде, пытаясь спуститься на несколько ступенек до уровня понимания своих палачей—военных судей.

Мало вероятно, чтоб в такого рода поведении нервно-импульсивного, непосредственного и абсолютно бескорыстного лейтенанта

Шмидта было какое-то сознательное и нарочитое статегирование. Скорее всего в этом сказывалась органическая черта Шмидта, тонко на все реагирующего, его умнее сразу прревоплощаеться и переключать свое внимание, обращая его на человека или на группу людей, которых он стремится в данный момент поднять до себя. Правильно или ошибочно,—это другой вопрос.

В отличие от писем к жене письма Шмидта к сыну показывают нам его как вдумчивого наблюдателя тогдашней политической обстановки. Перед нами *интеллигент-одиночка*, не имевший никаких непосредственных связей ни с большими социальными массами, ни с какой-нибудь *определенной политической партией*. Таким же, в сущности, был Шмидт и тогда, когда он очутился в роли руководителя крупнейшего революционного события—восстания флота и армии. Обрывки соц.-дем. вглядов в области рабочего вопроса, вместе с обрывками с.-р-ских точек зрения в области аграрных проблем, смешались у него с почти кадетскими взглядами в области тактики. Вся эта мешанина не успела как следует отстояться у Шмидта, тем более, что одновременно с «полит-неграмотностью» он отличался еще и незаурядным революционным темпераментом и большим чувством реализма.

Качества эти проявились у него с буйной силой, как только громовые события 1905 года разбудили их. Будучи несогласен с курсом севастопольских соц.-демократов *на форсирование вооруженного восстания*, Шмидт тем не менее принял предложение, с которым, по инициативе членов Севастопольского комитета РСДРП Инны Гермогеновны Смидович («тов. Нина») и Евгении Воиско-Карпинской («тов. Наташа»), обратился к нему матросский комитет, сформировавшийся вскоре после того, как матрос Петров выстрелил в начальство, призывавшее к расстрелу митинга: после некоторого колебания Шмидт согласился возглавить восстание Черноморского флота и сухопутных частей Севастопольского гарнизона и перебрался на крейсер «Очаков».

Как известно, движение это потерпело неудачу, будучи разгромлено отсталой пехотой и малосознательной частью матросов под руководством опытных по части угнетения генералов и адмиралов.

6-го марта лейтенант Шмидт был казнен вместе с очаковскими матросами Антоненко, Гладковым и Частником. Николай Романов очень торопился с казнью, а кровожадный адмирал Чухнин с чисто садистским упрямством отнял у Шмидта жизнь.

Уйдя в могилу, Шмидт вместе с сумбурным, не успевшим еще отшлифоваться политическим мировоззрением, унес с собою в могилу много неиспользованных сил, горячий темперамент и восторженный идеализм.

I.

Либава, 23 апреля 1904 г.

Дорогие мои Диночка и детки, я все еще живу в тех же меблированных комнатах, хотя переехал в рублевый номер. Продолжаю искать ежедневно квартиру... Все жду, когда все двинутся на дачи, тогда, может быть, освободятся. Есть одна квартира—превосходная, в 50 р. в месяц, в 5 больших комнат, но для нее нехватит моих 80 руб. жалованья, а я боюсь надевать петлю. Я уже дежурю по экипажу и хожу на строевое ученье.

Вчера мне передавали по секрету, что на заседании решено будто бы показать мне в командование здесь, в Черном море, миноносец. Это было бы, конечно, хорошо. Я знаю, что если бы я съездил теперь в Петербург к Рождественскому, то получил бы транспорт в его отходящей эскадре, но нет денег ехать, а потому решил ждать судьбы.

Наше тяжкое поражение при первом сухопутном сражении показывает, каким долгим и страшным бедствием будет эта война, а я думаю, что и без хлопот придется нам всем принять в ней участие в будущем.

Пишите мне, когда окончатся занятия в училище, когда можно рассчитывать, что вы сможете выехать. Мне очень все-таки хотелось бы получить транспорт, потому что, если не убьют, это меня хорошо поставило бы для будущей службы в военном флоте, так как транспорты идут с военным флагом, а с артиллерией я плавал с Рождественским от Ревеля, и он меня знает, как капитана, так что думаю, это мне удалось бы при личном свидании. Я посоветуюсь еще здесь с начальником штаба об этом деле. Христос с вами детки, будьте здоровы и благополучны. Великое для меня спасение—морское собрание и читальня, только здесь я и провожу много времени.

Пишите, дорогие мои. *Ваш папка-Петя*

II.

Либава, 17 июля 1904 г.

Дорогая Диночка, наконец-то окончилось мое настоящее мучение в Балтийском порту. Работы шли у нас безалаберно, глупо, но беспрерывно день и ночь. В то же время наезжали и Александр Михайлович и Алексей Александрович [1]. Мой вечно пьяный командир сходил с ума от страха и все свое трусливое настроение вымещал придирками ко мне. Трудно иметь дело с трусливым и пьяным человеком, он пьет невероятно и ко всему придирается.

Я одно время был доведен до такого душевного гнета от этой тяжелой работы, что только ожидание рождения нашего ребенка меня удержало от рапорта о болезни, чтобы списаться домой. Мои почки меня искушали пройти комиссию и по болезни быть списанным. Сознание, что нам нечем жить и что нет другой службы в будущем, заставило многое стерпеть. Теперь есть правило, что лейтенант, отплававший 6 месяцев старшим офицером, уже более вахтенным начальником не назначается, и я хочу непременно иметь это право более не стоять на вахте. Тогда мне легче будет остаться во флоте... (письмо не окончено. *Ред.*).

III.

Либава, 10 сентября 1904 г.

Милый мой сынка! Получил твое длинное письмо и спасибо тебе за него. Теперь я спокоен, что реальное училище, даст бог, будет для тебя легче, чем

[1] Великие князья, имевшие касательство к флоту в период русско-японской войны.—*Ред.*

одесское немецкое. Эта просьба директора о курении мне очень понравилась. Мало в России таких директоров, которые смотрели бы на это дело по-человечески. Очень меня радует, что отметки ставят легче. Работай, брат, попрежнему и все будет хорошо...

Если ты читаешь газеты, то знаешь, какие ужасы переживает гарнизон Порт-Артура. Душа разрывается за этих несчастных людей, на которых пала вся тяжесть этой злополучной войны. *Горе наше, что мы вызвали эту войну, которая ни в одном классе не пользуется сочувствием.* Особенно плохо к войне относятся в простом народе,—это мы видим по нашим матросам на всех судах. Они стараются лучше что-нибудь нарочно сделать, чтобы попасть под суд, но только хоть этим избавиться от ухода на войну. Говорят, при Ляояне целый корпус наш бежал в панике. Это случай почти небывалый и причина этому—*война без идеи.* Войска храбры, когда они одухотворены идеей, а когда они видят безрезультатную резню, никакая дисциплина не создаст героев. Думаю, немало лет протянется эта война и много жертв еще впереди.

Христос с тобой, мой друг хороший. *Твой папка.*

Либава, 20 сентября 1904 г.

Милый мой сыночка. Очень рад, что твое черчение стало поправляться. Пошли тебе, господи, удачи и в математике. Из твоих и маминых описаний твоих товарищей я невольно проникаюсь искренней симпатией к Яковлеву[1], и очень рад, что ты с ним сошелся. Эх, сыночка, жалко мне, что ты не читал статей Кладо («Прибой») в «Новом времени», тогда бы ты совершенно уяснил себе всю картину положения дел на войне и тебе было бы ясно, что рано радоваться, что предстоит долгая и кровопролитная борьба; тебе было бы ясно, что флоту в этой борьбе предстоит решающая роль и что поэтому *невольно безумной кажется посылка жалкой эскадры Рождественского.* Поражение этой эскадры будет равносильно проигранной войне. Из этих статей ясно, что без владения морем для нас борьба немыслима. Очень, очень сожалею, что ты не прочел этих статей, они написаны с огромным знанием военного морского дела и освещают со всех сторон всю сложную картину этой войны.

Наш уход решен. Мы будем догонять эскадру Рождественского. Итак, повидать вас, детки, мне не удастся. Живите же дружно. Женя, друг, не раздражай мамочку. Помни твердо, что никто так не любит тебя и не желает тебе добра, как мама. Облегчай маме ее тяжелый труд, улучшай ее духовное настроение своей любовью и дружбой. Помни эти мои прощальные просьбы. Исполни их, голубчик мой, ради нашей дружбы.

Уходить из России мне вдвойне обидно, *так как не сегодня-завтра наступит момент коренного переустройства всей системы правления страной.* Не подлежит ни малейшему сомнению, что близок день, когда мы, русские люди, станем *полноправными, свободными* и примем непосредственное участие в управлении страной и в законодательстве. Все то, что совершается по всей России в эти дни и что проникает в печать, указывает на близость *коренного переустройства.* Счастлива вы, молодежь, что вам приходится в юные годы увидеть Россию счастливой и свободной. Счастлив каждый, кто дождется этих дней... И уходить на бойню, не пережить этих дней, здесь, обидно вдвойне.

Христос с тобой, голубчик, будь здоров и благополучен.

Твой папка-друг

---

[1] Г. Яковлев, ученик Севастопольского реального училища, руководитель Революционных ученических организаций в 1904 г. В настоящее время член об-ва б. политкаторжан. *Ред.*

Памяти умерших товарищей

Н. Д.

Д. С. Петрушин

19 декабря 1930 г. в Сибири, в гор. Канске, после продолжительной болезни (от застоя крови в сердце) умер старый большевик, член о-ва политкаторжан и сс.-поселенцев, Петрушин Дмитрий Степанович.

Тов. Петрушин принадлежал к разряду тех революционеров, которые в продолжение своей революционной деятельности не свертывали с раз намеченной дороги, твердо и уверенно шли к осуществлению своей цели, не малодушничая, не хныкая при неудачах.

Родившись в бедной крестьянской семье, в бывшем Пугачевском уезде, Самарской губ., т. Петрушин с раннего детства познакомился с тяжелой жизнью батрака, с непосильным трудом. По возрасте он сам батрачил на родине в экономиях частных землевладельцев.

Затем переезд в Сталинград, где жизнь чернорабочего-землекопа и по настилке мостовых была не лучше.

Стремление к знанию заставило, хотя и самоучкой, выучиться грамоте. Выучившись грамоте, т. Петрушин с жадностью набрасывается на чтение. Первый раз ему попадаются прокламации с.-д. и с.-р., которые открывают ему глаза на существующий порядок вещей. Затем знакомство с революционерами определяет судьбу, и т. Петрушин вступает в ряды РСДРП.

Грамота и партия помогли выбиться из самой темной и забитой части городского пролетариата, и т. Петрушин весь отдается революционной работе, выполняя разные поручения партийной организации.

В 1904 г. он переезжает в Самару, где организация ставит его на работу в нелегальную типографию. С этого времени Д. С. становится революционером-профессионалом.

На этой тяжелой и ответственной работе он беспрерывно пробыл до 1907 г., когда Самарская организация была арестована. Полиция открыла и типографию. В числе других арестовывается и Петрушин. После 2-годичной высидки в Самарском централе ссылается на поселение в Енисейскую губ.—в д. Троицкую, Бельской вол.

В ссылке снова физический труд у крестьян, а позднее он работал чернорабочим с гидротехнической экспедицией и, не смотря на жизнь в глуши, он живо интересовался ходом революционного движения в России.

С падением самодержавия всецело снова отдается революционной работе в рядах партии большевиков, выполняя разную работу в Енисейском уисполкоме. Во время чехо-колчаковской реставрации арестовывается, и только благодаря случайности удалось вырваться из под ареста и от расправы.

Во время колчаковщины жил на полулегальном положении, не теряя связи с большевистскими организациями и помогая партизанским отрядам.

С приходом советских войск в Сибирь т. Петрушин принимает деятельное участие в ликвидации остатков белобандитов в г. Енисейске. По ликвидации занимает пост заворготделом Енисейского уисполкома.

Партия, ценя в нем стойкого работника, переводит его в 1925 г. в г. Красноярск в качестве члена губернской контрольной комиссии и в 1926 г. он назначается уполномоченным СибРКИ и председателем окружной контрольной комиссии.

На новом посту т. Петрушин пробыл недолго—в 1927 г. он вынужден по болезни бросить работу.

Болезнь Д. С. угнетала, он неоднократно жаловался, что благодаря болезни он не может принять активное участие в работе. Но во время облегчения он аккуратно посещал партийные собрания, конференции, заседания контрольной комиссии и принимал в них активное участие. Несмотря на болезнь, т. Петрушина как опытного работника выдвинули членом комиссии по чистке партии, где он, поскольку позволяли ему силы, выполнял возложенную на него работу.

Преданный революционер, прямой и открытый человек Д. С. требовал и от других того же. Наряду с этим, он никогда не отказывал в помощи и особенно относился с уважением к товарищам—бывшим ссыльным.

Несомненно, партия в лице Д. С. потеряла одного из лучших работников и товарищей.

П. Г. Царевский

Памяти Лаловой-Бразгаль[1]

(Тов. Саша)

В биографическом справочнике нашего общества я нашел скорбное сообщение о смерти тов. Саши.

23 года тому назад я встретился с покойной в Умани, куда она прибыла по делу киевской организации РСДРП. Покойная происходит из бедной семьи, работница, папиросница; уже с 18 лет она всецело отдала себя борьбе за освобождение трудящихся от царского деспотизма и эксплоатации. Несмотря на свою юность она с 1904 г. до 1907 г. работает в крупных городах, как профессионалистка. С момента прибытия в Умань т. Саши уманьская организация поручила мне достать шрифт и другие типографские принадлежности и отправиться вместе с ней в Киев.

За несколько дней знакомства т. Саша произвела на меня огромное впечатление: всегда скромная, искренная и откровенная — черты, свойственные настоящему революционеру. Всегда нуждаясь, она жила на средства организации и, несмотря на это, в тесном товарищеском кружке т. Саша всегда была жизнерадостной. Помню, как-то раз я зашел к ней на квартиру, где она временно проживала, и стал разговаривать о технике. Когда я ей сказал, как у меня идут дела и как уманьские типографы откликнулись на обращение нашей организации о доставке необходимых материалов, она была в восторге, она радовалась, как ребенок: вот, мол, поставим технику и заработаем на славу.

Вместе с ней я тоже радовался. Этот случай я хотел отметить ужином, зная, что она всегда недоедала; мне хотелось предподнести ей лучший ужин, но она наотрез отказалась от моих услуг, зная, что я тоже был не так богат; она попросила хозяйку дома купить ужин и дала ей 10 коп. «Ужин» состоял из куска селедки, халвы и хлеба с чаем. Через несколько дней работа по организации техники была окончена. Наш отъезд был решен. Нас задержали на вокзале. В тюрьме т. Саша вела себя истинным героем, всегда принимала участие в наших протестах, и провела одну голодовку. В тюрьме ее все любили, она все время была старостой женского

[1] А. А. Лалова-Бразгаль застрелилась 25 января 1929 г. *Ред.*

корпуса. Из бесед с ней мне стало известно, что она мечтала освободиться от лап царских сатрапов. Во время препровождения ее на допрос в жандармское управление она ускользнула от сопровождающего ее конвоя, но была сейчас же арестована.

В 1908 г. 1 мая нас осудили на поселение. В Лукьяновской тюрьме, по слухам, она была одной из протестующих натур и за это ей вписали в подорожный список, что она бунтарка, которая способна бежать. По дороге в ссылку она ходила в наручниках. Последнее мое свидание с т. Сашей было у меня в Иркутской тюрьме, откуда она была направлена в Балаганский уезд, Иркутской губ.

Умер еще один из многих отдавших свою жизнь за лучшее будущее.

В. С. Алексеев-Попов

Л. Д. Чудновская

(Урожденная Чернова)

5 июля 1930 г. в Одессе скончалась Любовь Давыдовна Чудновская (урожд. Чернова). Л. Д. родилась 8 сентября 1855 г. в гор. Полоцке, Витебской губ. В 1873 г. окончила с золотой медалью петербургское училище ордена св. Екатерины и поступила на педагогические курсы; окончила их в 1875 г. Большое влияние на Чудновскую в годы ее учения имел старший брат ее — моряк Константин Давыдович Чернов, последователь Чернышевского и Лаврова, ученик последнего по Артиллерийской академии. Брат помог ей получить высшее образование и способствовал выработке в ней, искалеченной институтской системой, прогрессивного реалистического миросозерцания. После гибели Чернова на «Весте» в 1877 г., Чудновская получила по завещанию 1000 рублей, что дало ей возможность отправиться за границу. Она уехала в Париж, где жила у своей приятельницы — певицы Н. Н. Тэрьян-Каргановой. Через последнюю познакомилась с П. Л. Лавровым, который снабжал Чудновскую литературой и значительно повлиял на выработку ее политических убеждений.

Чудновская состояла в кружке Лаврова, предметом занятий которого была выработка программы федеративной республики в России после предполагавшегося переворота. Личность Лаврова чрезвычайно импонировала Чудновской, и знакомство с ним не прерывалось; в дальнейшем они находились в переписке вплоть до ее ареста в 1884 г.; она исполняла различные его поручения.

В апреле 1879 г. Чудновская поехала в Лондон. По рекомендации Лаврова она обратилась к писателю Рольстон за содействием в ознакомлении с английскими учебными заведениями. Она ознакомилась с методами преподавания и общей постановкой школьного дела в Англии, о чем писала в «Женском образовании».[1]

В Лондоне Чудновская познакомилась с К. Марксом, с дочерью которого Элеонорой — она была близка, и с членом I интернационала Юнгом, с последним посещала рабочие клубы. С Элеонорой Маркс у Чудновской были общие литературные интересы, обе были поклонницами Шекспира и вместе посещали заседания шекспировского общества. Чудновская перевела книгу вице-президента этого обще-

[1] В этом журнале она сотрудничала и раньше — в 1878 и 1879 гг., помещая статьи «Очерки из истории женского воспитания», и в последующие годы, напр., статья 1881 г. «Как жить и куда деваться учительницам?».

ства, проф. Эдуарда Даудена—«Шекспир, критическое исследование его мысли и творчества». Перевод этот редактировал П. Л. Лавров. Первое издание вышло в СПБ в 1880 г.

По возвращении из-за границы в Петербург, Чудновская приняла участие в освободительном движении. По словам В. И. Сухомлина[1]: «После убийства Судейкина, Лопатин, уезжая за границу, передал все связи и инвентарь Исполнительного Комитета Степурину и Л. Д. Черновой (роль которой осталась неизвестной департаменту полиции, вследствие чего она отделалась административной высылкой в Зап. Сибирь), ставшими вследствие этого единственными представителями ИК в Петербурге. Официальные сношения с различными революционными организациями, впрочем, вел один Степурин». Якубович в своих показаниях говорит, что он близко познакомился с Черновой и вел с ней довольно долго сношения от имени петербургской группы партии «Народной воли».

Сама же Чудновская в неопубликованной автобиографической записке пишет, что она хотела в 1884 г. примкнуть к «Народной воле» но по оговору Манунлова и Ф. Грекова была вскоре после Степурина арестована, привлечена по делу Г. Лопатина, посажена в крепость, просидела там 10 месяцев; приблизительно в ноябре 1885 г. была переведена в дом предварительного заключения, а затем выслана на три года в г. Ялуторовск, Тобольской губ.

Здесь в 1888 г. она познакомилась с С. Л. Чудновским и вскоре вышла на него замуж. С. Л. Чудновский, отбывавший наказание по процессу 193, находился в Ялуторовске временно, проживая у своего приятеля Сергея Жебунева. Он должен был в Тюмени в 80 верстах от Ялуторовска встретиться с инженером М. В. Черицовым, стоявшим во главе назначенной министерством путей сообщения партии по исследованию порогов реки Ангары и обещавшим устроить его при партии. Черицов предложил ему место «техника» и составителя экономического отчета Приангарского края, и Чудновские отправились в Иркутск. В Иркутске они застали политических ссыльных С. Г. Стахевича, М. А. Натансона с женой В. И. Александровой, Назарова, Млодецкого, брата казненного за покушение на графа Лорис-Меликова и др.

Жизнь в Иркутске, по словам С. Л. Чудновского, «протекала не без интереса и, во всяком случае, не хуже, чем во многих крупных русских губернских городах. Политические ссыльные жили здесь не замкнутой кружковой жизнью, как в большинстве городов Зап. и Вост. Сибири, а принимали участие в общей культурно-просветительной деятельности, работая в местном Восточно-сибирском отделе Географического общества и ценном при нем этнографическом музее, в местной печати, принимая прямое и косвенное участие в муниципальной жизни, в школьном деле и т. д.».

---

[1] «Каторга и Ссылка», 1926 г., № 6.

В 1891 г. Чудновская вернулась из ссылки с двумя дочерьми и поселилась в Одессе. Здесь она, отойдя от революционного движения, посвятила себя педагогической, литературной и общественной деятельности. Первые годы она преподавала английский и французский языки в гимназиях и училищах, содержала собственные курсы английского языка. Также усердно работала в кружках молодых работниц в воскресных школах, в «Детском доме». В 1906 г. она учредила женское учебное заведение, преобразованное в 1907 г. в женскую гимназию.

В Одессе Чудновская была одним из членов-основателей местного отделения Кассы взаимопомощи литераторов и ученых, членом Литературно-артистического клуба и других общественных организаций.

В июне 1917 г. она принимала участие в происходившем в Одессе южном областном съезде учителей, в сентябре 1921 г. переехала в Староконстантинов, где служила в местном Наробразе лектором. Уволенная, как инвалид труда, в январе 1922 г. переехала в Одессу, где жила на получаемую персональную пенсию за революционные заслуги свои и покойного мужа.

«Арон» (И. Гуревич)

Моя встреча с В. А. Слепяном[1]

Летом 1905 г. я был послан южно.-русским областным комитетом партии с-р в Кишинев для организации типографии и работы в ней. Приехав туда, я отправился на явку к М. М. попросила меня зайти на следующий день с тем, чтобы познакомить с товарищем, который окажет мне содействие в организации типографии.

Я явился туда на следующий день. Застал только М., которая сообщила мне, что ждет товарища с минуты на минуту. Недолго пришлось ждать.

В комнату вошел мужчина лет сорока, низкорослый и широкоплечий, с быстрой и четкой поступью.

Из-под широкополой черной шляпы ниспадали длинные, аккуратно причесанные черные волосы. Он носил окладистую черную бороду. Глаза живые и сверкающие. Отрекомендовался он Владимиром Ароновичем[2]. Живо заинтересованный, он справился, что мне требуется для организации дела. Я вкратце все объяснил ему.

Между прочим, я ему сообщил, что я по профессии столяр и смог бы сам сделать кассу, если бы нашлась столярная мастерская.

Тут же на месте он разработал план—как и где достать все необходимое. Он в тот же день познакомил меня с учеником ремесленного училища—неким Потлажаном [3], отец которого имел столярную мастерскую. Потом мы вместе отправились в типографию, где надлежало достать все необходимое для нашей подпольной типографии. Хозяин очень обрадованно встретил В. А., радушно принял нас и, узнав о цели нашего посещения, с готовностью согласился достать нам все необходимое.

В. А. пользовался в городе огромным авторитетом как среди местной интеллигенции, так и среди рабочих и ремесленников. В Кишиневе он тогда учительствовал. В течение двух недель была оборудована типография, и работа была в полном разгаре.

Когда была напечатана первая прокламация, я тотчас же отнес ее показать В. А. Он жил тогда на даче. Увидев прокламацию, он запрыгал как ребенок, потом вдруг обнял меня и поцеловал.

[1] Печатается в дополнение к статье Б. Струмилло, помещенной в № 10 «Каторги и Ссылки» за 1930 г. *Ред.*

[2] В 1905 г. в Кишиневе т. Слепяна звали Владимиром Ароновичем.

[3] Потлажан был повешен в 1907 году в г. Одессе.

Видно было, что этот человек жил только революцией и готов всем для нее пожертвовать. Он был тогда членом кишиневского комитета партии с.-р.

Помню еще такой случай: мне была принесена для напечатания прокламация, которую по моим убеждениям не стоило выпускать. Это была какая-то либеральная мазня, прикрытая пышной лжереволюционной фразой. Я отказался ее печатать. М., член комитета, узнав о моем отказе печатать эту прокламацию, встала на дыбы: «Как не будете печатать? Вы обязаны печатать все, что вам посылают». Я ей ответил, что у меня тоже есть убеждения, что я не только технический работник.—«А если,—кончил я,—вы меня считаете только работником, то вот вам ключ и печатайте сами все, что вам нравится».

Ключа она не взяла и пригрозила передать это дело на обсуждение комитета. На следующий день мне сообщили, что В. А. меня просит зайти к нему. Он встретил меня с улыбкой: «В чем дело?» Я рассказал ему всю историю и под конец спрашиваю: «Неужели цель наша—демократическая республика, а не социализм?» Прочитав прокламацию, он охотно со мной согласился и тут же сел и переправил ее.

В. А. был чутким товарищем и незаурядным организатором. Он отдал все для революции. Он жил и дышал ею.

Владимир Аронович Слепян умер на революционном посту.

Библиография

МАКУЛАТУРА ЗИФА ИЛИ КАК Г. НИКИФОРОВ ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ ИСТОРИЮ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ

(«Кимба»—*Г. Никифорова*)

В прежние времена серьезная критика иронизировала всегда над обывателем (а в особенности над обывательницами—девицами и дамами), знакомящимся с русской историей по романам модных беллетристов: Данилевского Лажечникова, графа Салиаса и др. Приходится иронизировать, к сожалению. и сейчас.

Перед нами новый «граф Салиас»—Г. Никифоров.

Роман Г. Никифорова «Кимба»—совершенное ничтожество с художественной стороны и злейшая карикатура на русское революционное движение с точки зрения исторической правды. Его роман—какой-то русский революционный Рокамболь, без всякой идейной установки, без характеристики движущих сил революции, без характеристики описываемой эпохи.

• Описываемое Г. Никифоровым время—1912—1917 гг. Мы знаем, что этот период был периодом нарастания мощного массового революционного движения. Это было время, когда русский пролетариата, оправившись после разгрома 1905—6 гг. уже переходил от обороны к нападению. Ленский расстрел и прокатившаяся по всей России мощная волна забастовок и стачек протеста против этого бессмысленного и зверского расстрела безоружных сибирских рабочих, оживленная деятельность партийных организаций, все усиливающееся профессиональное движение, многочисленные рабочие демонстрации в крупных промышленных центрах и т. п. исторические факты—общеизвестны.

Какое же отображение все это нашло в романе Г. Никифорова?

Никакого!

А ведь он в двух-трех местах своего обширного романа мимоходом упоминает, что герои его—социал-демократы!

Куда же делись те рабочие массы, которые объединялись с.-д. руководством?

Неизвестно!

Более того, весь роман построен так, что народной, рабочей массы в нем совсем и не чувствуется. «Революционеры» Г. Никифорова вполне обходятся и без народа. Вкратце сущность романа такова: бойкий, самолюбивый и смышленый мальчишка, которому надоели родительские побои, бежит из дома и попадает в Тамбов. Здесь он знакомится с бродячей цирковой труппой... поступает в цирк. Неизвестно, по каким причинам глава труппы вдруг возлюбил всем сердцем своим беспризорного мальчугана, приблизил его к себе и... тут-то и начинается, как говорят, «самое главное». Циркач Жако оказывается не циркачем, а великим героем-революционером. Ничего не говоря своему юному другу и не пытаясь даже подготовить его к новой блестящей карьере, он бросает в Тамбове труппу и животных (в бледном немощном описании цирка какой-то тенью мелькают лошади и собаки) и бежит куда-то в неизвестность. По пути к месту своего таинственного назначения мальчуган Алешка стано-

вится соучастником ограбления поезда, производящегося под непосредственным руководством все того же циркача Жако-Кимба. Автор не скупится на описание бесчисленных переодеваний, гримировок, появления каких-то таинственных незнакомцев с фальшивыми бородами, со сказочной речью... красавиц, переодетых старухами, и прочей мишуры.

Но вот ограбление произведено. Что же дальше? А дальше, как в самых типичных бульварных романах, погоня, лошади, лодки, перестрелка... таинственные трактиры... подземные ходы... вертящиеся на шарнирах русские печки... необыкновенный гениальный сыщик (совсем не хуже знаменитого Шерлока Холмса)... взаимная слежка героев-революционеров и гениального героя-сыщика... встреча где-то на берегу Волги... шпик убит и сброшен в воду, но таинственно воскресает из мертвых и появляется вновь на сцене для того, чтобы арестовать мальчугана Алешу. Опять револьверы, пальба, погоня... выстрелы, взрывы бомб (которые перетаскиваются прямо мешками — массовое стандартное производство)... масса золота в мешках...

И вдруг война!

Мировая война, начавшаяся в 1914 г. Как известно, накануне объявления войны в Питере был большой революционный подъем. Строились баррикады. Дело доходило до стрельбы полиции по рабочим демонстрациям... Вся Россия бурлила. Хозяйственно-промышленный организм тогдашней России содрогался от внутренних противоречий капитализма.

Автор романа ничего этого знать не хочет. Он весь с головой ушел в описание необыкновенных приключений своих героев. Не только рабочей массы, даже захудалого городского или губернского комитета революционной партии он не желает показывать на страницах своего романа! Все делается по распоряжениям всемогущего таинственного циркача Жако-Кимба, который появляется в самых неудобных местах (напр., склеп на кладбище) и отдает распоряжения своей славной дружине. А эта, послушная его воле, даже не спрашивает, что и зачем, а беспрекословно исполняет волю господина своего. Опять бомбы, какое-то нелепое нападение на какую-то повозку, опять взрывы, револьверы, бегство...

Во всех этих приключениях главную роль начинает играть мальчик Алеша (должно быть по духовному первородству от идейного отца своего Жако-Кимба). Ему никто не дает никаких объяснений партийной программы, его политическим воспитанием никто не занимается (всем некогда: одни занимаются убийствами и экспроприациями, другие все время бегают и скрываются), но все это не мешает ему быть на «высоте» своего положения. Правда, ему рассказывают какую-то побасенку на тему «о хозяевах» и борьбе с ними, и, повидимому, он вполне удовлетворен и считает себя вполне зрелым и политически-воспитанным борцом! Да и что такое, в конце концов, политическое воспитание какого-то беспризорника? Это так пошло и мелко.

Вот бомбы, револьверы, переодевания, гримировка, нападение, бегство, ограбление — вот что настоящая революция! И наши «герои» опять бегут. Пароход, на котором они плывут в неизвестность, весь переполнен запасными мобилизованными солдатами и офицерами. Один из «героев» переодевается полковым священником (автор в погоне за эффектами не дает себе даже труда подумать, насколько невероятна и трудна такая роль, когда и офицеры и солдаты, конечно, знают своего «батюшку» и сразу бы разоблачили переодетого революционера), а через несколько часов он уже опять на «боевом посту».

В. Дунаев

«ЛОТЕРЕЯ МЫСА АДЛЕР» Б. ЛАВРЕНЕВА

В последнее время все больше и больше развивается литературный жанр беллетризированная биография. Вышла уже не одна работа в этом жанре; есть работы — то удачные, то неудачные, посвященные Пушкину (о одной из таких работ [illegible] Лернера с возмущением отзывался Н. О. Лернер).

Лермонтову, Гоголю, Грибоедову, Кюхельбекеру. Теперь очередь дошла до Бестужева-Марлинского, эпизод смерти которого беллетризирован Б. Лавреневым в рассказе: «Потеря мыса Адлер» («Звезда», 193[illegible], 11, стр. 25—43).

Жизнь Бестужева-Марлинского, подобно его литературной судьбе, была соткана из противоречий: талантливый беллетрист, критик и сатирик, создатель «Полярной звезды», блестящий адъютант герцога Вюртембергского попадает в «государственные преступники»; из придворных кругов он перебрасывается в казематы Форта Славы в суровой Финляндии, оттуда в снежный Якутск, позже появляется в шумном Тифлисе, в глухом Дербенте, в знойном Ахалцыхе, на цветущем Черноморском побережье, в малярийном Кутаисе, наконец, бесследно исчезает при взятии русским десантом мыса Адлер. Недаром сам Марлинский говорил, что его собственная жизнь представляет интересный, хотя и печальный, роман. Несомненно, что до современников, увлекавшихся рассказами и повестями писателя, подлинной (а чаще и псевдонима) фамилии которого они не знали, доходили слухи о романтической жизни автора «Капитана Белозора» и «Аммалат-бека». Эти слухи читателями, а в особенности читательницами, облекались в форму легенд, а сам Марлинский становился для них каким-то «мифическим существом». «Не зная и подлинной фамилии Марлинского,—писал Семевский,—читательницы слагали о нем разные баснословные рассказы; его собственная личность возводилась в какой-то идеал героя; в него влюблялись заочно прелестные почитательницы таланта автора «Аммалат-Бека», «Фрегат-Надежда», «Искуситель» и пр. пр.». Особенно много легенд создавалось вокруг его смерти. Говорили, что Марлинский утонул в Тереке, пал на дуэли, сраженный ревнивым мужем, перешел на сторону горцев и сделался магометанином, влюбился в свою пленницу и потом бежал неизвестно куда и т. д. Новое об этих легендах дано в недавно вышедших воспоминаниях Н. В. Быкова[1]. Навстречу слухам шла и печатная литература. В 1848 г. в «Иллюстрации» появляется статья «Последние минуты Марлинского», в 1858—59 г. в «Семейном круге» статья Савинова «Куда девался Марлинский?», в 1861 г. соучастник Марлинского по адлерской высадке Давыдов в «Московских ведомостях» печатает «Несколько слов о смерти Бестужева», наконец, М. И. Семевский уделяет смерти Марлинского достаточно много места в своей статье «А. Бестужев на Кавказе», напечатанной в «Рус. вестнике» за 1870 г. На эту же тему о смерти Марлинского, как уже сказано, написан и рассказ Лавренева.

Суть этого рассказа сводится к трем положениям: 1) Марлинский был и остался революционером; 2) он ненавидел Николая, 3) Марлинский решил перейти на сторону горцев, чтобы повести борьбу с Николаем.

Вот соответствующие выдержки из рассказа Лавренева.

«Свобода! Это слово береглось в его сердце, как отсвет великолепной зари, один раз осиявшей его искупительным блеском на Сенатской площади... (35)

«Как он мог поверить этому бригадиру с лицом эллина, страдающего флюсом? Как он мог пожать руку, затянувшую потом колючую петлю на девической шее Кондратия?... Бестужев яростно засосал мундштук... (24).

«Между царством необходимости и царством свободы было только сто двадцать шагов по ядовито-зеленой поляне. Ему нужно было [illegible].

Он говорил по-татарски не хуже любого муллы. У него были кунаки по ту сторону поляны. Он мог рассчитывать на верное гостеприимство.

И кто знает,—с еще нерастраченными силами, с памятью о Сенатской площади,—еще можно начать сначала и повторить удар, стоя под зеленым значком Ислама.

— Искандер-бек! Муршид... Вождь газавата...

Он задохнулся от этой мысли и, с трудом ворочая сухим языком, облизнул растрескавшиеся губы. Лихорадка волнами катилась в его крови и кровь гудела громко и жадно:—Иди... иди... иди...

[1] «Силуэты далекого прошлого», 1930 г., стр. 33—34.

Он выпрямился и широкими шагами пошел к [illegible]... Он по-детски улыбался этим подбегающим братьям. И еще издали он закричал им:—Чох селяммум, кардашляр!... Чох, селяммум, кунакляр!» (35—37, 42).

Оставляя сейчас в стороне вопрос о том, насколько такая трактовка соответствует действительности, мы желали бы обратить внимание на целый ряд исторических неточностей, а иногда и фактических несообразностей в рассказе Лавренева. Так, Бестужев у Лавренева говорит, что только одни солдаты «до конца понимали ужас его участи», «он вспомнил, с какой простой жалостью они отдавали ему свои последние куски», «и когда, наконец, он получил приказ о своем производстве, разве не они первые пришли поздравить его и принести в дар [illegible] его жалкого воскресения прапорщичьи эполеты!»

В литературе есть мнение, что Марлинский в своих произведениях открыл русского солдата. Так ли это? Что Марлинский говорил о подвигах русского солдата, — это так, но это почти исключительно в тех описаниях, которые носили официальный характер и шли в «Русский инвалид». Верно, что Марлинскому, как он и утверждает, больше и лучше, чем кому-либо современному писателю, удалось узнать русского солдата, однако, он был далек от опоэтизации этого последнего и говорит о нем и не всегда, когда может быть и следовало, и не так, как должен был бы говорить Бестужев Лавренева. Вот его мнение о русском солдате: «Что же оригинальное существо, какое святое существо и какая [illegible], дикий зверь с этим вместе»[1]. «Русский солдат доступен всем высоким чувствам, если б умели их возбуждать заранее»[2]. Когда перечитываешь письма Марлинского, просматриваешь его сочинения, то нигде не замечаешь этого особого внимания его к солдату, везде чувствуется все-таки офицер. Как реально Бестужев не жил вместе с солдатами в казармах, так не сжился он с ними и на страницах своих сочинений, так не создал он и типов русского солдата, он, который имел такую богатую к тому возможность. Нужно [illegible] в свете того его письма к Н. Полевому, в котором он жалуется именно на эту невозможность для него дать типы русского солдата. «О, сколько раз проклинаю я бесплодное мое воображение за то, что из [illegible] материалов, под рукой моей рассыпанных, не мог я состроить ничего доселе»[3].

Вряд ли также геленджикские солдаты могли принести Бестужеву прапорщичьи погоны по той простой причине, что там их негде было достать. 19 июня 1836 г. Марлинский пишет братьям из Керчи: «Полубольной приехал я сюда обмундироваться, потому что в Геленджике, кроме сухарей и солдатского сукна, ничего [illegible], а между тем Геленджик считается лучшим местом от Анапы до редута св. Николая»[4].

Лавренев заставляет солдат «с простою жалостью» отдавать Бестужеву «свои последние куски», а его самого поселяет в «солдатской каморке», куда к нему в Дербенте приходит Оля Нестерцева. Эти «куски» и «каморка» совершенно не соответствуют действительности. Костенецкий в своих воспоминаниях о Бестужеве, между прочим, пишет: в Дербенте «Бестужев квартировал в одном из порядочных татарских домов в городе, недалеко от крепости. Входя во двор, я спросил у встретившегося мне какого-то русского человека, дома ли Бестужев? Я получил в ответ, что он дома и теперь отдыхает после обеда, но скоро встанет, и просит меня обождать на галлерее, довольно большой и открытой, в которую выходила дверь из комнаты квартиры... Не более как через полчаса вышел ко мне Бестужев, в персидском халате и шелковой на голове шапочке»[5]. Сам Бестужев, между прочим, напоминает в письме брату Павлу о столике в его квартире, который сделан под окном в стены и

[1] Письмо к Н. А. Полевому, от 1 января 1832 г.
[2] Письмо к Н. А. Полевому, от 15 марта 1832 г.
[3] Письмо к Н. А. Полевому, от 1 января 1831 г.
[4] Письмо к братьям от 19 июня 1836 г.
[5] «А. А. Бестужев», Рус. стар., 1900, т. 104, стр. 447.

покрыт полосатым бархатом[1]; в другом письме замечает: «Г. Р-в сам виноват кругом, не велев жить при моей квартире солдату, зная, что у меня нет постоянной прислуги[2]». На квартире у Марлинского, имевшего свое «хозяйство» (и своих «лошадей»), жил лекарь дербентского батальона Б. Н. Попов[3]; у него же на квартире останавливался и Костенецкий и другие знакомые Бестужеву офицеры. Сам Бестужев «всегда обедал и проводил вечер» в семействе коменданта крепости Шнитникова[4]. Литература давала Бестужеву значительный заработок: в 1835 г. у него было уже 50 тысяч ассигнациями[5]. С такими средствами он мог потакать своей слабости к щегольству; в Якутске он, по его словам, «представлял собой полную картинку[6]; в одном письме он просит мать прислать ему в Якутск несколько пар цветных перчаток[7]; в Дербенте он носил хотя и солдатскую шинель, но из тонкого сукна и сшитую по особому бестужевскому покрою. Костенецкий вспоминал, что Марлинский «был знаком почти со всем народонаселением Дербента и по своей благотворительности никогда не отказывал в помощи и словом и делом всякому нуждающемуся... Раз при мне посетили его четверо или пять знатнейших и ученых персиян, которых он усадил на диваны, предложивши им трубки и сладости... Вообще все жители Дербента очень его уважали и любили и когда он, по производстве в прапорщики[8], уезжал из Дербента к новому своему месту служения, то почти все городское население провожало его верхом и пешком, верст за двадцать от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали... и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимому своему Искандер-беку»[9]. И этого человека Лавренев заставляет жить в солдатской каморке и питаться подаваемыми ему солдатами кусками!

Неверно передает Лавренев посещение Бестужевым в Тифлисе в феврале 1837 г. могилы Грибоедова, но это мелочь, как равно и сообщение автора о «давней малярии, захваченной в дебрях Геленджика».

Курьезнее сообщение автора о «*сорока судах* высадочного отряда», которые «черными дельфинами ныряли в лунном свете» (31). «Суда высадочного отряда одно за другим нехотя подползали к береговой черте, брызгая огнями и громом морских фальконетов, поддерживавших высадку... Когда нос судна со скрипучим шуршаньем давил гальку, солдаты с сапогами за спиной, в белых рубахах, как по команде, крестились и, креня посудину, наваливаясь на борт, гурьбой сыпались в воду» (32).

Так пишет Лавренев. Выходит, что солдаты соскакивали с фрегатов, корвета и кренили их на бок. На самом деле было, конечно, не так.

По сообщению командира отдельного кавказского корпуса военному министру, эскадра состояла из 11 разного рода военных судов и транспортов, «к коим присоединено еще 6 купеческих судов, мною зафрахтованных». Таким образом всего было 17 судов, в том числе «четыре фрегата, корвет и шлюп».

---

[1] Письмо от 2 марта 1833 г.
[2] Письмо к брату Павлу от 20 апреля 1833 г.
[3] Из воспоминаний Костенецкого, «Рус. Старина», 1900, т. 104, стр. 447.
[4] Там же, стр. 443.
[5] М. Семевский, «Александр Бестужев на Кавказе», 1829—1837—«Рус. Вестник», 1870, т. 70, стр. 490.
[6] Письма к братьям от 16 июля 1828 г.
[7] Письмо к матери от 9 января 1828 г.
[8] Костенецкий ошибается: в прапорщики Бестужев был произведен гораздо позже.
[9] Костенецкий. «А. А. Бестужев», «Рус. Старина», 1900, т. 104, стр. 455.

[redacted] командира отдельного кавказского корпуса читаем: [redacted] к берегу, построилась в боевую линию в 250 саженях [redacted] на глубине от 5 до 10 сажен, спустила все греб- [redacted] 41, для высадки десанта». Таким образом, невысадочных, [redacted] 41, и их-то, а не фрегаты, могли накренять на бок выса- [redacted] солдаты.

[redacted] ночью вышел на палубу [redacted]. «Он огля- [redacted] такая же живая золотая тропинка. Она была [redacted] Она струилась к Крыму, к киммерийским степям, [redacted] древние кочевые тракты сбегались к Москве» (31).

[redacted] если русские плывут покорять Адлер, то они [redacted] с севера на юг или юговосток, поэтому и золотая [redacted] к северу, к родине, к Москве. Но в том-то [redacted] к Адлеру не с севера, а с юга, именно из [redacted] на север 31 мая. Ясно, что золотая тропинка [redacted] тянуться не на север,—к родине, а к югу—от родины.

Гр. Прохоров.

[redacted] *и «Северная» группы московской организации РСДРП.* Из исто- [redacted] в годы империалистической войны. [redacted] Рабочий, М. 1930, стр. 168, ц. 1 руб. 40 коп. Тираж 3.000 экз.

[redacted] очень важный и сравнительно мало иссле- [redacted] партии. До сих пор еще не вполне опровергнуто [redacted] партийная работа замерла [redacted] сборник московского истпарта в значитель- [redacted] этой эпохи, давая богатый материал [redacted] во время войны, ограниченный, правда, исто- [redacted] организаций, так называемых «Твер- ской» и сменившей ее «Северной» групп.

[redacted] из мемуаров, написанных отчасти по памяти, [redacted] сохранившимися документами и [redacted] Воспоминания о «Северной» группе проверены на коллективном собрании ее бывших членов.

[redacted] освещающие совсем неосвещенные [redacted] из жизни партии. Большая часть их освещает, [redacted] революционную деятельность в Москве. [redacted] упоминаются в этих документах частично.

[redacted] МК ВКП(б) напечатана вводящая статья [redacted] что в настоящее время, когда на ши- [redacted] революции, изучение большевистской работы [redacted] особенно актуальным». Он указывает на ме- [redacted] работы, подчеркивая, что антивоенные выступ- [redacted] несомненно, не только русский, но и междуна- [redacted] при этом лозунги формулировали задачи [redacted] пролетариата. «При этом особенно [redacted] Интернационала и тесно связанный с ним основ- [redacted] о превращении империалистической войны в гра- [redacted] разрыв с социал-шовинистами и с оппор- [redacted] показывает, анализируя взгляды Ленина и Сат- [redacted] царизма в России «стала невозможной вне связи [redacted] задачей—борьбы против международного импе- [redacted]

[redacted] с шовинизмом сделалась необходимой для борьбы [redacted] перерастала из буржуазно-демократической [redacted] партии нужно было бороться и против царизма и против империализма.

Как говорит т. Сталин: «Кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на империализм, кто восставал против царизма, тот должен был восстать и против империализма, ибо, кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и империализм, если он в самом деле думал не только разбить царизм, но и добить его без остатка. Революция против царизма сближалась, таким образом и должна была перерасти в революцию против империализма, в революцию пролетарскую»[1].

Историческая часть книги состоит из следующих воспоминаний: М. Ланис—«Тверская группа РСДРП», П. Цельмин—«О подпольной работе «Тверской» группы РСДРП в Москве в годы войны», И. Леппе—«Северная» группа московской организации РСДРП(б) (1915—1917 гг.), А. Парре—«Мои воспоминания о работе «Северной группы РСДРП(б) в 1915—1916 г.», П. Забельский—«Странички из истории легальных латышских обществ в Москве», И. Батышев—«Моя партийная работа в Москве и встречи с членами «Северной» группы».

Все эти воспоминания рисуют обстановку военного времени, когда российские социал-демократические организации были оторваны от руководящего заграничного центра, от В. И. Ленина, когда перед разрозненными подпольными партийными группировками стали новые задачи, когда не существовало Московского партийного комитета, а московская охранка опутала своей сетью почти все подпольные организации, когда не было житья от провокаторов и шпиков. Но, несмотря на все эти неблагоприятные условия, партийная жизнь никогда совершенно не замирала. По словам т. Батышева, «в военный период почти на всех заводах Москвы можно было найти партийных товарищей, а порой и целые заводские ячейки. Эти группы почти не были связаны между собой, работали самостоятельно. Районные комитеты, если порой и создавались, быстро проваливались, благодаря хорошо поставленному делу охранки» (стр. 135).

Но во время войны появились новые обстоятельства, оживившие московскую партийную жизнь.

Еще перед войной в университете имени Шанявского сгруппировалось значительное количество старых членов социал-демократии, принужденных покинуть Латышский край, вследствие репрессий царского правительства; к ним присоединилась группа русских товарищей и уже через несколько дней после объявления войны они смогли выпустить воззвание-протест. Немногочисленные ряды большевиков, противников войны, пополнились новыми союзниками; еще в 1914 г. из Риги был эвакуирован в Москву ряд крупных фабрик и заводов с несколькими тысячами латышских рабочих, преимущественно металлистов. В 1915 г. в связи с неудачами царской армии количество выходцев из Прибалтийского края, так называемых беженцев, еще более увеличилось. Вместе с беженцами в Москву из Риги и других городов приехали старые подпольщики большевики, начавшие организовывать центр латышских подпольщиков. В апреле 1915 г. (стр. 50) была организована в Москве большевистская «Тверская группа»; она образовалась исключительно из латышей; уже к 1 мая 1915 г. удалось выпустить печатное воззвание; скоро группа стала снабжать воззваниями и обслуживать типографией те города, где не было партийных типографий: Иваново-Вознесенск, Харьков, Самару и Кострому. В Москве латышской «Тверской» (от района Тверской улицы) группе удалось (по сведениям охранки) войти в связь с рабочими некоторых заводов Пресненского и Бутырского районов и с марксистскими группами Лефортовского района. К концу лета 1915 г. полиции удалось арестовать многих членов этой группы, но уже в конце августа 1915 г., после попыток возрождения «Тверской группы», возникла подпольная большевистская организация «Северная группа РСДРП (б)», очень стройно организованная, связанная с Московским комитетом в те периоды, когда он существовал; в начале

[1] Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 80.

декабря 1915 г. «Северная группа» насчитывала в Московской губ. 8 фабрично-заводских конспиративных кружков. Эта группа завязала связи и с другими городами: Ригой, Петербургом, Саратовом, Самарой, Харьковом и Тулой, где были устроены явки для обмена литературой и других партийных дел. По социальному составу группа была образована почти исключительно из рабочих, была большевистски выдержанной организацией и признавала полное «ортодоксальность»... Члены группы были настроены очень активно: «Чувствовалось приближение революции. Было принято решение о необходимости подготавливать массы к будущим боям с буржуазией, и «Северная группа» брала на себя задачу вести эту работу среди латышских, а также русских и всех остальных наций рабочих, с которыми приходилось соприкасаться» (стр. 67). В группе была очень строгая конспирация, и автор воспоминаний очень подробно останавливается на ее приемах, сопровождая свои объяснения планами и схемами.

Члены группы вели партийную работу и среди латышских и среди русских рабочих. Работа эта заключалась, главным образом, в агитации против войны, распространении нелегальной литературы, организации собраний, участии в конференциях и забастовках, в работе в легальных обществах и профсоюзах.

«Северная группа», несмотря на преследования и работу провокаторов, удалось просуществовать до Февральской революции. К моменту революции в группе было около 200 человек, работавших в 14 кружках. По мнению т. Лациса, члены «Северной группы» за все время существования латышских секций также участвовали в революционной борьбе и начали проводить большевистскую линию в Москве, несмотря на ряд неблагоприятных условий.

К книге приложены богатые материалы, часть их составлена на основании воспоминаний участников описываемых организаций, часть взята из архивов Московского губернского архивного бюро, архива Революции и внутренней политики. Эти материалы дают картину деятельности московских революционных организаций, а не относятся только к двум группам. По составу материалы довольно разнообразны: тут и списки членов РСДРП(б), подпольной организации «Северной группы» в 1915 г. в Москве, списки арестованных в разное время членов группы, доклады начальника охраны, различные прокламации, постановления и другие документы, списки провокаторов, доклад провокатора о совещании московских большевиков и меньшевиков 29 августа 1914 г. по вопросу об отношении к войне, доклады охранников о шагах к восстановлению Московского комитета партии; кроме московских документов к сборнику приложено несколько прокламаций провинциальных организаций (Ековского Гор. комитета РСДРП, Орехово-Павловского комитета, прокламации Орехово-Зуевской организации).

Особое место в материалах занимает «Письмо» П. Г. Смидовича Истпарту МК ВКП(б) по поводу его доклада о войне, напечатанного в «Памятниках агитационной литературы РСДРП» (т. VI); «Письмо» в кратких чертах рисует обстановку работы в годы войны и дает ответ на жалобы авторов воспоминаний, отмечающих их оторванность от масс культурных партийных сил.

Большая часть и материалов и статей печатаются впервые (ранее напечатаны были в журнале «Пролетарская Революция» ст. Лациса и Батышева). В общем все они дают ценный материал, и издание Московского истпарта заслуживает широкого распространения.

Но все же рассматриваемое издание не может заменить исследования, посвященного вопросам партийной жизни в годы войны, и представляет в общем собрание в разной степени обработанных материалов. Поэтому у авторов сборника встречается много повторений, попадаются кое-где противоречия, не позволяющие пользоваться данными сборниками для справок, так как нужны предварительные проверки и сравнения. Кое-какие черточки нуждаются в оговорках, например, латышские товарищи несколько преувеличивают идеальную постановку, правда, стоящей [illegible] степени, конспирации.

Но в общем работа интересна как для современных молодых читателей, незнакомых с условиями подпольной работы, так и для историков-исследователей; кое-что пригодится и для борцов с капиталистическими врагами по ту сторону советского рубежа.

И. Колычевский

Г. И. Левин—*«На путях революции»*. «Прибой», стр. 214, ц. 1 р. 50 к. Тираж—3.000.

Воспоминания Г. И. Левина относятся к периоду от 1897 г. до 1919 г. и распадаются на восемь очерков. Наибольший интерес представляют очерки, относящиеся к событиям 1905 г.—эпоха, когда автор принимал непосредственное участие в революционном движении; много говорится об упадочнических настроениях эпохи реакции, много поучительного находится в изображении Февральской и Октябрьской революций, хотя автор в ту эпоху уже отошел от непосредственного участия в пролетарском движении; много характерных черточек встречаем в рассказе о немецкой оккупации.

Воспоминания Г. И. Левина представляют несомненный интерес, особенно для молодого читателя, незнакомого или мало знакомого со многими особенностями жизни царской России и условиями партийной работы под непрерывной угрозой жестокой расправы.

В первом очерке «Школьные годы» изображается, как, несмотря на невыносимый гнет профессиональных душителей всего живого учителей казенной школы, могли существовать подпольные организации учащихся, неудовлетворенных казенной наукой.

В главе «На путях к революции» изображается, как вследствие бедности партийных сил, особенно в глухой провинции, только-что кончившему гимназисту, еще недавно «воспринявшему марксистскую ориентацию» и еще совсем зеленому в вопросах партийной работы, «по странному стечению обстоятельств... «пришлось сразу стать одним из главных руководителей местного рабочего движения» (в г. Полоцке, в 1903 г.). Автор дает представление о работе в небольшом социал-демократическом кружке того времени, знакомя с занимавшими тогда рабочих вопросами программы и тактики.

Далее красочно переданы впечатления от буржуазного быта Германии в первые годы 20 столетия. Несмотря на большую степень политической свободы, получалось впечатление, что мы оказывались в условиях еще большей регламентации и моральной депрессии, чем даже в царской России. Любопытны кое-какие черточки политической жизни Германии, например, описание социал-демократического рабочего собрания под контролем полицейских и с обязательным (по договору с владельцем помещения) потреблением пива.

Интересны впечатления от выступлений вождей немецкой социал-демократии—Бебеля, Карла Либкнехта, Ледебура, Клары Цеткин; интересны описания дискуссий большевиков с меньшевиками, кончавшихся иной раз вмешательством полиции и приходом на выручку Либкнехта. В той же главе живо изображена жизнь русской колонии в Женеве в начале 1905 г., впечатление от доклада В. И. Ленина. В следующей главе изображается подпольная деятельность автора, получившего поручение от Н. К. Крупской, в Одессе и Николаеве. Г. И. Левин рассказывает о встречах с тт. Кипович и Конкордией Самойловой, о трудностях партийной работы в г. Николаеве, подъеме революционного настроения и правительственных репрессиях во время восстания «Потемкина». В главе «Вокруг манифеста» говорится об октябрьских событиях в 1905 г. в г. Полоцке при условиях преобладания там кустарно-ремесленного производства и мелкой торговли и при национально-политической и религиозной раздробленности. Все эти условия не мешали развитию довольно интенсивного рабочего движения, руководство которым оспаривали РСДРП и Бунд.

Далее следуют типичные описания непосильной борьбы с прибегнувшей к громилам администрацией и рассказ о массовых расстрелах и погромах

Особенного внимания заслуживает глава «Под знаком восстания», где изображается напряженная атмосфера последних чисел ноября в Екатеринославе, еще неоправившемся от ужасов погрома, но готовившегося деятельно поддержать московское восстание, и интенсивная партийная жизнь г. Луганска, где тогда работал т. К. Е. Ворошилов и где рабочая масса и после подавления московского восстания деятельно готовилась к новому подъему революционного движения и усваивала большевистские лозунги в связи с дискуссионной кампанией о бойкоте государственной думы. В этой главе останавливает внимание рассказ о посещении автором В. И. Ленина, по инициативе местных партийцев, не решивших самостоятельно вопроса о том, как следует отнестись к разгону первой думы.

Остальные главы описывают менее «яркие полосы» жизни автора и представляют менее интереса, хотя упоминания о встречах с теми или иными видными партийными деятелями или рассказы о выполнении разного рода партийных поручений и характеристика общественных и партийных настроений представляют известную ценность.

Рассказы о революции 1917 г., когда для автора «платформа большевиков казалась... в то время трудно усвояемой, а позиция меньшевиков была попрежнему чуждой», лишены яркости и красочности первых глав воспоминаний, хотя некоторые эпизоды и характеристики переданы довольно живо. Некоторые факты поданы довольно интересно, но неопределенное положение позиции автора в то время повредило интересу его воспоминаний.

Все-таки нельзя отрицать наблюдательности автора и оригинальности некоторых из его наблюдений, например, характеризуя различное отношение города и деревни к октябрьскому перевороту, он указывает, что крестьянство было на стороне советской власти и «оказалось... на авансцене революционных событий, тогда как городское население (дело идет о мелкобуржуазном Подоле), в массе своей непролетарское, стало расценивать развертывающийся революционный процесс, как стихийное бедствие и личную катастрофу» (стр. 178).

В общем воспоминания Г. И. Левина написаны живо, ярко, убедительно и содержат очень много ценного материала для истории революции 1905 и 1917 гг. и для эпохи реакции.

Кое с какими определениями и замечаниями автора все же вряд ли можно согласиться, часто это касается мелочей, но иногда эти мелочи характерны. Недоумение может вызвать замечание автора, что многие предметы преподавались в гимназии «сухо, скучно, а часто и вразрез с объективно-научной точкой зрения» (стр. 12), как будто бы в буржуазном обществе существовала какая-то объективность в науке.

В заключение, повторяем, что «На путях революции» является интересной, красочной, написанной хорошим языком книгой, заслуживающей внимания читателей.

И. Колычевский

— —

Д. В. Антошкин—«*Фабрика на баррикадах. Трехгорная мануфактура в 1905 г.*» М. 1930 г. Изд. Коммун. академии. 83 стр. Цена 70 коп.

Перед нами интересный опыт сравнительно, в виде самостоятельной монографии, изучения роли *отдельного промышленного предприятия*—именно Трехгорной Прохоровской мануфактуры—*в революционных событиях 1905 г.* При этом автор, помимо печатных материалов и данных судебного следствия, воспользовался также и личными воспоминаниями тех рабочих, которые в свое время являлись активными участниками событий.

Инициаторы монографии («Секция истории пролетариата СССР» при Комакадемии) вполне правильно указывают, что в наши годы в великой стройке социалистической экономики забывается старая капиталистическая фабрика, забывается долгая и трудная борьба, которую вели в ней старшие поколения пролетариата. Между тем знать и изучать эту историю необходимо.

Свое исследование т. Д. Антошкин начинает с описания положения и борьбы рабочих Трехгорной Прохоровской мануфактуры до январской стачки 1905 г. Революционную работу здесь начали вести еще за многие годы до 9 января, как с.-д. (большевик Лядов и меньшевик Колокольников-Дмитриев), так и с.-р., причем первым пропагандистом здесь явился с.-д. рабочий Федор Афанасьев, поступивший на Прохоровскую фабрику еще в 1891 г. В период событий, главным образом интересующих автора книжки, т. е. в период осени и зимы 1905 г., среди наиболее квалифицированных рабочих Трехгорки главным влиянием пользовались меньшевики, а среди рядовой массы ткачей, не потерявших еще связи с деревней, тон задавали с.-р.

Среди широкой массы ткачей авторитет с.-р. (из-за их аграрной программы) был до того силен, что с.-д. часто даже слушать не хотели.

Д. Антошкин указывает, что революционизирование пятитысячной массы рабочих Трехгорной мануфактуры шло также противоречиво и неравномерно, с такими же приливами и отливами революционного настроения, как и на других предприятиях *текстильной* промышленности, например, на Орехово-Зуевской и Высоковской мануфактурах. Автор объясняет это не только специфическими *особенностями* состава рабочих *текстильной* промышленности, но и тем, что среди них отсутствовали представители *именно большевистской партии*. «Среди рабочих меньшевиков и соц-революционеров на Прохоровской мануфактуре были подлинные революционеры,—пишет т. Антошкин (стр. 31),—но они попали не в ту партию, в рядах которой могли бы полностью выявить свою революционную энергию и приложить ее к делу освобождения пролетариата, не расходуясь на красивые жесты и бесполезные для революции поступки».

5 декабря 1905 г. конференция московской *большевистской* организации постановила начать всеобщую стачку и перевести ее в вооруженное восстание, а 9 декабря Москва, и особенно Пресня, уже начинает строить баррикады. Топографическое положение Трехгорки неизбежно ставило ее в центре боевых действий. В этих действиях участвовали и с.-р. и меньшевики, но, как подчеркивает т. Антошкин, обстоятельство это не решает еще основного вопроса: «*какая же партия готовила* восстание как необходимое средство для победы революции?».

Дело же здесь в том, что в декабре 1905 г. даже отсталые (по сравнению, например, с металлистами или печатниками) массы текстилей восприняли лозунги большевиков о вооруженном восстании и, чтобы не растерять своих сторонников среди робочих, ни с.-р, ни меньшевики не могли открыто выступить против этого лозунга. К такому выводу приходит т. Антошкин, не отрицая в то же время того факта, что в числе пятерки, которую революционный комитет г. Москвы выделил для руководства восстанием на Пресне, помимо двух большевиков (Литвина—«Седого» и т. Доссера—«Лешого»), было два с.-р. и один меньшевик, точно так же, как среди виднейших работников штаба на Пресне были и известный с.-р. максималист «Медведь» (Мих. Ив. Соколов, впоследствии повешенный) и с.-р «Пчелка» (С. Г. Мухина, приговоренная сперва к каторге, а потом к ссылке на поселение).

Последующее изложение монографии т. Антошкина посвящено весьма подробному анализу роли Трехгорной Прохоровской мануфактуры в событиях на Пресне. Заканчивается брошюра описанием судебного процесса и поведения в нем местных рабочих, а также интеллигентов из революционных партий. Главные участники процесса вели себя геройски. Выслушав приговор (каторга и поселение), осужденные запели марсельезу, подхваченную защитниками и присутствовавшей на суде публикой.

Восстание на Пресне один из наиболее ярких эпизодов революции 1905 г. Книжка т. Антошкина дает документальный анализ этого эпизода. Десяток фотографических снимков, снабжающих книжку, очень оживляет изложение. Чтоб сделать книжку более доступной рабочим, следовало бы снизить цену ее.

И. Генкин

Н. Я. Деркач—*«По этапам и тюрьмам»*. Изд. «Молодая гвардия». М. 1930 г. 96 стр. Цена 75 коп.

Если иметь в виду, что сборником «На женской каторге», несколькими статьями тт. Зильберблат, Никитиной, Спиридоновой и некоторых других исчерпывается почти вся новая литература, посвященная женщинам-каторжанкам, надо будет признать, что указанная в головке книжка т. Деркач несколько заполняет имеющийся здесь пробел. Не отличаясь особенными художественными достоинствами, книжка «По этапам и тюрьмам» всецело относится к тому *«периоду первоначального накопления»* материала, когда приходится концентрировать главное внимание на чисто документальных зарисовках.

Свое повествование Деркач начинает с моментов биографического характера, описывая затем последовательно свой арест, жизнь в Одесской тюрьме, пребывание в Смоленской, Бутырской, Мальцевской, и Акатуйской каторжных тюрьмах. Несмотря на звание «бессрочницы», т. Деркач вследствие болезни получила, спустя 5—6 лет пребывания на каторге, замену последней ссылкой на поселение. С поселения же она и бежала за границу.

Во многих отношениях политическая карьера автора была типична для «критически мыслящего» выходца из проклятой памяти *«черты еврейской оседлости»*: жизнь в маленьком местечке в семье мелкого служащего, стремление к свету и знанию, чувство национального гнета, постепенно осложнившееся сознанием социального неравенства,—отсюда вполне логически развертывалось и последующее—знакомство с революционерами, тайный кружок самообразования, поступление на акушерские курсы, и в виде финала—участие в демонстрации. Лично для т. Деркач «финал» этот имел еще один финал: в полицейском участке ее зверски избили и искалечили...

Путь этот типичен для юношей и девушек эпохи пятого года. Несколько не типична лишь *политическая эволюция самой т. Деркач*: из с.-д. она превращается в анархистку, затем переходит к меньшевикам-интернационалистам с тем, чтобы в конце-концов войти в ВКП(б)

В 1906 г. автор за участие в экспроприации и за вооруженное сопротивление при аресте получает смертный приговор. *Около трех месяцев* т. Деркач находилась в ожидании повешения, пока казнь не была заменена ей бессрочной каторгой. Ее заковывают в десятифунтовые ножные кандалы и в таком виде она шествует по тюрьмам и этапам Европейской и Азиатской России. Убежав из Сибири за границу, она скитается по разным странам Европы и Америки, после Февральской революции в 1917 г. возвращается в Россию и работает в Сибири же, где она в конце-концов и примыкает к большевикам.

Как видно, автору есть что рассказать. Однако, не все страницы рецензируемой книжки удались т. Деркач. Живо и с теплотой описано пребывание ее в Одесской тюрьме, находившейся тогда (1906 г.) под впечатлением казни нескольких героически настроенных анархистов (Тарло, Шерешевская, Мец и др.). Весьма любопытно описание обстановки Мальцевской женской тюрьмы. Зато последние главы изложены торопливо и чересчур уж протокольно и сухо, что не подходит для того молодого читателя, о котором пишет в своем предисловии к книжке т. П. Лепешинский.

Следовало бы подробнее и *смелее* рассказать о внутренней, т. е. *внутрикамерной жизни* политкаторжанок, среди которых были и с.-р. и с.-д и анархистки, революционерки не только различного социального происхождения, но и различных умонастроений и *психологических переживаний*. Этих переживаний, *специфических* переживаний женщины-революционерки меньше всего показывает нам т. Деркач.

И. Генкин

Ответственный редактор *И. А. Теодорович*.

В редактировании настоящего номера принимали участие:
М. А. Брагинский, Е. Н. Ковальская, Б. П. Козмин, Ф. Я. Кон, М. М. Константинов, М. Ф. Фроленко, Н. Ф. Чужак-Насимович, Я. Б. Шумяцкий.

Издатель—Всесоюзное о-во политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Цена 1 р. 50 к.



КОНТОРА:

Москва, 34, Лопухинский пер., 5. Тел. 3-64-73.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:

Москва, Центр, Книжный склад „МАЯК" Издательства Общества политических каторжан. Петровка, 7. Тел. 4-18-12, 3-63-20.